

КОНТИНЕНТ 60

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

Где найти мне слов соль
Всполюшить души тишь
Чтобы прокричать в крик-вой



Этот лютый
смертный бой...

Зову дикость,
и ярость и страсть

Зову сквозь камень
И пламень

Мертвящей
серости камер

И неизлечимой
боли —

моей неволи.

Тенгиз Гудава

ломаю ребра
какой треск стоит во вселенной
сотворяю Еву

ломаю ребра
сотворяю Еву

получаются другие
обезребренный

под хохот звезд
и бродячих собак

вижу
как ее сотворил

один старый
пьяница

и довольно похоже

А. Макаров-Кротков



Из Воркутлага, во время его существования, было совершено 94 побега и только один остался не ликвидированным. Побег из лагеря это ЧП. Но побег из лагеря это и величайший политический протест. Куда из Воркуты можно бежать?! В 45 градусов мороза? И с чем бежать? С тем рекевизитом, который был у



заключенных? Но такие мысли приходят после, на свободе. Тогда... они сэкономили сахарный песок, чтобы собрать что-либо в дорогу. Им платилась одна столовая ложка непосредственно в рот. Зимой ложка стала примерзать к языку — не отодрать, песок стали высыпать на бумажку...

Ольга Бирюзова

Везде все то же, и все та же здесь советская немыслимая смесь — *laissez-aller*, и пыточка, и месть



— так, ни за что,
и кровь, и без

предела...

И размывая остов
бытия,

спасительного
хаоса струя,

почти согласье
прямо его лия,

в тюремный быт
вливается несмело,

Михаил Мейлах

Бывают такие времена: никаких кри-
териев, буквально не на что опереть-
ся, туман, дым, батюшков, сжигаю-
щий библиотеку,
общая палата в
качке или скво-
решнике — но кого
винить? Да и не то
страшно, что «по-
садят на цепь» ду-
рака или что «твой
недуг смешон»...
Страшно покойное
белое лицо...

Виктор Кривулин



Главный редактор: Владимир Максимов
Зам. главного редактора: Наталья Горбаневская
Ответственный секретарь: Виолетта Иверни
Заведующий редакцией: Александр Ниссен

Редакционная коллегия:

Василий Аксенов · Ценко Барев · Ален Безансон
Николас Бетелл · Иосиф Бродский
Владимир Буковский · Армандо Вальядарес
Ежи Гедройц · Михаил Геллер · Александр Гинзбург
Густав Герлинг-Грудзинский · Корнелия Герстенмайер
Пауль Гома · Милован Джилас · Пьер Дэкс
Ирина Иловайская-Альберти · Эжен Ионеско
Оливье Клеман · Роберт Конквест
Наум Коржавин · Эдуард Кузнецов
Николаус Лобковиц · Эрнст Неизвестный
Амос Оз · Ярослав Пеленский · Норман Подгорец
Андрей Сахаров · Андрей Седых · Виктор Спарре
Странник · Сидней Хук · Юзеф Чапский
Карл-Густав Штрём

Корреспонденты «Континента»

Италия	Сергей Рапетти Sergio Rapetti, via Beruto 1/B 20131 Milano, Italia
США	Эдуард Лозанский Edward D. Lozansky 3001 Veazey Terrace, N.W. Washington, DC 20008, USA
Япония	Госюке Утимура Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7 189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.

Название журнала «КОНТИНЕНТ» – © В. Е. Максимова



КОНТИНЕНТ

**Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал**

60

**Издательство «Континент»
1989**

СОДЕРЖАНИЕ

Владимир А л е й н и к о в – Две фантазмагории. Осень 1964. Стихи	7
Юз А л е ш к о в с к и й – Призрак в белом халате. Из книги «Рассказы майора Пронькина»	30
Владимир У ф л я н д – Народ. Неоконченная драма	73
Виктор К р и в у л и н – Путешествие рядом с Батюшковым. Эссе	89
Александр М а к а р о в - К р о т к о в – Стихи	99
Герман П л и с е ц к и й – Цикл стихотворений	103
Эд Ш у х м и н – Как сейчас помню... Повесть в рассказах	109
Тенгиз Г у д а в а – Из стихотворений 1985 – 1987 гг.	180
Марлена Р а х л и н а – Стихи	186
Михаил М е й л а х – Из книги «Игра в аду». Стихи	195
Андрей Б а з и л е в с к и й – Из стихов Самюэля Беккета	202
РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ	
Александр З и н о в ь е в – Манифест социальной оппозиции	207
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ	
Роман З и м а н д – Мертвый дом живых людей	233
ЗАПАД – ВОСТОК	
Витторнио С т р а д а – Сталинизм как европейское явление	259
ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА	
Кастусь А к у л а – Кто убил Янку Купалу?	275
Виктор К а г а н – Дела давно минувших дней	286
ИСТОКИ	
Ольга Б и р ю з о в а – «Я люблю тебя, жизнь»	297
НАУКА	
Валерий С о й ф е р – Загубленный талант	339

ИСКУССТВО	
Александра Орлова – Памяти Мусоргского. (К 150-летию со дня рождения)	359
КОЛОНКА РЕДАКТОРА	377
НАША ПОЧТА	381
КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ	
Николай Тюльпин – В жёрновах политики	393
Кира Сапгир – Белый берег стихов	400
Ольга Миронова – Миф о предателе	404
К. С. – «Путь к падению и позору»	408
Михаил Бараш – Одна частная переписка (Борис Пастернак – Ольга Фрейденберг)	413
Борис Шлаен – А что за кадром?	420
Н. Горбаневская – Эта книга была первой...	425
ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ	431
НАША АНКЕТА	
Беседа с Мстиславом Ростроповичем и Галиной Вишневской . Ведет <i>Галина Келлерман</i>	433

ДВЕ ФАНТАСМАГОРИИ. ОСЕНЬ 1964

I

НАЧАЛО

Когда я вышел на крыльцо,
Еще не мысля о разлуке, –
Сжимали белое лицо
Мои отринутые руки.

Шел дождь. Старик тележку вез.
Тугие лужицы плескались.
За воротом тушили капли
Шмелиные укусы звезд.

Ботинок узкие носы,
Как стая голубей с карниза,
Слетали с лестницы. Капризы
В авоськах женщины несли.

Шло утро. Падала листва
Протяжным звоном с колоколен.
С Автозаводского моста
Свисал сентябрь, смертельно болен.

Какое огненное зелье
Костром заставило играть
Граненую густую зелень
В квадратных ящиках оград?

Исход лишь избранным обещан! –
Чей голос властно прозвучал,
Серебряные крылья женщин
Срезая бритвами зеркал?

В который раз, упав на землю
С высот, где въявь опоры нет,
Вздохнет, иную твердь приемля,
Пластом лежащий зябкий свет?

Неужто впрямь в такое время,
Покинув дом, что стар от бед,
Сквозь почву прорастет, как семя,
Мой след? – Возможен ли ответ?

Москва со мною, но едва ли
Я – с ней. Несчитаны шаги.
И как герань в полуподвале,
Мерцали тихие стихи.

И переулком незнакомым,
Не избавляясь от печали,
Я шел – и в горле горьким комом
Слова прощания стояли.

II

ПАРАД ПОЧТАЛЬОНОВ

Рассвет приходит, бел и свят.
Шеренгою наклонной
Проходят, будто на парад,
Седые почтальоны.

Их кашель высушен и взят
На вооруженье
Решеньем сдвинуть листопад
К возвратному движенью.

Их вены нитками дрожат,
К сухим вискам пришиты,

Сердца спешат, как на пожар
Пожарные машины.

Под сенью лба – созвездья дум,
Хоть держат их в столице
Спокойствие и трезвый ум
В ежовых рукавицах.

Но зная, что живут в душе
Желания иные,
Слетают окна с этажей
В их сумки надувные.

Они идут в последний раз,
Черны, как негативы, –
Последний искренний парад
Последних несчастливых.

Солдаты срочных телеграмм
И писем анонимных,
Что километр – то килограмм
На их висячих спинах.

Хранили красное словцо,
Да где-то позабыли.
Разлуки – на одно лицо,
На два лица любили.

И умирают, стиснув стон,
Шеренгою наклонной
Во славу будущих времен
Седые почтальоны.

Приходят дети – каждый тих
Пред коллективной смертью –
И запечатывают их
В хрустящие конверты.

И письма в ящики летят –
Шеренгою наклонной,
Свернувшись вчетверо, лежат
Седые почтальоны.

За всё добро, за столько бед,
За недостаток оных –
В гробах «для писем и газет»
Седые почтальоны.

...Ты распечатаешь конверт,
Печалью опаленный,
Увидишь простенькую смерть
Седого почтальона.

И вспыхнет пламенем в горсти
Всё то, что было прежде, –
Ведь никому не принести
Последнюю надежду.

1964

* *
*

Не тревожит беда-лебеда,
Закатила белки слобода,
И на гипсовой башне крутой
Часовой принимает покой.

Наше время – свеча и полынь.
Можно вымолвить или молчать.
Говорливую эту теплынь
До чего же люблю величать!

Угольками запекшихся слов
На печи шевелится молва.
На тебя телеграфный покров
Надевают сегодня, Москва.

Уцелевшие губы укрыть,
На широкой кушетке прилечь.
На тебя кумачовую прыть
Ворохами дождя уберечь.

Человечеству нужен урок,
Чтобы чудилась говора таль.
Отпечатай же свой уголок
На машинке «Континенталь»

Или яблоко нам покати,
Чтобы слышали вечера крен.
Возвращение стай – впереди,
Городи разрешение стен.

1965

ПРЕДЗИМЬЕ

У нас зима на поводу –
Но то и дело, год от года,
Избыток чар сулит погода,
С которой жертвенность в ладу.

Не потому ли каждый час
Всегда похож на круг незримый,
Где в лицах есть невыразимый
Призыв, смущающий подчас?

Всё глуше – улиц голоса,
С концертов – наигрыш вечерний,

И только снег, намечен в черни,
Подспудным светом занялся.

Чего за сумерками ждать?
Ограды в иглах – осторожны,
Прохлада – вкрадчиво-тревожна,
И невозможно угадать.

Всё выше – месяц над Москвой,
Кольчужной долькою расправлен,
В мерцанье призрачное вплавлен,
Плывет, качаясь, по кривой.

Захлестнут кольцами дорог,
Уже мерещится, пожалуй,
Предзвмья символ небывалый –
С архангелом единорог.

И только волосы твои
Сродни созвездию над нами,
Чье навеваемое пламя
Теснит фонарные рои.

И только связь не разорвать,
Чей узел стянут нами снова, –
И мы безумствовать готовы,
Чтоб образумиться опять.

О, прозреванья торжество!
Всё это – в речи, в обиходе.
Пора особая – в природе,
Сердец нелегкое родство.

1965

БОЛЬШАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ ЭЛЕГИЯ

I

Немало мне выпало ныне
Дождя, и огня, и недуга.
Смиренье – не чуждо гордыне,
Горенье – прости мне, подруга.

Дражайшее помощи просит,
Навесом шурша тополиным,
Прошедшее время уносит
Кружением неопалимым.

Внемли невесомому в мире,
Недолгому солнцу засмейся,
Безропотной радуйся шири,
Сощурься и просто согрейся.

Из нового ринемся круга,
Поверим забытым поэтам,
Прельстимся преддверием юга,
Хоть дело, конечно, не в этом.

Как будто и вправду крылаты
Посланцы невидимой сметы,
Где отсветы наспех примяты,
Отринуты напрочь приметы.

Как будто, подвластны причудам,
Невинным гордятся примером
Стремленья магнитного к рудам,
Служенья наивным химерам.

Где замкнутым шагом открытья
Уже не желают собраться,
Но жалую даже событья –
А молодость жаждет остаться.

II

Скажи мне теперь, музыкантша,
Не трогая клавиш перстами, –
Ну что тебе чуть бы пораньше
Со мной поменяться местами?

Ну что тебе чуть поохрипнуть,
Мелодию петь отказаться,
Мелькнувшее лето окликнуть,
Без голоса вдруг оказаться?

Ну что тебе, тихий, как тополь,
Король скрипачей и прощений,
Разбрасывать редкую опаль
По нотам немых обольщений?

Ну что пощадить тебе стоит
Творимое Господом чудо,
Пока сотворенное стонет
И воды влечет ниоткуда?

Ну что за колонны белеют –
Неведома, что ли, тоска им?
И мы, заполняя аллеи,
Ресницы свои опускаем.

А кто поклоняется ивам,
Смежает бесшумные веки?
Да это, внимая счастливым,
На редкость понятливы реки.

И племя младое нежданно
К наклонным сбегает ступеням –
И листья слетаются рано,
Пространным разбужены пеньем.

И хор нарастает и тонет
В безропотной глуби тумана,
И голубем розовым стонет,
И поздно залечивать раны.

И так, возникая, улыбка
Защитную ищет заминку,
Как ты отворяла калитку –
А это уже не в новинку.

III

Бывали и мы помоложе,
И мы запевали упрямо –
И шурили очи в прихожей
Для нас флорентийские дамы.

И мы нисходили на убыль,
Подобно героям Бокаччо.
Так что же кусаю я губы
И попросту, кажется, плачу?

А ну-ка скажи мне, Алеко, –
Неужто зима недалёко –
И в дебрях повального снега
Венчальный послышится клекот?

И что же горит под ногами,
И разве беды не почуют,
Когда колдовскими кругами
Цыганское племя кочует?

О нет, не за нами погоня,
Нахлынет безлиственно слава –
Покуда она не догонит,
Земля под ладонью шершава.

Коль надобно, счета откинем,
Доверимся этой товарке –
Покуда ведь только такими
Опавшие вспомнятся парки.

Томленьем надышимся ломким,
Уйдем к совершенствам астральным,
Октябрь не в обиду потомкам
Сезоном закрыв театральным.

Где свернуты без опасений
Над замками мавров и троллей
Затертые краской осенней
Афиши последних гастролей.

1972

СЛОВНО ЗАНАВЕСЬ

Вот зима,
Словно занавесь где-то меж нас опустилась, –
Ты настолько поспешно со мною простилась,
Что не знаешь сама,
Где сейчас
Я живу в этой смутной стране белизны и покоя
И насколько опасно для нас разлученье такое.
Поздний час.

Сон во сне:
Добыванье ядра, залежавшийся малый орешек.
В ожерелье и жестов твоих и усмешек
Ты во мне –
Или нет,
Я в тебе – да скликаются птицы на пиршество наше,
И вино чуть теплее, и ночью всё тоньше и краше

Пробивается свет
Из-за штор,
Говорящих надменной, чем с нами,
С фонарями, друзьями моими, – им некогда видется
в раме,
Где и так приютилось прохладное желтое пламя,
И они выбирают простор.

Города!
Я узнал вас вплотную – вы лести грустнее,
Каждый хочет казаться честнее, теплее, теснее,
Призывая к себе навсегда,
Словно нрав или кров,
Предлагаемый вымпел уюта,
Что-то значат для нас почему-то
И волнуют мне сердце и кровь.

Не кривил
Никогда я душой – и утешен почтенным всегда
обхождением,
Но, влекомый светил прохождением,
Я менял вас – и, этим ведом наваждением,
Знаю, Бога не прогневил.

Что ж ты смотришь в окошко, грядя
Над речною долиной,
Смутно-белой и в щупальцах длинной,
Как морская звезда,
Та, чей взгляд леденит
В глубине океанской столь малые часто создання?
И пылает вокруг мирозданье,
И пьянит.

Одинок
Мой досуг, да и труд несговорчивей что-то –
Я искал бы тебя по широтам,
Да не сбился бы с ног –

Ведь и так
Меж садами окрест, укрепленными льдом или снегом,
Я горжусь этим скромным ночлегом,
Перемирия вижу развернутый флаг.

Что вело,
Что привычно меняло картины?
Повторение необратимо,
А листву с ноябрем унесло, –
И в тепле,
За столом одиночества, вечно рассеян,
Я отнюдь не завидую семьям,
Расселенным везде по земле.

Вей же, свет
Фонаря у калитки моей, достоверного друга,
Примирайся с зимою, пичуга, –
Я тебя перенес бы туда, где грустила подруга,
Да крыла оперенного нет.

И меж стен
С головой непокрытой,
Я возникну, однако, настолько светло и открыто,
Что простится мне странно мятущийся плач
и прославится горестный плен.

1973

ВЕЧЕРНЯЯ ЗАРЯ

Где ночь встает на стогах ноября
И есть еще дыхание в мире этом, –
Горит она, вечерняя заря,
Колеблемым дарованная светом.

Нет возраста тебе, святая дрожь,
Затронувшая сердце и ресницы, –
Не часто ты рождаешься – и всё же
Так просто не уходишь со страницы.

– Коснулось наконец-то и тебя
Вторжение жертвенного зова,
Чтоб жил еще, сгорая и любя,
В стихии горестного слова!..

Заря вечерняя! За что же мне тогда
Во имя верности ты днесь уже открылась,
Чтоб крылья не сложившая звезда
Как птица в небе появилась?

За что, тобою полон и ведом,
Куда лишь ангелы да праведники вхожи,
Иду негаданно в тумане золотом,
Биенье тайны растревожа?

И чашу полную без робости беру,
Скорбей и радостей вмещающую диво, –
Един Господь – а с Ним я не умру,
Заря вечерняя, ровесница порыва.

1978

ОТТЕПЕЛЬ

От крыш, и по льду, и везде –
И плач, и плеск, и клекот ломкий,
И только льющейся воде
Призыв почудится негромкий.
И ощущение пустоты
Меж суеверием и верой,
Стирая зримые черты,
Живет отринутою эрой

Но что упало вдалеке
С высот полунощных и диких,
Чтоб, дрогнув чашею в руке,
Тоске запутаться в уликах?
Как будто колокол разбит
На Севере, где снег да ели,
И воскрешение обид –
Как вопрошение капли.

Ну что же! Спрашивай опять,
Купель качая колыбелью,
Покуда дней не сосчитать
За этой тающей трелью,
За цитаделью хрусталей,
Где ходят тени-богомолцы,
Где нам колышет Водолей*
Струящиеся колокольцы.

1978

* *
 *

Еще на западе нечаянно светло,
Просвет – как вздох, он выдыхан случайно.
И чуем темноту необычайно,
Как смотрим в закопченное стекло.

Незванным гостем хмурится восток –
Был тон жемчужным, стал совсем свинцовым.
Но ты ли не жил, ко всему готовым! –
А всё твердишь: читайте между строк.

* Название созвездия.

На завтра ветра жди – так розов был закат.
Пойду-ка в дом, за чаем вдруг согреюсь.
Мне тяжело – и все-таки надеюсь.
Но вот и сумерки. Послушай, друг и брат!..

1979

ОТРЕШЕНИЕ

Лишь глоток – лишь воздуха глоток,
Да от ласки влажный локоток,
Да пора – царица полумира
Под звездой в надменной высоте
Тянет руки в бедной наготе
К двойнику античного кумира.

На лице – смирения печать,
Чтоб судьбу смелей обозначать, –
Подобрать бы камни к фероньеркам!
С виноградом вместе зреет гром,
Чтобы дождь, поставленный-ребром,
Удивил павлиньим фейерверком.

На ресницах – мраморная пыль,
Колосится высохший ковыль,
Да венком сплетается полынным
Эта степь, истекшая не зря
Горьковатым соком сентября,
С шепотком акаций до долинам.

Не найти заветного кольца,
Не поймать залетного птенца –
Улетит с другими он далёко, –
В розовой раковине дня
Слышен гул подземного огня,
Ропот слеп, как гипсовое око.

Станут нити в иглы продевать,
Чтоб лоскутья времени сшивать,
Изумлять виденьем карнавала,
Где от масок тесно и пестро
И пристрастья лезвие остро,
А участия как и не бывало.

Полно вам печалиться о ней,
Круговой невнятице теней, –
Не объять причины увяданья –
И в тиши, растущей за стеной,
Дорогою куплено ценой
Отрешенье – символ оправданья.

1979

* *
 *

Какой-то праздник есть в календаре,
И низок день, как смех в дурном фольклоре.
Не дверью ли, открытой на заре,
Незримое притягивает море?

К нему добраться надо неспроста –
Веди меня, хрипунья-окарина.
Ведь слишком помнят люди без креста
Разрушенные храмы Украины.

Как будто бы их всех попутал бес,
Живут они в горниле разобщенья.
О, где же ты, старинный Херсонес?
Восстань скорей для нового крещенья!

Лишь там, у моря, вымолвить смогу:
Верни нам, Боже, искренность порыва,
Не дай, Господь, ни другу, ни врагу
Безверия – коварней нет обрыва.

Чтоб век прожить по-чести, по-людски,
Делиться хлебом, вырастить потомство,
К Тебе, Господь, мы рвемся из тоски,
Железы разрываем вероломства.

Увижу ли прозревшую страну
В сражении с духовной нищетою?
Задень в душе заветную струну –
И вот оно, сияние святое.

1979

ВСЁ БЫЛО С НАМИ НАЯВУ

В груди дыханье затаив,
Ты молчалив? – Я молчалив. –
Звезда над кровлями сверкает,
Чужою кажется рука
И боль висков не отпускает –
Куда как с веком коротка!
И так послушен каждый час
Прикосновенью влажных глаз.

Как сердце тянется к тебе!
Возьми хоть горстку лунной пыли –
Ведь это в ней тебя забыли,
И лишним там не по себе.

В окне, раскрытом для ветров,
Стихают отсветы костров,

Чтоб ночи явленное чудо
Пришло, не выдав ни светил,
Ни слов, – их стольким посвятил! –
Ни возвращения оттуда,
Где гор мерещится гряда,
Чего хватило б навсегда.

Всё было с нами наяву.
Теперь мечтать о нем – к чему бы?
И с кем глаза теперь и губы?
Я их простил, и вот – живу.

Когда подумаешь опять,
Как просто это потерять,
Еще задуматься успеешь,
Еще посетуешь, поймешь,
Что никуда ты не уйдешь
И прошлым рук не отогреешь.
Послушай сказку о былом –
Она махнет тебе крылом.

Не прекращалось, как и встарь,
Ее высокое соседство –
Но к возвращенью нету средства
И безрассудства пуст алтарь.

Вокруг невидимого дня,
Подобны пению огня,
Кружатся пчелы желтым роем.
В цветах – алмазные мазки
Росы, не ведавшей тоски, –
А мы никак ее не скроем.
И причитания сверчков
Утяжеляют вес оков.

Не обошла меня беда –
Но всё же люди не узнают,

Зачем была она горда.
А звезды – звезды так сияют!

1979

ВОСПОМИНАНИЕ

И темная вода на желтом тяжела –
И выносить ее нет мочи,
И этот дом чужой, и во главе угла –
Бездонный взгляд бессонной ночи.
Когда бы не было так много за окном
Листвы опавшей позабыто,
При свете страждущем – вечернем иль дневном –
Я не искал бы здесь защиты.

И вот теперь, в гостях, где шагу не ступить
И голос не возвысить стойкий,
В звездах открытый путь хочу не уступить
Ни тени, наклонившейся над койкой,
Ни этой обжигающей строке,
Что очи мне слепит, изнемогая.
Здесь ныне я, но мысли – вдалеке,
Там жизнь мерещится другая.

Там грустный забавляется пастух
Бузинной дудочкой резною –
И там, лишь там витает Божий Дух
По рытвинам, по травам и по зною.
Отталкиваясь в танце от земли,
Там пляшет та, кто рождена под знаком Девы –
И след ступни ее, оставшийся в пыли,
Разбудит в памяти полынные напевы.

И капли крови, выступившей вдруг,
Достаточно, чтоб чашу переполнить

И ужас нищенства, гнездящийся вокруг,
Подобно прорицателю, запомнить, –
Недаром был багров медвяный неба край
И даль незванная туманна –
И нависал опять глухой вороний грай
Над головою Иоанна.

1981

* *
 *

Как это было? В одиночестве, в беде,
С бездомиею свыкшись многозначной,
Тогда я жил. И горя запах злачный
Меня преследовал, где б ни был я, везде,
Шел по пятам за мной, в глуши подстерегал,
Похмельным ужасом сквозил вдоль новостроек
И по трущобам, не на шутку стоек,
Меня врасплох в потемках настигал.

Жилье бетонное, халупа на паях, –
Не всё равно ли? Есть ночлег – и ладно,
Хотя бы на пол мне. И жизнь и так нескладна,
Да что с того, когда в родных краях
Уже не тать гуляет, но распад,
А я участвовать в безумстве не желаю
И душу в хаосе упрямо сберегаю,
И правды – нет, за годом год, подряд.

Бровастым чудищем, туземцем в орденах,
Родоначалником трибунного мычания,
Указан путь к терпенью и молчанью
Тем, кто, как водится, не в лаврах, не в чинах,

А так себе, кто именуется – народ,
Кто позабыть успел свои прослойки, классы, –
И что за дело всем до голоса из массы,
Когда за горло жизнь сама берет!..

Сейчас таить нам ничего нельзя, пойми,
О лихолетье гибельном. И всё же
Никак не слезть его змеиной дряблой коже
Буквально с каждого. Пойду-ка я с людьми,
Прислушаюсь внимательно. Э, нет!
Душа – не присказка в застолье, не отписка
В бредовых планах. Сотканный из риска,
Из покаянья, – брезжит зоркий свет.

1988

* * *

Евгению Попову

Пытка безвременьем долгой была.
Речь устояла, и в бедах светла.
Привкус полынный, горчайший настой.
Речь отстоялась и стала простой.

Проще бездомниц и проще скорбей,
Проще немыслимой жизни моей
В сонме утрат, в лабиринтах забот,
Проще наитий былых и щедрот.

Проще? Но так ли? А может, сложнее
Всё, что теперь высветляется в ней? –
Слово мое не из блажи пришло,
Не потому с ним и в бедах светло.

Соком полынным пропитаны дни,
Где задышался я в душевной тени.
Глыбою каменной тень отвалив,
Чистым сияньем прозрений я жив.

Нет мне покоя, пока я живу.
Всё происходит со мной наяву.
Истина – степь, где, верста за верстой, –
Привкус полынный, горчайший настой.

1988

* * *

На листьях виноградных – налет
Застоявшейся мглы поднебесной.
Только солнышко слово берет –
Норовит закрывать ему рот
Непогода с ухваткой известной:

Поскорее успеть заслонить
Просветленье, надежду на чудо,
Направление дум изменить
И луча напряженную нить
Бросить смаху в какую-то грудь.

Так и в жизни случилось моей:
Сколько раз этот свет прерывали,
Что бывал мне родного родней,
Что питал меня только смелей
В дни, когда мне вздохнуть не давали!

Только душу не вытравить вдруг –
Не затем она в мире желанна,
Чтобы в новый не ринуться круг,
Чтобы речи прекрасный недуг
От невзгод не спасал неустанно.

1988

Ж у р н а л «Б Ъ Д Е Щ Е» **(«Будущее»)**

на болгарском языке, ежемесячник,
издающийся в Париже

Журнал посвящает большое количество статей современному положению в Болгарии, условиям жизни и труда болгарского народа, борьбе за освобождение его. В последнем номере журнала опубликован ряд материалов о сопротивлении болгарских писателей, о положении болгарских крестьян, рассказ о советских концентрационных лагерях.

*Адрес редакции: 18 bis, Rue Brunel,
75017 Paris. Tel. 380-57-64*

ПРИЗРАК В БЕЛОМ ХАЛАТЕ

Из книги «Рассказы майора Пронькина»

История эта прямым образом связана с одним из самых отвратительных моментов в жизни нашего общества.

Вот – вызываю я в памяти своей февраль 1953. Бывали, конечно, в жутковатом советском прошлом времена пострашней той зимушки. Намного страшней. Но такого бездарного беснования обывателя, урча глодающего мосол юдофобии, брошенный ему под нары властительным, усатым уркой, пожалуй, прежде не видывали все нормальные русские люди.

Хорошему сыщику, скажу я вам, трудновато быть мистиком. Тащиться по следу нашему брату приходится либо за примитивным бандюгой-убийцей, либо за невероятным монстром, а не за каким-то там инфернальным дядей, отбивающим сыщицкий нюх серным смрадом адской скверны.

Так вот, мне – человеку, повторяю, не склонному к мистике, – мрак общественных настроений того времени казался вызванным прямо из преисподней. Всё вокруг – черным-черно: черны угрюмые небеса, грязновато чёрен снег тоскливой городской зимы, черна на смутных людских лицах печать беснования и взаимного ожесточенья, черные – один черней другого – слухи.

От них просто некуда было деться, поскольку до работы я добирался на двух трамваях и троллейбусе, после службы торчал в очередях, а вечером волей-неволей обалдевал от перемола тех же самых слухов соседями по коммуналке... «Скоро Сталин ВСЕХ ИХ выселит»... «Каганович вагоны готовит, свояк в отпуск ушел, а билетов в кассе не достать»... Это был слух о поголовной депортации евреев в зону вечной мерзлоты.

Но водувешвенней, чем на всё остальное прочее, обыватель клевал на слух о появляющемся по ночам в районе площади трех вокзалов черном призраке в белом халате... Бродит он без шапки... как и положено – кучерявый брюнетище... рубило – красный и крючковатый, а в каждой ноздре – пучки волосни... глазищи – здоровые, вроде пузырей на лужах, тоже – без зрачков, но сверкают нехорошим пламенем... В одной ручище у того призрака – кривая опасная бритва... в другой – бутылка с усыпляющим ядом... Сначала этот змей усыпляет, а потом горло перерезает... от уха до уха... Карманы обчистит и – след его простыл... За что только вам – паразитам – зарплату платят, ответь ты нам, Пронькин?..

Я молча уходил с кухни, не в силах выносить всего этого бреда. Уходил, садился за стол, брался за голову и думал, содрогаясь от стыда и ужаса: «Господи, что же дальше с нами будет?... Дальше ведь вроде бы – некуда»... И как это иногда случается в мрачных тупиках жизни или в ужасной безысходности безумных сновидений, вам, непонятно каким образом, удастся высветить на одно лишь короткое мгновенье весь этот душу удручающий бред. Вы в поту, как бы выводящем из всего вашего существа адскую нечисть, чувствуете вдруг облегчение и надежду. Чуете вы, что так больше продолжаться не может, что это – тупик, об который сам Дьявол расшиб себе в очередной раз лоб, успев, однако, снова возвратить часть нашего общества в темные низины, кищащие гадами бессмысленного, взаимного ожесточенья. Вы, конечно, не ведаете, с чем именно связаны весьма смутные прозрения души, и только потом, в спасительном отдалении от гнилостного безвременья, удивитесь, что были эти смутные прозрения предчувствием агонии правившего нами чудовищного злодея.

Но это всё – потом, а в те зимние дни нагнетание мрака стало таким невыносимым, что я взял да и запил. Запил, естественно, не в одиночку, но тайком от супру-

ги. Я вызвал на дом нашего участкового врача Федора Самойловича Козмана, в просторечьи – Кошкина, человека славного и добрейшего. Вызов мой страшно его обрадовал.

В те дни обыватель, уверовав в расположение властей, в соучастие нашей поганенькой, нашей зловоненькой прессы и в собственную безнаказанность, просто ошалел от юдофобской паранойи. Вид любого белого халата доводил его до театрально аффектированного психоза и иступленного словоблудия. Даже продавцы продмагов и воспитательницы детских учреждений чувствовали себя неловко в спецодежде «убийц» и «отравителей». Само собой резко сократились вызовы участковых врачей на дом и посещения поликлиник...

Доктор Кошкин разделся в передней нашего коммунального террариума. Кое-то из пожилых нетопырей угрюмо «давил на него косяка», как говорят уголовники. В фигуре, да и во всех движениях добрейшего Федора Самойловича, когда он доставал из старенького саквояжика халат и облачался в него, не было привычного и, так сказать, ритуального священнодействия лекаря, гордого своим милосердным призванием. Было некоторое смущение, неизвестно перед кем, как бы извинение, неизвестно за что, и такая безропотная готовность к очередному унижению, то есть совершеннейшая жалкость и потерянности, что всё во мне содрогнулось. Я пьяно выматерился на коммунальных змей и сделал безотказно действующий жест – якобы полез в карман за пистолетом.

В нашей комнатухе я сказал доктору Кошкину, что совершенно здоров... меня просто распирает от физического здоровья... однако не могу больше... не-е-мо-огу!!!... нас довели, доктор, до полнейшего безобразия... у меня радикулит души... зубная боль в печени... тоска мозга... чирей совести... дайте, говорю, больничный и выпьем за скорейшее выздоровление нашего окончательно падшего общества... у меня,

доктор, есть интуиция сыщика: никто никуда вас не выселит...

Доктор Кошкин охотно согласился с мной выпить. Вызовов у него в тот день больше не было, несмотря на большое количество в столице гриппующих граждан. Он выпил и пошутил насчет того, что выселение в зону вечной мерзлоты будет исторической компенсацией евреям за пребывание в жару фашистских крематориев...

Затем он рассказал мне с грустноватым и мрачным юморком о циркулирующих в столице слухах. Признался, что к веселому его сердцу гадливо подбирается крыса депрессии, то есть явное нежелание жить. Он не бреется уже вторую неделю и перестал повязывать во время обеда салфетку – явный признак полного уныния духа...

Одним словом, мы с доктором Кошкиным надрались и шепотом высказали друг другу одну общую нашу интуитивную догадку: всё вокруг настолько черно и отвратительно удушливо, что долго так продолжаться не может. ЧТО-ТО вот-вот непременно должно произойти. Нормальным людям следует как-нибудь перемочь помойное сие время...

Мы даже завели патефон и с печальной надеждой на перемены к лучшему послушали «Аргентинское танго».

В разгар нашей пьянки вдруг позвонили из Управления. Спросили: «Что это с тобой, Пронькин, случилось, когда в городе – взрыв средневековой преступности? Вполне реальный призрак бродит, ясно с какой внешностью. Граждан по ночам грабит»...

Хотел я им кое-что прояснить насчет средневековья и призрака с выразительным лицом коммунизма, но воздержался. Сказал, что прикован к постели на больничном. Встану с нее не раньше, чем ВСЁ ПРОЙДЕТ, и пошли вы все к едрени фене. Повесил трубку...

Продолжаем поддавать и слушать пластиночки, приятно заглушающие наши крамольные разговоры.

Вдруг – как это всегда бывает в жизни сыщиков – снова звонок. Звонил мой старый знакомый, директор одного из «престижных» московских кладбищ. Ничего не объясняя по телефону, он многозначительно попросил разрешения приехать навестить меня, поскольку на работе сообщили, что я очень болен. Это значило, что у него ко мне – крайне срочное и серьезное дело.

Он вскоре прибыл с французским шампанским «Вдова Клико» и бутылкой «Арманьяка», года рождения 1917. Это, сказал он, дары первого секретаря нашего посольства во Франции, похоронившего вчера свою бабушку в хорошем месте вверенной ему «Зоны вечного отдыха трудящихся». «Вдова Клико», надо сказать, подействовала на меня весьма освежающе. А глоток «Арманьяка» я смаковал с поистине неопишуемым чувством. Чувство это повергло меня в бесконечную философическую грусть. Было почти невозможно логически увязывать всё сообщаемое директором кладбища с трагической глубиной этой грусти. В чистом и крепчайшем ее настое существо мое словно бы растворилось без остатка. Это были редкостные, по остроте воздействия на душу, мгновения ужаса и восторга. Я словно бы встал на самом хрупком краешке 1917, на бедной его кромке, с болью и крушением всех надежд обрывающейся в бездну – в адское будущее. И бездна та – бездна непостижимого Времени – поддразнивала мое воображение иными, к невыразимому нашему несчастью, так и не вызванными к достойной жизни возможностями...

И вот – слушаю я, находясь в крысиной помойке **НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ**, рассказ директора кладбища. К нему вдруг явился восточный человек. Представился командировочным хлопководом из Бухары. Всё как полагается: на плечах – помесь телогрейки с ярко полосатым халатом, на голове – чудесная тубетейка. Он сказал так: «Тут мне один барыга продавал твое доходное хозяйство, поскольку ВАС выселяют. Зачем

нам с тобой какой-то барыга? Я презираю барыг. Могу заплатить хороший калым за кладбище с большим будущим. Если хочешь, куплю твою квартиру, машину и дачу. Обстановку куплю. Всего не вывезешь, друг. Чего добру пропадать? А я тебе на Север каждый месяц сухофрукты присылать буду и чеснок. Что делать? Троцкому теперь голову не свернешь. У меня самого отец и два дяди на Колыме. Давай, сговоримся»...

Открывает восточный человек чемоданчик. Денег там – не меньше пары миллионов. Мой знакомый, разумеется, сообразил, что командировочного, под слух о выселении евреев, охмуряет какой-то ловкач-аферист. Охмуряет – подлец – с гарантированной безнаказанностью и как бы с молчаливого согласия властей. Я спяну никак не мог сообразить: при чем тут мой старый знакомый и слух о выселении? Доктор Кошкин тоже весьма удивился, поскольку внешность директора кладбища была совершенно не семитской.

Мой знакомый, впрочем, сам этого поначалу не понял. Он сделал вид, что согласен на сделку. Поторговался. Выторговал еще семьсот пятьдесят тысяч. Правда, аванс взять отказался. Договорились встретиться завтра, прямо в Управлении бытового обслуживания. С тем, чтобы всё, так сказать, оформить официально и через своих людей. Уходя, человек из Бухары бросил долгий и очарованный взгляд на табличку, висевшую на двери директорского кабинета. Он вообразил свою фамилию под толстым стеклом и на солидном бордовом фоне. Вот тогда-то мы с директором расхохотались, несмотря на тошнотворную подоплеку всей этой грязной истории. Ведь фамилия на табличке и имя-отчество моего знакомого вполне могли показаться еврейскими предприимчивому, но поразительно наивному предпринимателю: Исаак Иоганнович Герстенмайер! Он был чистокровным немцем, потомком давно обрусевших выходцев из Германии.

Я уже прикидывал в уме: кто у нас проходит «королем» по такого рода охмурениям ближних?... Остановился на Милькисе. Однако то, что сам он был евреем, поставило меня в тупик. Неужели, думаю, дошел Милькис, он же Чекушкин, он же Элотов, он же Робинзон-Волконский, до крайнего такого, до такого омерзительного цинизма в тяжкие для его народа и всех нормальных людей времена?

В голове моей уже готов был план поимки мерзавца. Я надеялся выйти на него с помощью человека из Бухары.

Засиделись мы в тот день допоздна. Закосели и расчувствовались до того, что Герстенмайер упал в ноги Федору Самойловичу и, еле ворочая языком, взмолился: «Прости меня, Федя, за тяжкий грех моего народа против твоей нации... Он был тогда безумен. Стебанулся вместе с фюрером. Прости! Не то поеду сейчас на работу, лягу в чужую свежую могилу и бессильно сложу на груди руки!»...

Я тоже бухнулся вдруг в ноги доктору Кошкину, окинул бесстрашным взглядом отоляринголога коммунальные ушастые наши стены и самым искренним образом возопил: «Проклятье бесноватым вождям! Чтоб они все сдохли до зачатия!»

Федор Самойлович, не выдержав душевного порыва чистых наших чувств, разрыдался. Он рыдал от радости возникновения между всеми нами чувства глубочайшего человеческого родства.

Супруга моя была в тот вечер на дежурстве. Федор Самойлович ушел первым. Он жил совсем рядом. А директор кладбища был, что называется, вдрабадан и, прижимая к груди пустую бутылку, без конца предлагал мне расследовать одну из самых странных тайн истории – тайну смерти месье Кливо. Будучи холостяком и фанатичным женоненавистником, он с пьяным упорством, и все перепутав, утверждал, что в нашем бардаке виновата проклятая дамочка... вдова Тимашук...

Не помню уж, как и когда мы заснули. Разбудил меня непрерывный, истерический, сбивающийся на хрип, звонок. Он проведен был от входных дверей прямо в нашу комнатушку. Был пятый час утра. Башка трещала совершенно невыносимо. Проклиная всё на свете, в том числе криминальную «Вдову Клико» и злополучный «Арманьяк 1917», я пошел открывать дверь. Из-за темноты в подъезде я не разглядел звонившего. А разглядев, глазам своим не поверил: передо мной стоял Федор Самойлович. На нем лица не было в буквальном смысле этого слова. Депрессивно запущенная за пару недель борода его была чисто выбрита. От него, как от куражистого солдафона, пришедшего в женское общежитие, просто адски разило одеколоном «Курортный». Пальтишко доктора вываляно было в какой-то пыли и грязище. Сам он дрожал с ног до головы и пытался что-то объяснить, но не мог вымолвить ни слова. Чувствовалось, что какое-то неожиданное потрясение мгновенно его протрезвило. Докторский саквояжик был, однако, при нем. Я провел его в мою комнату. Чтобы унять в докторе дрожь потрясения, мне пришлось разбудить соседа-таксиста и втридорога купить у него бутылку водки. Федор Самойлович, невнятно мыча, отмахивался от предложенного «лекарства». Затем с трудом превозмог нашествие на бедное свое существо череды похмельных спазм и слегка поправился. Глядя со слезами искренней благодарности – как на истинное чудо – на поллитровку, он наконец смог поведать мне о случившемся.

Он решительно не желал возвращаться домой в таком пьяном виде, ибо ни в коем случае не имел права травмировать в ЭТИ ДНИ свою БERTУ Яковлевну. Завалился спать в первый попавшийся подъезд. Положил под неимоверно кружащуюся голову саквояжик, всплакнул, словно в детстве, от какого-то странного – одновременно печальнейшего и сладчайшего – чувства общей нашей, человеческой потерянности и бездомно-

сти и заснул. Проснулся от внезапного удушья – от того аллергического удушья, которое находит на него от запаха некоторых духов и одеколонов. В подъезде было полутемно, но он – перед тем, как потерять сознание – успел немного разглядеть смутную, безумно зловещую фигуру человека, вытиравшего носовым платком опасную бритву. Человек этот был в... белом, в чистейшем белом халате. Вдруг он молниеносно исчез. Доктор Кошкин захрипел, подумав, что ночной бандит перерезал ему горло, и его, именно в ту минуту, ужасно затрясло. Не столько от страха и мгновенного осознания образа своей нелепой кончины, сколько от того, что бездарные ее обстоятельства окончательно доканают Берту Яковлевну. Она и без того издергана соседями-хулиганами. Затем, с отчетливой мыслью, что это – конец, это – всё, он потерял сознание. Очнувшись, дотронулся продолжавшей дрожать рукой до горла. Ощупал лицо. Лицо и горло были выбриты безукоризненно. Ему померещилось, что в голове трепетно затухают последние, посмертные мерцания мысли, а вся его фигура, готовая к выносу для прощания с Бертой Яковлевной, возлежит в каком-то случайном, невзрачном морге...

Возможно, он скончался бы в том подъезде от всего пережитого, от удушливого запаха «Курортного» и всё еще как бы стоявшей перед глазами зловещей фигуры ночного призрака в белом халате. Но, к счастью, в подъезд зашла какая-то загулявшая парочка. Мужчина наступил на доктора и, пробуя его живот на мягкость, сказал: «Зойка, аля-улю, тут топчан для нас приготовили добрые советские люди!» Он с трудом ворочал языком и еле-еле стоял на ногах.

Но доктор продолжал молчать, как труп. Он почему-то молчал даже тогда, когда мужчина, призывно замурлыкав, снял брюки, сел ему на грудь, судя по всему, голым задом и злобно посетовал, что вот атомных бомб мы – сволочи – понаделали, а командиро-

вочному невозможно через четверть века Советской власти переспать с бабой в гостинице. Затем он снова замурлыкал: «Я тебя, Зойка, озолочу за чуткость! Резко иду на растрату!.. тут – Ташкент подо мною, и топчан что-то потрескивает»... Трещали же ребра безропотного доктора. И всё же он решительно встрепенулся, увидев прямо над собой еще что-то необозримо белое. Он дернулся и застонал. Мужчина сначала недоверчиво икнул, потом подскочил и заорал. Жуткий вопль бездомных любовников был неопишум. Подобно двум ночным призракам, белые зады мужчины и его дамы молниеносно исчезли из подъезда. Наверху слышались тревожные голоса жильцов.

Это возвратило доктору Кошкину жизненную энергию, достаточную для того, чтобы успеть выползти на улицу. Дрожа от ужаса и ночной холодрыги, он, слава Богу, сразу же хватился саквояжика. И вот тут полностью проявился его человеческий характер. Он живо вообразил, что за слухи расползутся по столице, когда жильцы обнаружат чей-то докторский саквояжик... Там – рецептурные бланки! Там все его документы!.. Пожилой убийца в белом халате, участковый врач Козман, терроризирует по ночам мирно спящих строителей коммунизма... О Боже!..

Доктор возвратился в подъезд, просто вырвал из рук у какого-то типа в кальсонах драгоценную свою принадлежность и...

Судорога в горле снова лишила доктора дара речи. Он, выпучив глаза, хватал воздух побелевшими губами. Я растормошил директора кладбища Герстенмайера. Мы вдвоем привели доктора в чувство. Он хватанул еще грамм сто, закусил огурчиком и схватился за голову. «О Боже, я вчера не предупредил Берту Яковлевну! Что делать? Она уже обрыскала все милиции, больницы и морги... Она может подумать, что я тоже пошел этой ночью по делу врачей! Лучше бы я убил ее, вернувшись домой в пьяном виде!»

Я посоветовал ему немедленно позвонить домой и соврать жене, что провел ночь у постели больного Пронькина. Это не такая уж, сказал я, неправда. Доктор заявил, что никогда жене не лгал и лгать не намерен. Это совершенно невозможно. Лучше – смерть!.. Точно так же немыслим телефонный звонок в такое время... Мы не представляем, какие у них в коммуналке соседи и что за гвалт поднимут эти хулиганы... хотя сами они ни в чем не виноваты... их ожесточило и свело с ума наше проклятое время...

Последние слова доктор произнес еле слышным, но мужественным шепотом. Он поблагодарил нас за возвращение ему с помощью стакана водки нравственного и физического здоровья, то есть за чудодейственную поправку. Очень удивился, когда узнал, что это и есть та самая, спасительная опохмелка, столь презируемая некоторыми горделиво спивающимися псевдоинтеллигентами, но весьма почитаемая в нужный момент людьми вроде нас – мудрыми и простыми. Затем доктор клятвенно пообещал нам возвратиться для окончательной поправки и бросился, как он туманно выразился, «предупредить» Берту Яковлевну.

2

После его ухода мне начали дозваниваться из Управления. Я поднимал и сразу же бросал трубку. Я болен. Я сплю. Пошли вы все к чёртовой матери... Звонки прекратились. Но через некоторое время под окнами моими начала настырно сигналить служебная машина. Она квакала, не умолкая. Мне давали понять, что кваканье не прекратится, пока мною не займутся уже запсиховавшие и разбазлавшиеся в коридоре соседи. Я вынужден был открыть окно, хотя во дворе был гнилостный февраль, и заорать, размахивая больничным, что никто не имеет права меня тревожить. Пред-

ставьте, орал я своему непосредственному начальнику, что меня нет, что я подох и что рядом со мной уже находится директор кладбища. Я это орал, ненавидя похабную бесцеремонность начальства и полное отсутствие у всех у нас человеческих прав. Но я также знал, что через пять минут я оденусь. Я не пожру и не врежу для поправки стопку водки. Не побреюсь. Лишь почищу зубы, чтобы от меня не разлило перегаром «Вдовы Клико» с «Арманьяком-1917» и спущусь, провожаемый взглядами взбешенных, давно затравленных нашими внутренними органами соседей, к черной, служебной «Волге».

Я предъявил начальству свой больничный и сказал, что подам жалобу в профком и в местком, а в следующий раз буду прикован к постели прогрессивным параличом. Начальство ответило так:

– Не выламывайся, Пронькин. Меня самого с постели знаешь КТО поднял? Берия! Могу передать, что ты посылаешь его куда подальше, потому что сел на больничный. Хочешь?

– Что такого могло произойти в нашем государстве? – спросил я, мрачно намекая на то, что после всего некогда трагически происшедшего, происходит вроде бы уже и нечему.

– Наверху принято решение, что ОНИ, то есть УЗЕ-УЗЕ и СТАРУШКА НЕ СПЕША ДОРОЖКУ ПЕРЕШЛА, хотят бросить нашу страну в средневековье. Только в эту ночь перерезано горло одному узбеку и нашему, русскому Ивану. По Москве, повторяю, ходит-бродит призрак в белом халате и с еврейской наружностью. Узбек, как выяснилось, был в бегах после землетрясения в Ашхабаде. Украл из-под развалин госбанка 13 миллионов и скрылся. Пытался, подлец, бросить тень на дружбу народов. Безнаказанно тратит эти деньги вот уже пять лет. Русский же Иван приперся из Иркутска в Госплан давать взятку за комбайн и навести шороху среди блядей на площади трех

вокзалов. Навел. Шлюшка этого Ивана своими глазами видела призрака с бритвой в руках, но не могла заорать от страха. Ранее она же наткнулась еще на один труп в подъезде, но обнаружить его не удалось. Даю тебе, Пронькин, два дня на обезвреживание всего этого поганого, израильского средневековья... Ясно?

Дело, ответил я, как всегда, ясное, что дело – темное. Башка моя трещала неимоверно. Не столько с похмелья, сколько от кошмарной и кашеобразной информации начальства. Я просто содрогнулся, представив, что было бы, если бы жильцы задержали ночью в подъезде доктора Кошкина. При таком жутком стечении всех обстоятельств он уже через пару часов раскололся бы на Лубянке в убийстве предприимчивого бухарца с несчастным командировочным и еще кое в чем, леденящем кровь обывателя...

Первым делом я попросил Герстенмайера опознать в морге личность странного профессионала – грабителя банков, разрушаемых азиатскими землетрясениями. Это был он. Убили его и ограбили в одной из подворотен, вблизи от площади трех вокзалов. Рядом покоилось огромное тело ночного гуляки. Директор «кладбища с большим будущим» проклинал себя за то, что сразу же не задержал этого беспутного человека. «Его смерть, Пронькин, на моей совести!»...

Работать Герстенмайер в этот день, разумеется, не мог и умолил разрешить ему послушно следовать за мною. Он дал по телефону указание своему заму насчет некоторых захоронений и усиления охраны венков из свежих цветов, расхищаемых по ночам недремлющими мародерами.

Затем я сходу нагрянул на квартиру короля мошенников Милькиса – Чекушкина – Элотова – Легашкина – Промокашкина и т. д. Он резался в «коротенькую» в компании себе подобных сравнительно безобидных злодеев. Алиби его было безусловным. Злодеи мгновенно смылись после того, как я их опросил.

– Ну что, товарищ подонок, – сказал я, – не брезгуешь в такие времена ничем? Распроедаешь собственность смятенных гонениями соплеменников? Кажется, ты у меня раньше их всех окажешься в зоне вечной мерзлоты. Быстро, говнюк, выкладывай адреса и фамилии всех охмурённых! Ни одной не забудь!..

Аферист пытался изворачиваться и уверял меня, что все бабки, вырученные «с фуфла событий», намеревался переслать в Израиль – внести свой скромный вклад в дело создания Фигуры Народной Скорби. Я, естественно, не поверил ни одному его слову. Имена и должности людей, поспешивших хапануть собственность, от которой якобы хотели избавиться депортируемые евреи, потрясли меня и Герстенмайера.

Забегаю вперед, скажу, что потом, в разговорах с этими людьми, я счел возможным не скрывать своей брезгливости. Все они были людьми состоятельными – двое членов ССП СССР, известный композитор, заведующая продскладом крупного госпиталя, генерал-полковник в отставке, постановщик фильма об американском образе жизни и кассир Ярославского вокзала. К величайшему моему удивлению, все они, кроме известного композитора, оказавшегося патологическим жлобом, отказались взять деньги обратно. Очевидно, устроились фельетона в «Крокодиле» насчет гнусоватой попытки группы аморальных лиц обзавестись чужими квартирами, картинами, библиотеками и даже, как бы трагически остававшимися на улице, домработницами...

Одним словом, между мошенником, призраком в белом халате и ночными убийствами не было ничего общего...

Затем я опросил в присутствии Герстенмайера нескольких мужчин, о которых дружно засигналили наши многочисленные сексоты... Все допрашиваемые были старыми алкашами, вызывающе гордо превосходящими желание поддаться. Показания их были такими стереотипными, словно они успели в какой-то момент

телепатически сговориться. Вот пример одного из них...

Завалился я дрыхнуть, не помню, как, когда и где. Вдруг чую – кто-то намыливает щеки мои, вот уж пару недель запоя небритые, замечательно горячей мыльной кисточкой, какой падлы-парикмахерши никогда не намылят. Потому что этим гнидам серолицым важно лишь содрать с тебя бабки за освежение «Красной Москвой» или «Курортным».

В этом месте показаний я удовлетворенно похмыкивал. Если помните, в ночном подъезде доктор Кошкин чуть не задохнулся от аллергии именно к этому виду нашей отечественной парфюмерии. При похмыкивании моем алкаши вздрагивали с ног до головы, ибо личности, преодолевающие мучительную абстиненцию, реагируют на любую – даже существующую в их затравленном воображении – опасность более чутко и трепетно, чем горные козлы и полевые мышки...

...Вроде бы всё это было во сне... под балдой мало ли чего может присниться... а, с другой стороны, до такого эффекта присутствия на твоей щеке горячей мыльной кисточки – я лично еще не нажирался. Чёртиков безбилетных с подножки трамвая – скидывал, говорящими грибами-поганками и мухоморами, поющими «Интернационал» – закусывал, но такого... такого сроду со мной абстыга не вытворяла... Такой даже случай был. Выпил рассольчика. Хрущу огурчиком. А он настырно попискивает на зубах: получка... получка... получка. Вот до чего иногда наглеют огурчики... Открыл, в общем, глаза. Всё перед ними пляшет-пританцовывает хороводом и одновременно вприсядку, под управлением Игоря Моисеева. Вижу белый халат... кучерявое лицо... нос натурально похож на опрокинутый вопросительный знак. На конце его, от холодрыги – капля дрожит... то ли еврей, то ли армянин, то ли цыганская витрина театра «Ромен» – понять невозможно. Но понимать, товарищ Пронькин, в таких случаях

ничего не следует, потому что можно «поехать» от бесполезной попытки добиться с похмелья торжества Разума... Глаза различил на тоже небритом, как у льва в зоопарке, лице. Вместо глаз на нем – два пузыря огромных. На лужах такие пузыри бывают после грибного дождя... Я ведь – грибник, между прочим, то есть между запоями... И тут призрак этот бритву опасную вынимает... я теряю сознание, но слышу сквозь глубокий обморок, как выбривает он меня... выбривает... В падалах-парикмахерских скребут твоё лицо, вроде как жопу поросенка к седьмому ноября, либо говяжьёю палёную ногу, а ЭТОТ, чую, – броеет! Броеет с уважением душевным к несчастному твоему кожному покрову, обветренному суровой действительностью и чересчур шустрым нашим движением к будущему... слезы, помню, в тот момент потекли тихонько и холодненько по задрожавшим вскрылиям сиротливо хлюпнувшего моего носа... Призрак белым халатом их сочувственно вытер... Броеет, значит, он меня душевно, а я внутренне благодарствую ему, хотя понимаю, что после бритья вымоет он меня от уха – до уха, и в таком вот благопристойном виде предстану я в морге перед супругой и детьми, напрасно ожидавшими трое суток от родного человека получки, премии за выполнение полугодового плана и двух приличных взяток от директора булочной и рюмочной «Романтики»... Разумеется, не шелохнусь. Замер, как детская сопля бездомного сироты, прихваченная морозом, или как часовой у Мавзолея, о чем прошу помалкивать в протоколе допроса... Бритва-то опасно гуляет по центру и периферии безвольной моей физиономии... Ножнички, чую, малёхонькие – чик-чик-чик в носу и в ушах... чик-чик-чик... к бровям насупленным вспорхнули... Тут слёз я снова удержать не смог, потому что войну прошел, еще раньше от раскулачивания уцелел, ревизоров лучше меня никто в Горторге не придельывал к ногтю, но такого отношения к себе не встречал я никогда и подразумеваю, простите за рифмоч-

ку, что именно от сердечной тоски по нему тягостно запиваю...

Текут мои слезы за воротник, холодят область сердечной мышцы, а призрак всё броеет, броеет и вполголоса картаво внушает: «До чего ж вы довели себя, сударь! До чего же вы себя довели!.. Завязать надо... Вместо выпивки взяли бы да вышли в Нескучный. Закат встретили бы. Потому что рассвет следует встречать дома, а не на помойке. Пожалейте себя, сударь, а заодно и детишек своих с супругой, изведенной ожиданием беспутного мужа. Содрогнитесь от пагубности низкого своего пристрастия... Настоятельнейше советую завязать...»

Господи, думаю, может, это я помер в подвале, может, замерз в печальном обществе затрапезных крыс, паутины времени и старых противогазов, а голос Стража Небесного подготавливает меня за все тяжкие, за все неисповеданные грехи мои к Страшному Трибуналу?.. До чего же довел я себя трагической взаимосвязанностью взяток и пьянства!.. Господи, прости и помилуй, если жив останусь в таковой беспробудности, клятву даю – завяжу! Отдам себя на растерзанье безжалостной похмелюге, но – завяжу, Господи, прости... Призрак же тот спрашивает душевно: «Вас, сударь, освежить?» и, ответа не дожидаясь, намазывает бритое мое, бесстыжее рыло всепрощающим кремом... приводит его затем в гордый и божеский вид массажиком... массажиком... и вот уже – освежает... освежает... освежает... Потом заключает: «Всего хорошего, сударь, завяжите, пожалуйста, не губите сами себя в такое погибельное время»... Хочу воскликнуть слова благодарности, но Призрака уж след простыл. Добираюсь на карачках домой для покаяния перед своей несчастной половиной. Утыкаюсь полутрезвым лбом в нашу двухспалку, рыдаю и ничего вразумительного произнести не могу. Ибо потрясен. Лишь повторяю: «Настя, Настя! Пони-маешь ли ты, что я теперь СУДАРЬ?.. Сударь я, Настя, а не пьянь пропащая... СУДАРЬ!.. СУДАРЬ!»... Настя

орать начинает, как бешеная, что шлюхи-продавщицы выбрили меня и намазали одеколоном. Зовет на помощь проходимцев-соседей. Я активно внушаю им, что я – СУДАРЬ. СУДАРЬ я, внушаю, а вы – сволочи коммунальные! Закономерно оказываюсь в психушке, где вынужден был дать правдивые показания, но в людях не нашел сочувствия и ответа... Выпустили после вмешательства дружков из Моссовета, которые перестали доверять медперсоналу в связи с делом врачей-убийц. В рот не беру вторую неделю. Не беру также взятки. Регулярно встречаю закат в Нескучном, над Москвою-рекой, а ночью дома и решительно отказываюсь отречься от веры во встречу с ночным Призраком трезвости и совести... Побольше бы нам таких, а не прохиндеев с брошюрками «Спутник атеиста»... Броюсь теперь каждый день, хотя буду жаловаться самому Сталину на поганое качество наших бритв, которыми только горла поджигателям войны перерезать и убийцам в белых халатах, а не брить физию советского человека.

Кстати, я не мог не заметить, что умудренно-спокойная и ненавязчиво-устрашающая, в силу своей должности и призвания, фигура директора кладбища каким-то мистическим образом воздействовала на психику людей, оказавшихся в поле ее зрения. Все, без исключения, опрашиваемые становились вдруг внутренне строже и осмотрительней. Воздерживались от мелких шуточек. Особенно пугало меня то, что все они, бессознательно поддаваясь таинственной притягательности фигуры моего старого знакомого, как по команде, складывали крест-накрест на груди руки. Непроизвольно закидывали вверх подбородки и, умудренно соотнося НЕЧТО никому неизвестное, с ЧЕМ-ТО, известным только им одним, упирались в потолок печально отрешенным от повседневности, полузакрытым взглядом...

После опроса бывших алкашей, завязавших столь странным и неправдоподобным образом, нам с Герстен-

майером стало ясно, что таинственный парикмахер не имел никакого отношения к участвовавшим ограблениям и убийствам.

Какой-то бандит грабил и убивал под чужую, так сказать, марку, заодно способствуя распространению чудовищных юдофобских слухов. Я дал указания нашему патологу-анатому тщательно обследовать трупы пострадавших. Как я и подозревал, их сначала оглушали мощным и неожиданным ударом в затылок, грабили, а уж потом – для запутывания следов и отвлечения сыщицкого взора – перерезали горло.

Мне пришлось подробней расспросить доктора Кошкина о его встрече с ночным Призраком, стиль поведения которого совершенно не укладывался в рамки представлений криминалистики о нравах самых экстравагантных преступников. Доктор ничего нового не добавил... Пьян он был тогда так, что не помнит никаких антиалкогольных нотаций... Не успел рассмотреть внешности Призрака, ибо чуть-чуть не умер от ужаса и аллергического удушья... Одеколон был «Курортный»... Он полагает, что всё это было странным проявлением белой горячки редчайшего типа, а не действительным случаем...

Я не стал переубеждать моего лечащего врача, до того травмированного происшедшим, что ему самому пришлось забюллетенить.

Затем мы разыскали вокзальную даму, которая чуть-чуть не присела в подвале на доктора Кошкина. После всего случившегося она не выходила «на работу», но целыми днями рассказывала и в коммунальной кухне, и во дворе, и в очередях о своих кошмарных ночных приключениях...

Да... было дело... с гостиницами для приезжих дело обстоит так плохо, что приходится обслуживать их чёрт знает где, иногда даже в пустых купе курьерских поездов, а мы ведь стоим на пороге коммунизма... просто стыдно бывает перед людьми, которые строят на пери-

ферии такую клёвую формацию в трудных условиях и без женской ласки, а в столице хотят по-человечески отдохнуть... один – вот теперь отдыхает без выхода на работу... Да... она вполне может не отвлекаться на политику... она чуть не села на труп человека... от него воняло одеколоном... оба мы выбежали на улицу полуголые... Да... она запуталась в юбке, потеряла шелковый чулочек, упала и разбила нос... теперь с таким «пятяком» – только зайцев пугать в зоопарке, а не соблазнять командировочных «пиджаков» у Трёх Вокзалов... Да... несмотря на испуг, отбивший всякое желание «работать», она всё же пожалела приезжего... пошли в одно знакомое бомбоубежище... чего ему зря пустовать?... войны, может, еще и не будет, если, как сказал товарищ Сталин, мы возьмем дело мира в свои руки... но Черчилль ему грубо ответил, что мир – не... хм-хм... в руки не возьмешь... в бомбоубежище приезжий клиент отдыхал душой и телом... возмутил меня до глубины души тем, что накликал на Москву атомную бомбу, потому что все гостиницы всё равно оккупированы дальневосточными евреями и китайцами... смеялся, что мы с ним всех тут в момент атомной атаки перележим, а потом гульнем по пустому буфету... я презрительно промолчала и даже пошла вздремнуть в другой отсек, в котором от газа спасаются... от обиды за родной город и другие национальности... У трех вокзалов я лично стала большой интернационалисткой, потому что фуфло мне двигали все наши республики, чукчи, нанайцы, негры и даже пленный японец, потерянный в сортире Ярославского пьяным конвоем... сам маленький такой, вроде черного сухарика, а в любви – маршал Ррро-кко-совский... я говорю: банзай, а банзай, с тобой кошмарно хорошо... оставайся у меня... чо те в плену-то делать?... чо ты там не видел-то?... Хотел мне весь свой паек отдать – мешочек зернышек, с наперсток сахара и пяток сушеных килек, но я не взяла... разве не стыдно пленных так кормить?... Извините, господа менты... слышу

вдруг в газовом отсеке жуткий хрип и бульканье... не трубы ли, думаю, прорвало?... иду туда, а там бандит стоит с бритвицей кровавой в руках... я – от него, но не ору, потому что орать не было сил... он – за мной... темнотища... я там каждый закуток знаю... стальную дверь – на задвижку, а выбралась на улицу через окно, всю жоржетку порвала... Морды его зверской не помню. Там было темно. Бомбоубежище – не Колонный зал дома Союзов...

Я был потрясен, когда увидел, что Герстенмайер – этот убежденный холостяк и фанатичный женоненавистник, – извинившись, покидает меня вместе с распутной, но, честно говоря, весьма симпатичной дамой. Мне только оставалось пробормотать про себя: жизнь на Земле, господа, жизнь на Земле... и развести руками.

3

Затем я, разумеется, обследовал и подворотню, где убили человека из Бухары, и бомбоубежище, и подъезд, в котором ночевал доктор Кошкин. Еще больше уверился в том, что ночной парикмахер-проповедник трезвости и убийца – разные лица.

Прошла пара дней. Начальство не давало мне покоя и требовало – под страхом разжалования в рядовые милиционеры – обнаружить преступника, в национальности которого больше не может быть никаких сомнений. Если, Шерлок Хренов, Холмс грёбаный, не обнаружишь, нам придется расколоть какого-нибудь другого Абрашу, и он будет не на нашей совести, а на твоей...

Возможно, впервые в жизни я оказался в таком беспросветном тупике. Ухватиться мне было совершенно не за что. Из следов – невразумительные, никуда не ведущие отпечатки чьей-то обуви, один жалконький чулок вокзальной дамы, да кое-где наплывы капнувшей с помазка мыльной пены.

А время шло. Атмосфера московской жизни становилась буквально с каждым часом всё гниlostней и безумней. Один знакомый психиатр позвонил мне в те дни и рассказал, что к нему в клинику поступает неслыханное количество ополоумевших граждан... Одного гражданина задержали в метро с огромным ломом. Этот «стахановец паранойи» собирался пробить тоннель от станции «Дзержинская» до города Биробиджана для того, чтобы американский империализм с мировым сионизмом и прочим проклятым общественным мнением не засекли, как мы переселяем Рабиновичей туда, где раки зимуют. Кроме того, он надеялся встретить в конце тоннеля самого Кагановича и «дать ему ломом по мозгам за медленное развитие метрополитена». Гражданина этого там же, в метро, вежливо поблагодарили за помощь и заверили, что наше государство само всегда справлялось с переселением куда следует, в том числе и на помойку Истории, никому не нужных народов. Но гражданин запел «широка страна моя родная!», переломал ломом ребра двум милиционерам и дежурной по станции, а также пытался снести череп бронзовому бюсту Дзержинского... Что происходит, Пронькин? Ответь хоть ты? Сколько это может продолжаться?.. Но что я мог ответить на недоуменный вопрос опытного психиатра?..

От чувства безнадежности в голове моей вдруг возник один сумасбродный план. Для его выполнения мне нужен был помощник, не имевший никакого отношения к милиции. Но Герстенмайер как сквозь землю провалился. На кладбище сказали, что он взял отпуск за свой счет и распорядился вырыть могилу на участке, где хоронят директоров магазинов и народных киноартистов. Я похолодел и готов был пустить себе пулю в лоб. Я вообразил, что вокзальная дама была в самом деле хипесницей, наводившей убийцу на «пиджаков» с деньгами. Герстенмайер – состоятельный коллекционер антиквариата... Убийцы притырили где-то его труп с

перерезанным горлом... маханули в Сочи... я – кретин, последний кретин... я пушу себе пулю в лоб...

Я бросился по адресу столь ловко проведеншей меня злодейки... Словоохотливые соседи по коммуналке сказали, что Зойка Пашкова который уж день дома не ночует, наверно, посажена, хотя бабенка была душевная и щедрая на гостинцы детишкам, потому что до бесстыдной проституции служила няней в яслях, где за воспитание младенцев платят так мало, что поневоле пойдешь по рукам родителей... Начала она с этого, а потом уж – с отрывом от производства – перешла на командировочных «пиджаков» с большими деньгами... Правильно говорят в народе: всем хороша Фроська, да совесть дырява, как авоська... Может ли пойти на преступление?... Вполне может! Третьего дня Смердыниху башкой в унитаз тыкала и грозилась всех нас обмочить другим образом. Ее бы, начальник, вместе с врачами в Сибирь выселить...

Просто обезумевая от ужаса, я приказал домуправу и двум понятым взломать квартиру Герстенмайера. Меня обрадовало то, что завод старинного будильника был сравнительно недавним, а на одном из хрустальных бокалов виднелась помада. Постель Герстенмайера похожа была не на унылое холостяцкое ложе, а на студенческую койку. Я почувствовал неловкость и некоторую надежду. Взломанную квартиру Герстенмайера я приказал опечатать.

Вечером я позвонил доктору Кошкину. Он согласился мне ассистировать.

Часов до двух ночи мы с ним молча – чтобы не будить мою супругу – играли в шахматы. Затем вышли из дома. На улицах была зимняя, вроде бы безмятежная тишина. Но всё равно – в атмосфере спящей столицы чувствовались тоска, смятение и холодная испарина непостижимого безумья...

Нам с доктором, в соответствии с моим планом, необходимо было «косить» за пьяных в дымину слу-

жащих. Мы пошатывались. Мочились, тупо уткнувшись лбами в уличные фонари. Падали в сугробы. Мычали и пели «широка страна моя родная» и «утро красит нежным цветом»... Наконец завалились в тот самый подъезд, в котором доктора начисто выбрил Призрак в белом халате. Мы улеглись под лестницей, рядышком с теплой, слава Богу, батареей. Для перевозомогания страха мой ассистент шепотом рассказывал, как Берта Яковлевна устроила ему ТОГДА сцену безумной ревности. Она рыдала, отталкивала его от себя и кричала, не стесняясь соседей, что он был у продажных женщин, потому что от него разит дорогим шампанским и дешевым одеколоном... убийца!.. убийца!.. убийца!.. Берта, где ты нашла в наше время продажных женщин?.. Там, где ты бреешься по ночам! У кого ты побывал в объятьях? У вот этой горячей батареи... ха-ха-ха...

Мы прекратили шептаться, когда входная дверь тихонько скрипнула и в подъезд кто-то вошел. Шаги приближались. Мы с доктором пьяно и вразнобой похрапывали. Я понял, что человек – он был в белом халате и в очках с невообразимо толстыми линзами – узнал доктора Кошкина. Склонившись над ним, он картаво пробормотал: «Продолжаете? Ну-ну... продолжайте, сударики... разрушайте свое здоровье...».

Я был вполне спокоен, когда Призрак склонился затем надо мною и мягко потрогал теплой, участливой рукой мой небритый подбородок. Я также был спокоен, тайком наблюдая, как он открывает термос, наливает в чашечку горячую воду и, тихонько стуча помазком, разводит в ней мыльную пену. Но когда он вынул из бокового кармана опасную бритву, когда он расправил ее, когда в жуткой полутьме холодного подъезда загорелись какой-то совершенно маниакальной страстью его глаза – загорелись с такой силой, что высветили изнутри толщенные линзы очков, – когда Призрак схватил меня за нос и артистично взмахнул бритвой... Нервы мои не выдержали такого неслыханного испытания. Мне и

сейчас жутковато вспоминать мгновение, когда воображение мое, как бы предвосхитив картину всего, что вот-вот, судя по всему, вполне могло произойти, заставило меня молниеносно, словно в детском сновидении, с содроганьем от смертного страха и с замершим где-то в глубине моего существа воплем ужаса, отпрянуть в сторону и направить прямо в лоб Призраку пистолет.

Доктор Кошкин стонал в этот момент, скрючившись от приступа неудержимого хохота. Я, насколько помню, действительно онемел в то мгновение. Призрак, видимо, перепугавшись не меньше моего, сказал с ужасающе опасным в те гниlostные времена, с трогательно добрым и комичным еврейским акцентом: «Ша... ша... ша... я – ваш добрый друг... я безработный парикмахер... ша... я не собираюсь перерезать вам горло... я вас очень хорошо и бесплатно побрею... я вас освежу «Курортным»... я – очень хороший парикмахер...»

Картавинка буквы «р» тревожно и добродушно перекаtywалась в гортани Призрака, словно горошина в самодельном свисточке, и музыка этой речи подействовала на меня успокаивающим образом. Однако от потрясения я сорвался на поганый ментовский тон: «Быстро закрыть бритву! Пройдемте в отделение!» – «Что-о вы-ы себе-е могли-и позволить подумать, ми-и-лый, обо мне-е-е?» – спросил с такой грустной напевностью, с такой чистосердечной обидой и упреком в голосе Призрак, что из его вопроса мгновенно, как вспугнутые птички, улетучились все «эр-р-р». Я пристыженно молчал. Доктор Кошкин корчился в судорогах пароксического хохота. «Так я вас побрею по высшему классу-люкс и расскажу свою историю», – то ли вопросительно, то ли утвердительно сказал Призрак. Гипнотически подчиняясь, я принял сидячее положение, но пистолета из рук не выпускал. Прикосновения к лицу моему горячей, нежнейшей кисточки и внимательных, мягких пальцев магически меня убаюкивали, но я, преодолевая работу воображения, полностью отдался удивительному рас-

сказу Призрака. Бритва же его наточена и правлена была так, что я просто не замечал восхитительно быстрых и мастерских ее движений....

«Главное – ша, и я буду почти короток. Вы можете улыбнуться, но моя фамилия – Цирюльник. Наум Цирюльник. Я из Речицы. Белоруссия. Всё было хорошо, но – нет. Взяли и пришли фашисты, хотя кто их звал? Даже если вы пришли – ведите себя интеллигентно и дайте вздохнуть трудящимся Белоруссии... вы, чувствуется, оперативный работник, и я остерегаюсь сказать, от чего и от кого все мы могли бы хорошенько отдохнуть... Хотя ваше лицо – лицо благородного человека... не играйте от смущения желваками... ша... Выжил только я. Спасибо Мацкевичам. Слава Богу и Мацкевичам. Я жил до победы у них в погребе. Я был слепой без очков, которые не успели прийти из Одессы от профессора Филатова. Но в погребе я вполне мог жить без очков. Мне было четырнадцать лет. В темноте, вслепую, я ухитрялся брить и подстригать партизан, а также готовить самодельные мины. Я мог взлететь на воздух в любую минуту. Плохо, когда у человека есть страх. Это значит, что он слишком хочет жить, несмотря ни на что. И плохо, когда у человека нет страха. Это значит, что, несмотря ни на что, он жить не хочет. Потом была победа. Вы очень удивитесь, но в этот день пришли люди с почты и принесли очки от Филатова. Все, кроме меня, были мертвы по этому вечно живому адресу. Мамина сестра тетя Беба взяла меня в Москву, чтобы на ком-нибудь женить и дать профессию. Но кому я нужен с таким носом, с таким зрением и с такой раздражающей товарища Сталина речью? Не знаю почему, но я мечтал быть замечательным парикмахером. Учиться я не хотел. Учеба не делает человека не фашистом, а в наших парикмахерских мастера относятся к лицу и к голове мужчины хуже, чем баба к магазинной картошке. Я хотел делать только приятное людям. И не в будущем, как нас пичкают обещаниями,

а в сию минуту. Каждую ночь я видел во сне дедушку, и он говорил мне: «Нюма, возьми мою профессию. Делай человека ДРУГИМ с помощью бритвы и ножниц. Согрей своей праведной жизнью нашу холодную могилу»...

И вот – я хожу по парикмахерским и прошу зачислить меня учеником мужского мастера. Меня не берут на работу... То да сё... плохое зрение... ты будешь резать людям горло... клиенты таких не любят... иди в трест... Я иду в трест. Меня заставляют долго рассказывать о себе. При этом они смеются, как будто мой разговор – это цирковой клоун. Они меня в чем-то подозревают... Почему не учишься на физика-изика?.. Потому что я выбрал место вблизи от лица человека!.. Ха-ха-ха... Тетя Беба считала меня сумасшедшим. Я одалживал у нее деньги. На Даниловском стоял в очереди. Покупал в «Субпродуктах» свиные головы и говяжьи ноги. У Советской власти нет желания опалить их для бедного, народного холодца. Зато ей не лень стричь раз в месяц двадцать миллионов людей в каторжных банях, под машинку номер 2... На сколько лет я уже наговорил? Сегодня у меня что-то опять нет никакого страха...

И вот, ночью, когда все соседи спали, я точил дедушкину бритву. Кстати, ему ее подарил в восемнадцатом году интеллигентный немецкий офицер. В знак извинения за немецкий народ, занявший на время Речицу... Все соседи спали, а я намыливал свиные головы и говяжьи ноги и брил их. Да, я их брил, потому что мне – еврейскому парню с ужасной внешностью и картавой речью – не было места в парикмахерской при расцвете дружбы народов. Я тренировался на бездушных субпродуктах. Это была хорошая и суровая школа. Спасибо ей – она сделала меня отличным мастером. Я никогда не допускал ни единого пореза ни одной свиной головы, ни одной говяжьей ножки. Выбритое я относил обратно на Даниловский, где продавал с некоторой прибылью за работу. Женщины меня буквально целовали, но мили-

ция хотела посадить за частную деятельность и нездоровую тягу к капитализму...

Хорошо. Я пристроился брить мужчин-покойников в морге Второй Градской. Тоже – по ночам. Я не был в штате, но бригадир Шаньков хорошо мне платил. Это был большой бандит и хулиган. Я видел, что они там делали с покойниками перед их последним путем. Вырывали золотые зубы. Кто из скорбных людей станет заглядывать в рот умерших близких? Вы бы видели также, как Шаньков измывался над несчастными родственниками! Сколько он драл с них за подведение грустного марафета на перекособоченных жизнью и смертью дорогих лицах. А ведь марафет наводил я. Я! Не знаю, откуда во мне появился такой талант – талант последнего гримера. Шаньков так и говорил мне: рисуй, гримёр, пока сам не помёр. И я рисовал. Синяки притычивал и прочие раны. Пудру, помаду, черные карандаши и прочие цапки я брал взаимообразно у тети Бебы, которая выступала с эстрады с внутренне говорящим мужским голосом. Читала стишки о Ленине и о Сталине. Но это – отдельный разговор.

Я чудесно выбривал и подстригал тех, кто перед кончиной не успел или не смог сходить в парикмахерскую. Искренне разглаживал морщины. Я тихо и в высшей степени заботливо снимал с неживых лиц ужас, страх, горе, мелкое жлобство, обиды, унижение, вечное недовольство, волчью затравленность, тупое чванство и прочие временные нарушения нашего достойного портрета. А что я делал с повесившимися парнями и девушками!.. Они казались папам и мамам просто спящими. Они казались им видящими спокойные сны перед днями рождения.

Я бесстрашно, одним словом, заявил бригадир у мерзавцев, что перережу глотку каждому, кто еще раз нарушит покой бедных трупов и их убитых родственников. Мерзавцы меня оскорбляли, били, сняли очки и хотели раскрошить стекла на бетонном столе. Я взмолил-ся, чтобы они убили меня, но очки оставили в живых...

Всё-таки в людях всегда остается что-то человеческое. Мне вернули очки и прогнали к чёртовой матери. Что, думаю, живому жаловаться живым за обиженных мертвых? Пусть мертвые попросят у Бога прощения за павших до такой низости живых... У вас очень сложная борода... Но после говяжьих ножек мне уже ничего не страшно... Короче говоря, натренировавшись на субпродуктах и мертвых лицах, я решил перейти на более ответственную работу. Во-первых, я начал бесплатно обслуживать соседей. Всё было хорошо. Но – на тебе! Возникло в чьей-то горячей голове дело врачей. Можно подумать, что у нашей страны есть всё, кроме дела врачей. Есть жилплощадь, хорошее питание, счастливое крестьянство, никто не вешается, никого не убивают, бригадир Шаньков не безобразничает в морге... У кого-то там наверху, скажу я вам, серьезно помутилось в голове. Я не завидую этому человеку... Соседи перестали доверять моей чистосердечной бритве, моим веселым ножницам и вот этой кисточке. Об устроиться учеником уже не могло быть и речи. Как только заведующие парикмахерских видели мою карикатурную – что уж тут говорить! – прямо из «Крокодила», внешность, они махали руками... Сокращение штатов... Зимой свертывается обслуживание мужчин в виду сокращения бороdorоста... Идите работать на завод... Дружбы народа и интернационализма я нахлебался до конца дней. Но у меня не было и нет обиды на русского человека. У всех у нас – общая беда и одна зараза на всех. Знаете, как она называется? Я могу сказать, потому что в зоне я не пропаду, можете быть в этом уверены... В связи с делом врачей я потерял клиентов. Вы заметили, что я перестал вам говорить «Ша... ша... ша»?.. Мне пришлось выйти на улицу в такие холода. Я чудесно обслуживаю тех, кто теряет человеческий облик и валяется где попало. Я внушаю людям не пить. Я освежаю их «Курортным». В этом вся моя вина. Учтите, дорогой мой, если Цирюль-

ника не расстреляют и не посадят, он всё равно станет официальным парикмахером. Вас освежить?..

Я ничего не успел ответить. «Руки вверх!»... «Ни с места!»... «Стрелять будем!»... Это, очумев от собственного ужаса, завопили ворвавшиеся в подъезд милиционеры. Их было трое. На лестнице тут же появились полуодетые жильцы. «Он, Лёлька, он!!!»... «Шмалаяй его, падлу, на месте!!!»... «Ох, кровопивец!!!»... «Сейчас он его вымоет от уха до уха!.. С поличным возмут!!!»... «Хитры, сволочи – сначала побреют, а потом жизни лишат. Дороговато обходится такое обслуживание русскому человеку!»

Цирюльник, как стоял с бритвой, артистически поднятой надо мною для завершающего взмаха, и держа другой рукой кончик моего носа, так и застыл на месте. Он только иронически усмехнулся и сказал: «Зона – так зона... Пуля в лоб – так пусть будет пуля в лоб...»

Что мне было делать в такой ситуации? Я проклинал себя за потерю профессиональной осторожности и недооценку параноической бдительности советских граждан. Теперь уж не обойтись без протокола задержания и свежесдобитых статей в желто-серой нашей, зловонной прессе... Утром вспыхнут самые невероятные слухи о поимке родной милицией того самого Призрака-еврея, который непременно выбривал и освежал своих жертв перед тем, как перекомструлировать им горло от уха до уха... Что я наделал?.. За одни сутки столько нелепых ошибок, сколько не было их за всю мою долгую и не бесславную практику!.. Цирюльника-то я постараюсь вызволить, но что, если погиб Герстенмайер?.. Что мне тогда делать?.. Проклинать себя всю жизнь за непозволительное для сыщика фрайерство?..

Обо всем этом я думал по дороге в отделение. А что мне было делать, когда, несмотря на все мои разъяснения и свидетельства, начальник отделения, поднятый с постели и предельно счастливый, что это его молодцы-менты задержали ночного убийцу еврея, отказался

освободить не только Цирюльника, но и Федора Самойловича Козмана как его сообщника?..

Их быстренько переведут из милиции на Лубянку... Бериевская погань умело переломает очередным невинным людям кости, садистически их помучает и пришьет новое «дело века» о ритуальных ночных убийствах. А ублюдочная наша, рабская пресса будет в это самое время разрываться на части, якобы от благородного интернационализма, и выть: «Позор убийцам американских патриотов!!!»... «Руки прочь от супругов Розенберг!!!»... Затем – в тех же отстойниках нашей многолетней общественной лжи и грязи – появятся пространые репортажи из зала суда... Появятся неистово разгневанные письма отдельных трудящихся и целых трудовых коллективов, призывающих правительство сурово покарать выроdkов рода человеческого – Цирюльника и Козмана... Пройдут возмущенные митинги на заводах и фабриках, в школах и институтах, в армейских подразделениях и колхозах...

Взгляд доктора Кошкина был неопиcуем, когда начальник ментов приказал вышибить меня из отделения. Я прочитал в том смиренном и опустошенном взгляде лишь последнюю просьбу – позвоните, Пронькин, Берте Яковлевне... всё остальное и так ясно...

До меня донесся крик допрашиваемого Цирюльника. Менты спешили выбить из него признание...

Боже мой, взмолился я, хотя никогда не считал себя человеком верующим, прости!.. помоги!.. спаси!.. помилуй!..

Мне необходимо было выиграть время. Я дозволился своему начальству и сказал на очень любимом им жаргоне, что уличные менты хотят очковтирательски двинуть фуфло Советской власти, то есть выдать мнимых бандитов за натуральных. Убийства наверняка будут продолжаться. Нам не удастся отмазаться с помощью самых фартовых аргументов. МУРу приде-

лают заячьи уши, а сами – сволочи – будут получать премии и медали.

Мой генерал вскочил с постели. Напаялил на себя серокаракулевою папаху. Примчался в отделение на трех «воронках» и с дюжиной оперов-головорезов. Подошел к начальнику ментов. Тыкнул ему в ноздрю дулом «вальтера». Облил погоны чернилом, потому что от частого общения с блатными как бы приобрел некоторые их манеры, и понес его по кочкам:

– Ты кому, шаромыжник, вознамерился приделывать заячьи уши? Ты кого арестовал при исполнении служебных обязанностей? Ты, падла, какое имел право, хрен тебе в грызло, прерывать оперативное задание? В какую сторону и по чьей вражеской указке уводишь следствие по ложному следу? Будешь весь век служить вогнутым зеркалом в комнате смеха! Понял? Ты думаешь, что ты – старик Хоттабыч, а твоя фамилия – Никто, место рождения – Нигде! Понял? На колени, мразь, перед Пронькиным! На колени! Не то превращу в пайку швейцарского сыра!

Начальник ментовской моментально посерел в сортирную тряпку. Я предупредил его падение мне в ноги. Из КПЗ тут же привели Цирюльника и доктора Кошкина. Из носа у него текла кровь. Под глазом начинал зреть синяк. Я соврал, что успел позвонить Берте Яковлевне. Скоро всё будет – о кэй, док! Цирюльник же выглядел без очков и с вытянутыми, в поиске неизвестно кого и чего, руками, как совершеннейший слепой. Вид у него, конечно, был странный и комичный даже в столь мрачной ситуации... Взлохмаченная шевелюра, нос, красный от врожденного насморка, белый халат, из кармана торчит намыленная кисточка, на плече болтается ремень для правки бритв... Мое начальство выпучило глаза и вновь заорало:

– Это что за образина?.. Он – убийца?.. Он – ночной Призрак?.. Я вас всех, сволочей, уволю из органов! Вам даже дерьмо нельзя доверять перевозить в людном

месте! Вам – только чинарики сшибать под нарами! Петров, развести освобожденных по домам! Пронькин, приобщи бритву к делу!

– Если бы я не знал, что это – милиционеры, – сказал Цирюльник, – я бы подумал, что они – фашисты. – После этих слов он торжествующе вынул из кармана весьма предусмотрительно притыренные очки и начал подслеповато разглядывать всю нашу компанию.

Генерал сказал мне так, когда мы вышли из отделения:

– Я тебе всегда и во всем, Пронькин, безусловно доверяю. Без тебя я, возможно, не был бы генералом. Но этих двух людей я не освобожу, а посажу отдыхать в тихую и спокойную камеру. Освобожу я их не раньше, чем ты изловишь убийцу. Только пойманный убийца оправдает все твои и мои действия перед Берией. Не найдешь его за сутки – лубянские костоломы оформят ночными монстрами твоего парикмахера и лечащего врача. Ясно?

– Дело ясное, что дело – темное. Но они в любом случае ни при чем!

– Выполняй указание! Если бы ты сразу доложил по телефону, что оба – евреи, я пальцем не шевельнул бы! Теперь я втянут хрен знает куда. Никогда не был жидомором, но ты забыл, Пронькин, в какое время мы живем! ОНИ ТАМ только и ждут, на ком отыграться... Хочешь, чтобы и нас с тобой пустили по одному делу с врачами?..

Цирюльника увезли в МУР вместе с доктором Кошкиным. Я сказал себе: «Возьми себя, Пронькин, в руки. В руках твоих сейчас – жизнь двух невинных людей – людей, причем, добрейших и благородных. Не сходи с ума и возьми себя в руки!»... Затем я позвонил Берте Яковлевне, с которой не был знаком, и, кажется, наврал, что Федор Самойлович брошел на экстренную ликвидацию вспышки гриппа в правительственном санатории, в Ялте. Передайте ему, ответила холодно супруга

несчастливого арестованного, что я забираю вещи и уезжаю к своей сестре. Я не прощаю лжи!..

То ли к сожалению, то ли к счастью, но человек устроен так, что некая, постоянно живущая в нем, властная сила вдруг спасительно отвращает его от непереносимого ужаса и обращает, как раз с помощью нелепого вроде бы смеха, к различению в совершеннейшей беспросветности случившегося необъяснимо светлой надежды...

Я почему-то рассмеялся, когда Берта Яковлевна бросила трубку, хотя смешного, согласитесь, в той ситуации было мало.

Сонливость и унынье с меня смыло, как холодной водою. Я принялся за дело. Не буду перечислять всех своих усилий и шагов. Часть моих «гавриков» пришлось бросить на поиски следов Герстенмайера и совратившей его вокзальной дамы. «Гаврики» пытались отыскать хоть какую-либо связь между заявлением директора кладбища об уходе в кратковременный отпуск за свой счет и его же приказом вырыть свежую могилу...

Сам я поднял на ноги всю временно находившуюся на свободе привокзальную шоблу жулья, проституток, «уносильщиков» чужих чемоданов, разгонщиков, бабыг, официанток и так далее. Наконец аккордеонист вокзального ресторана сообщил, что один гуляка, которого его дама звала Изей, выкинул кучу денег за танго «Мама». Глушил, как кит, шампанское. И напевал: «Хоп-хоп, Зоя». Затем, сильно поддатые, они заторопились на какой-то поезд... У меня совсем отлегло от сердца. Пусть гуляют, подумал я, лишь бы, как говорится, были живы...

Можете поверить Пронькину: сделано тогда было всё, что можно, если не больше. И – никаких результатов. Прошло утро того дня. Прошел день, показавшийся мне бесконечным. Я не пил – не ел. Только глотал до отупения кофе. Несколько раз заглядывал в камеру, в

которой сидели Цирюльник и доктор Кошкин, с расплывшимся по всему лицу фингалом. Они вскакивали с нар в ожидании радостной вести. Сердце разрывалось от вины и ужаса, когда они в один голос спрашивали: «Ну, что слышно?.. Вам что-нибудь ясно?» – «Ясно многое, но ничего пока не слышно». – «Как это может быть, – удивлялся Цирюльник, – что ничего не слышно, если кое-что ясно?» – «В наше героическое время, – отшучивался я, – скорость звука стала выше скорости света»...

Прошел вечер. Разумеется, думал я, убийца работал под марку Цирюльника... он прекрасно его знал. Вот в чем дело! Это – несомненно... а я невольно сыграл убийце на руку. Подвел под монастырь как раз того человека, которого вскоре выдадут за пойманного ночного бандита. На фоне его «разоблачения», возможно, и начнется столь ожидаемое одичавшим обывателем выселение евреев из Москвы и прочих городов-героев. А убийца залег на дно... ему важно переждать неделю-другую... потом он будет неуловим... Но КТО еще мог точно знать, что полуслепой чудак-еврей, мечтавший стать парикмахером, бродит по ночным подъездам, выискивает алкашей, отлично их обслуживает да еще внушает завязать?.. Возможно, ОН – это один из выбритых Цирюльником пропойц, небесталанно для бандитского своего умишки доперший до такого хитрого хода?.. Неспроста же Зойка говорила о БЕЛОМ ХАЛАТЕ?.. Неспроста, конечно же, но ради, так сказать, игры в масть убийца перерезает жертвам горло. Убить, в принципе, гораздо проще ножом, «микстуркой» или удавкой, чем опасной бритвой – мало ли чем можно бесхлопотно угробить человека?.. Я перетряхнул всех соседей Цирюльника. Им и невдомёк было, что «слепой безумец шляется по ночам и выбривает вместо свиных голов мордасы пропащих ханыг»... Я успел также выйти на семерых, мрачно завязавших, как это ни странно, бывших алкашей. Все они стали местными знаменитостями, благодаря бесконечным рассказам в коммунал-

ках и очередях об исцелительном ночном приключении. Ни один из них не мог быть убийцей. Ни один...

Настала ночь. Я сидел в кабинете, глотая валидол вместо кофе, смотрел, дойдя уже до совершеннейшей ручки, в одну точку на портрете Берия, на левом его, насколько помню, стеклышке пенсне, и думал, думал, думал: кто еще, если не ханыги, мог знать о ночных похождениях Цирюльника?.. КТО?.. Я перенес отупевший свой взгляд на огромную карту Москвы. Точнее, на флажки-отметки убийств, совершенных Ночным Призраком... К сожалению, я мог только думать... думать... думать... И вдруг я подумал, что... Мысль показалась мне слишком нелепой. Но я, схватившись за нее, как за соломинку, внутренне замер... Затем позвонил дежурному по городу. Узнал фамилию и адрес участкового милиционера, «опекавшего» улицы, по которым бродил – в поисках алкашей – Цирюльник и выслеживал своих жертв неуловимый Ночной Призрак. Через пару минут я уже мчался с несколькими «гавриками» по спящей Москве...

Разбуженная нами жена участкового Фролова весьма удивилась и сказала, что ее мужа что-то уж больно часто стали дергать на ночные дежурства... денег от этого больше, но семейной жизни меньше... нет, он на эти дежурства выходит не в форме, а в штатском, потому что так надо при оперативном задании... бреется Фролов исключительно безопасной бритвой... у него руки дрожат после фронтовой контузии...

С семейных фотографий на меня смотрели несколько физиономий Фролова. Внешне он не казался одним из типов, описанных, как говорится, Ломброзо... Бывший сельский житель... бывший фронтовик... служака... безотказная часть милицейской машины... Я попросил жену участкового выдать нам одну из фотографий мужа – Фролов на фоне знамени Горотдела милиции...

Сердце у меня, однако, колотилось, как у молоденького сыщика, впервые вышедшего на след преступника. Фролов, конечно, мог ошиваться у любовницы, под маркой оперативного задания. Но регулярные ночные дежурства, насколько мне было известно, участковому в обязанности не вменялись. Это уж – точно... Пару «гавриков» я оставил, на всякий случай, в подъезде его дома. С остальными мы начали рыскать по улицам... Обшаманали бомбоубежища и чердаки... Вспугнули нескольких проституток и приезжих, жаждавших запретных удовольствий... Вышли на одного дворника, воспользовавшегося «болезнью роста» нашего гостиничного строительства и заботливо устроившего в красном уголке Ж.Э.К. небольшую ночлежку для командировочных. Дела такого рода я оставлял без последствий. Зачем убивать в нормальных, в не бесчестных людях инстинкт частного предпринимательства, и без того достаточно убитый в них уродливой нашей СИСТЕМОЙ?.. Разогнали по дороге компанию картежников... Вызвали машину из вытрезвителя – увезти алкаша, чуть не замерзшего в подворотне... В ней убийца настиг бухарца – посетителя директора кладбища Герстенмайера...

Участкового Фролова никто из опрошенных нами, бодрствующих по ночам граждан, не встречал... Он только днем тут ходит-колобродит... в пивных взятки берет... в магазинах химичит... у алкашей, сука такая, карманы выворачивает... далеко пойдет, если не остановят...

То самое бомбоубежище, где Призрак перерезал горло несчастному командировочному, было опечатано... Мы снова обошли все три вокзала. Показывали фото Фролова таксистам, буфетчицам, носильщикам и пассажирам, торчавшим в зале ожидания... Отчаяние охватывало меня всё сильнее и сильнее. Фролова – и след простыл...

Я вернулся к нему домой, приказав помощникам продолжать поиски... Не отказался от стакана крепкого

чая, предложенного мне Тоней – женой пропавшего участкового... Присмотрелся к их комнатухе, заставленной новенькими, судя по всему вещами. Телевизор «Темп» с большим экраном... Холодильник «ЗИЛ»... Хрустальная люстра... Идиотские, антикварные часы из комиссионки... Шикарный сервис...

– Такое, – говорю, – впечатление, что вы тысячу пятьдесят выиграли.

– Коля какую-то премию получил от министра, – простодушно сказала Тоня, – за то, что арестовал бандита, ограбившего банк на целый миллион... вот и вещишек накупили... боюсь я за Колю – ночная всё же работа...

Уже почти рассвело... Я продолжал ждать... ждать... ждать... Что мне еще оставалось? Я бы рад был объявить по радио и телевидению, что по улицам ходит убийца. Описать его приметы... Но – где там!.. Сердце у меня пошаливало, а валидол кончился. Я решил разбудить свою супругу. Отметиться, так сказать, чтобы не беспокоилась... ночная всё же работа... попросить привезти валидольчика – кофе, мол, перепил...

– Это – ты? Где ты пропадаешь?! – закричала моя супруга, не дав мне произнести ни слова. – Немедленно поезжай на Ярославский вокзал!

– Ты не могла бы – пообстоятельней? – сдерживая раздражение, сказал я.

– Поезжай на Ярославский, тупик номер два, поезд «Лена – Москва», вагон три, купе четыре!..

Обстоятельно сообщив всё это казенным тоном, моя супруга повесила трубку. Я перезвонил, потому что ничего не понял. Она не отвечала... И я знал, что не ответит – не простит даже сдержанного раздражения...

Забыв о сердечной боли, я бросился на улицу. Остановил фургон, развозивший свежий хлеб. Показал женщине-водителю всесильное удостоверение и приказал мчаться, плюя на красный свет, на Ярославский.

На вокзале приказал милиционеру следовать вместе со мной ко второму тупику. Мы быстро нашли третий вагон поезда «Лена – Москва». Милиционер открыл его своим ключом. В вагоне всё еще стоял запашок, что называется, дальнего следования, располагающий лично меня – несмотря на всю его коммунальную тошнотворность – к некоему безответственному покою души... И – вот вам картина: из купе, в конце вагона, выходит вдруг... Герстенмайер! Вид у него крайне недовольный и мрачный.

– Мн-да, – говорит он, – что милицию ждать, что «скорую» – один чёрт. Забирайте эту сволочь. Я его взял с поличным.

Я заглянул в купе, из которого доносилось нечто среднее между постаныванием и мычанием. На нижней полке, лицом вверх, с вафельным полотенцем во рту, лежал... участковый Фролов! Руки у него были связаны еще одним вафельным, вагонным полотенцем. Связаны они были так, что вздулись и посинели. Фролов безумно таращил глаза: явно умолял слегка развязать путы... Герстенмайер молча кивнул на откидной столик. На нем лежали закрытая опасная бритва и крепкая, обернутая в мешковину, дубинка – «микстура», которой Фролов оглушал своих жертв, перед тем, как перерезать им горло... В соседнем купе послышался шум, и вдруг из него вышла... кто бы, вы думали?... из него вышла весьма заспанная вокзальная проститутка Зойка.

– Ну, чумовая! Ну, зараза! – воскликнул милиционер, безусловно хорошо ее знавший.

– Зоя Васильевна Герстенмайер – моя жена, – с угрозой в голосе сказал бывший старый холостяк и убежденный женоненавистник....

Это уж потом он расскажет мне всё с самого начала, как что-то дрогнуло в его душе с первого взгляда на Зою Васильевну, как моментально, неведомою какой-то силой преображена была в нем упрямая обида на женщин в предчувствии чистой страсти и супружеского родства...

В женщинах, скажу я вам, с судьбой, подобной Зойкиной, всегда живет ожидание некоего чуда, которое – они в этом абсолютно уверены – непременно удержит их от дальнейшего падения и опустошающего душу унижения. Ни с того, ни с сего Зойка сказала Герстенмайеру так – сказала со всем, подмеченным мною ранее, обезоруживающим и обладающим мудрою силой внушения, простодушием:

– Тут всё ясно, как дважды два. Мы с вами, Исаак Иоганнович, непременно поженимся – я вас буду звать Изя, когда мы перейдем на «ты» – и будем жить вместе до четвертой мировой войны.

– Как так «до четвертой мировой»? – ошарашенно спросил мой старый знакомый.

– Третью мы как-нибудь переживем в каком-нибудь бомбоубежище, а там – видно будет. Но сначала нам надо изловить злодея. Вот изловим и поженимся с легкой душой. А то... у меня вина.

Герстенмайер тоже маялся из-за того, что не задержал вовремя бухарца и не предупредил его гибели. Зойка, конечно же, предположила, что убийца вновь попытается выследить, куда она поведет нового приезжего, набитого «бабками» кавалера. Простая эта и истинно сыщицкая мысль не посетила тогда мою голову. Не посетила лишь потому, как я понял позже, что я с бессознательным товарищеским тактом не желал мешать развитию чудесных и не столь уж частых в наши жестокие времена отношений одинокого мужчины с падшей женщиной...

И вот, в то время, когда мы с «гавриками» изнывали на беспутице, когда я наламыывал дров, довольно бездарно подставив под удар доктора Кошкина и Цирюльника, Герстенмайер и Зоя пошли по единственно верному пути...

Герстенмайер сорил «бабками» в вокзальном кабаке... «понтырил», как говорится, под безоглядного гуляку, заказывал без конца танго «Мама» и так далее. А про Фролова можно сказать лишь одно: жадность фрайера сгубила. Лучше не скажешь. Хотя он правильно рассчитал, что мент из МУРа не может не выйти, рано или поздно, на Призрака в белом халате и с бритвой в руках. Выследить его не представляло никакого труда самому участковому Фролову. Цирюльник действовал по ночам как раз на фроловском участке. Фролов также совершенно правильно рассудил, что чудаковатому еврею ни за что не выкрутиться в те бесноватые юдофобские времена. Что-то, а признание в ночных убийствах из него выбьют. Не из таких выбивали... Грабителя ашхабадских банков Фролов узнал случайно на вокзале, по фото всесоюзного розыска, где тот искал подружку с ночлегом. Подошел к нему и сказал, что знает, где шикарно гульнуть... На вторую жертву его вывела, сама того не подозревая, Зойка... Она уже не раз заводила клиентов в пустые купейные вагоны. Проводники носились в это время по Москве в поисках дефицитных продуктов и товаров...

Герстенмайер был в прошлом боксером-тяжеловесом. Он нокаутировал Фролова в момент, когда тот подбирался к якобы спящему, после получения удовольствия, Зойкиному клиенту. Связал его. Заткнул кляпом рот. Позвонил мне домой... Зоя была в это время в другом купе.

Вот, собственно, и вся нехитрая история тех нашумевших в Москве преступлений.

Фролова я доставил не в его родное отделение милиции, а к нам – в МУР. Он раскололся в одно мгновение.

Начальство мое сразу же доложило о поимке убийцы Бери. Берия приказал: «Повысить в звании отличившихся. Разобраться с Фроловым своими, революционными силами! Забыли, чистоплюи, как ликвидировать врага? Никакого суда! Вы что? Это – политическая ошибка! Задумали дискредитировать наши Органы? Расформируйте, к чёртовой матери, отделение милиции, где служил этот горе-участковый. Сорную траву с поля – вон, как учит нас товарищ Сталин!..»

Я ничего не знаю о подробностях того, как ликвидировали Фролова. У нас это умеют...

Скажу только, что начальство премировало меня внеочередным отпуском, но в звании не повысило. Начальство сказала, что я обязан был проявить интуицию и зашмалять Фролова при попытке к бегству, а не оставлять свою непосредственную грязную работу для тех, у кого ее и так – по горло...

Доктора Кошкина и Цирюльника сразу же освободили. Вернули ему дедушкину бритву и прочие принадлежности. Впоследствии я устроил его на работу в одну из хороших парикмахерских. До конца моих дней и даже после них, как благодарно выразился Цирюльник, я имею право на бесплатное отличное обслуживание. Я согласился на это, чтобы не обижать добряка...

Устроить примирение Берты Яковлевны с ее ни за что ни про что пострадавшим супругом не составило никакого труда. Произошло это в грустной обстановке. Все вместе мы были на похоронах несчастного восточного человека, слишком жестоко, на мой взгляд, приговоренного самой жизнью за свои преступления. Это для него распорядился Герстенмайер вырыть могилу в приличном уголке «кладбища с большим будущим», место директора которого намеревался купить погибший.

Ну уж свадьбу Герстенмайера – предчувствия, если помните, не обманули меня – мы гуляли пятого марта, прямо в день смерти Сталина. И плевать всем нам было на то, что толпы обезумевших обывателей, принимав-

ших радость освобождения от всеобщего беснования за всенародное горе, рвались, давя друг друга насмерть, взглянуть на труп чудовищного преступника всех времен и народов. Взглянуть на того, кто был причиной смертей и абсурдно искалеченных жизней миллионов их соотечественников. И, возможно, самых близких людей. Лично мне психика подошедшего преступника была понятней гипнотического, бездарного безумия толп трупопоклонников.

У нас не было никаких душевных сил ни ужасаться столь уродливой, бесконечно жестокой иронии жизни, ни помянуть всердцах парюю злых слов наконец-то сгнувшего с лица Земли злодея. Мы пили за новобрачных.

1988

«НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО»

Главный редактор Андрей С е д ы х

NOVOYE RUSSKOYE SLOVO. 519 Eight Avenue,
New York, N. Y. 10018

Старейшая русская газета за границей

Выходит ежедневно

Об условиях подписки справляться в редакции

НАРОД

неоконченная драма

ПРОЛОГ

Мыслитель: Народ есть некий интеграл
Отдельных личностей,
Которых Бог не зря собрал
В таком количестве.

К а р т и н а п е р в а я

Крестьянин: У нас в деревне всё в порядке.
Один играет на трехрядке,
Другой поет, танцует третий.
И так уж несколько столетий.
Ну, а если скажут «геть!»,
Будем снова мы сидеть,
Как сидели наши
Деды и папаши.

Начальник
пограничной
заставы: Что-то с внешней стороны
никто не торопится к нам
на отсутствующие в общепите блины.
А вот изнутри всё время
пытаются границу нарушить,
удрать к нашим классовым врагам
и там чего-нибудь покушать.

В «Континенте» № 55 под заглавием «Народ. Драма» был напечатан доставленный нам текст, который позднее стал лишь фрагментом новой, более полной редакции «неоконченной драмы» «Народ». Эту редакцию, датированную 1987 – 1988 ... гг., мы представляем теперь нашим читателям.

Научим их любить свободу,
Дадим на всю катушку и по рогам.
Повернитесь, пограничники,
лицом к народу,
спиною к врагам!

Пролетарский
интернациона-
лист: На наших солнечных просторах
Воруют все, кому наш рубль советский
дорог:

Татарин, славянин, еврей, грузин
Уж семьдесят почти что лет и зим,
Пушай нас это не волнует.
Пушай крадут, пушай воруют.
России слава не в богатстве,
А в равенстве людей и братстве.

Радиослушатель: Ночью слушал Би-би-си,
Что творится на Руси.
Утром сбегал на Лубянку,
Сам себя разоблачил.
Благодарность получил,
Дали денег на полбанку.

Швейцары: Мы советские часовые
Никогда не берем чаевые.

Конвоир: Когда влюблен в свою профессию,
Слова из сердца льются песнею.

Заявление:

Многоуважаемый высоко поставленный товарищ!
Я знаю, что Вас ни за что не обманешь,
И для Вас ничто не является секретом
В том числе и то, что я беззаветно предан,
А также, что я никогда не был маловеком,
Состоял душою в КПСС
еще до того, как стал пионером,

А до этого еще в качестве грудного карапуза
Предпочитал вместо колыбельной
 слушать Гимн Советского Союза.
Очень люблю на новые достижения нацеливать
И бороться за дальнейший подъем
 и непрерывный рост.
Поэтому прошу меня не сажать
 и не расстреливать,
А назначить на ответственный пост.

Р е ч ь по случаю выдвижения моей кандидатуры на
ответственный пост:

Весь образ жизни устарелый
Начну ломать как озверелый,
Когда я в руки власть возьму,
Устрою ради интереса
Трехлетний месячник прогресса,
Цыган с гитарами найму.
Попрогрессируем мы всласть,
Когда возьму я в руки власть.
С утра поимши и поемши,
Начну, на телефон воссемши,
Вершить великие дела.
На мне бобровая дубленка,
А рядом пышная бабенка
Сидит в чем мама родила.
А прочий голый женский пол
К обеду накрывает стол.
Руководясь моим девизом,
На кухне заняты стряптизом,
И нагоняют в бане пар,
Покуда я под звуки танцев
Веду приемы иностранцев,
Фарцуя импортный товар.
С обеда планы намечаю,
Потом указываю курс,

Гитары новые вручаю
Ведущим мастерам искусств.
И всюду: в зале, в спальне, в бане
Диктую секретарше Мане,
Что, кто свернет с дороги светлой,
Кто в жизнь мечту не претворит,
Тот за поступок этот скверный
Себя не поблагодарит.
Так постарайтесь подобрау,
Чтоб вам прогресс был по нутру.

И н т е р м е д и я

Тройной монолог Змея Горыныча

Центральная голова: Голова моя, головушка ты левая,
Ну-ка выскажи свои соображения первая.

Левая голова: Меня снабдили мать с отцом
Таким набором хромосом,
Что сколько ни сожрешь
бывало,
Мне всё мало.
А люди в качестве еды
Дешевле хлеба и воды.
При этом бабы
Вкуснее, чем икра и крабы.

Центральная голова: Голова ты, моя правая головушка,
Передаю тебе я следующее словушко.

Правая голова: Куда ни кинешь мутный взор,
Идет естественный отбор.
И выживает самый подлый и смердящий,
А прочим надо умирать,
Их надо постепенно жрать,

Не будь я гадом,
Не будь мой предок звероящер.

Левая
и правая
голова:

Голова ты, наша головушка главная,
Подведи-ка, будь добра,
итог дискуссии.

Центральная
голова:

От пуза будем жрать народ,
Оставив малость на приплод,
Пусть продолжают размножаться,
Но страшатся.
Тех, кто посмеет возражать,
Без очереди будем жрать,
Не пожалеем,
Не будь мы трехголовым змеем.

Хор
крестьянских
детей:

Гитлер, Сталин и Полпот,
Ленин, Мао и Амин
Увидали вдруг народ
Средь неведомых равнин
И к народу побежали,
Чтобы им руководить,
Нежным голосом визжали,
Чтоб народу угодить.
Но народ вдруг испугался,
Прочь пустился во всю прыть.
Ленин громко заругался,
Сталин начал матом крыть,
Мао стал ногами топать,
Гитлер вынул пистолет,
А Полпот стал их готовить
Для Амина на обед.
Гитлер не хотел вариться
С коммунистами в котле,
Но не мог не покориться,
Сон сморил его в тепле.

Так они в котле сидели,
А Амин их ел, мечтая,
Что усвоит их идеи,
Их творений не читая.
Долго-долго ел Амин,
И доев, сказал «аминь».
А народ меж тем бежал,
Тяжело народ дышал,
Начиная с ног валиться,
Но не мог остановиться.
Вдруг передние ряды,
Широко разинув рты,
Бесконечно удивились,
Радостно остановились,
Потому что им навстречу,
Своей пламенной речью
Очаровывая всех,
Шел приятнейший генсек.
Не Андропов и не Брежнев,
Не Черненко, не Хрущев,
Шел навстречу им небрежно
Сам товарищ Горбачев.
Чтоб народ не убежал,
Руку каждому пожал.
Тут же всем он дал свободу
И любезен стал народу.

К а р т и н а в т о р а я

Гость:	Налей-ка мне, Екатерина, Лосьона или биокрина. Авось от них помолодею, Тобой, хозяйка, овладею.
Гармонист:	На день взял отгул Григорий, Повез тетку в крематорий,

По дороге потерял,
С горя десять дней киял.

Пэтэушник: Пить бензин и ацетон
Это страшный моветон.
Благородней во сто крат
Обонять их аромат.

Питерский
старожил: Раздавим скорее
по стопарю
на зависть еврею
и скобарю.

Молодой солдат: Папа, мама, в нашей роте
Не привык скучать солдат.
То мечтает он в походе,
Как пропьет свой автомат,
То во сне придет бабенка
Красотой пленять своей,
То в кустах кукует звонко
Старшина как соловей.

Д и в е р т и с м е н т

Историк: Ехал Федор Достоевский
По дороге столбовой,
А потом свернул на Невский.
Вдруг навстречу Лев Толстой.

Толстой: А куда спешишь ты, Федя,
Мимо ресторан-Медведя,
Быстро едя, быстро едя,
Горяча коня кнутом?

Достоевский: Я спешу в игорный дом.

Толстой: Ну, а я конец недели
Провести хочу в борделе.

Достоевский: Нет уж, сам не согрешу,
Но и вам не разрешу.

Историк: Тут они схватили сабли,
Стали ими фехтовать,
Молодую кровь до капли
Стали быстро проливать,
Не заметив в увлеченьи,
Как ударили к вечерне.
Шел на счастье мимо старец,
С укоризной поднял палец.
Он друзей благословил
И дуэль остановил

М а л е н ь к а я м и с т е р и я

Жаркое воскресенье в лето тысячелетия.

Бог: Законно отдохнув в субботний день,
Люблю трудам предаться в воскресенье,
Повоскрешать увядшие растенья
При помощи живительных дождей...

(Задумывается.)

А нынче захотелось мне вождей.

(Набирает из бутылки в рот жидкость, брызгает на портреты вождей советского государства. Вожди сходят с портретов.)

Прошу вас, Божии создания,
Садитесь, открывайте заседание.

(Вожди рассаживаются.)

Черненко: Зачем ты воскресил меня, отец?
Ведь я при жизни был уже мертвец,
Мне в сердце вставлен был
мотор машины «Лада».

Андропов: Заткнись, Устиныч. Слово для доклада
Предоставляется родному Ильичу.

Брежнев: Мне?

Сталин: Брысь!

Брежнев: А я и не хочу.

Сталин: Пусть озарит наш путь великий Ленин,
Поскольку он из нас
всех более нетленен.

Брежнев: И всех румяней и белее.
Не то, что те,
кого не держат в мавзолее.

Ленин: Товарищи! Под вашим руководством
Социализм построен развитой.
Еще немного и животноводство
Частично обеспечит всех едой.

Сталин: Но человек не мясом жив единым,
Народ тоскует по грузинским винам.
Чей стон я слышу из очередей?
За что тиран так мучает людей?

Хрущев: Ты сам тиран!

Сталин: Пляши гопак, Никита,
За то, что грубо перебил джигита.

Хрущев (тан-
цуя гопак): Убийца ты и палача пример

Сталин: Танцуй, Никита, па де патинер!
(Хрущев пляшет па де патинер.)

Ленин: Товарищ Коба, ты опять слегка неправ.
Не для того мы брали штурмом телеграф,
Чтобы плясал глава партбюрократии,
Когда народ молчит, грустя о демократии.

Андропов: И я за то, чтоб провести реформы.
Пусть торжествуют ленинские нормы.

Брежнев: А то предшественник
развел волонтаризм,
А сам танцует, да еще вприсядку.

Хрущев: Не дали мне построить коммунизм.
Хоть водки дал бы Бог.

Бог: Гони десятку.

Сталин Ты был двурушник в высшей мере.
(Хрущеву): Я предлагаю к высшей мере
Приговорить товарища Хрущева,
А заодно товарища Ульянова,
Чтоб не просил за отщепенца пьяного.

(Хрущев и Ленин обнимаются, прощаясь друг с другом.)

Сталин Эй, ты, религиозный изувер,
(Богу): Доставь нам из СССР
Того, кто хочет отменить в Кремле
Порядки, заведенные при мне.
Поддай сюда нам меченого Мишку,
Ему мы тоже припаеваем вышку.
(Андропову): Проверишь, Юрий, его
вплоть до хромосом.
Есть подозрение, что он жидомасон
И нам израильской разведкою подставлен.

Андропов: Так это ж чистый шпионаж!

Брежнев: Ура тебе, учитель наш!

Черненко: Да здравствует товарищ Сталин!

Бог: Вас не исправили ни пекло, ни могила.
За что вас родина советская любила?

(Нажимает кнопку, вожди проваливаются под пол.
Поднимает телефонную трубку, набирает номер.)

Бог: Алё! Кто это? А! Здорово, Рая!
А где там твой? Отлеживает бок?
Как доложить? Скажи: звонят из рая.
Кто просит? Кто же, ежели не бог.
Ну что, что атеист. Зови супруга.
Авось и мы уверуем друг в друга.
Здорово, Миша! Как оно? Да что ты!
И у меня. Так кони дохнут от работы.
Ох не люблю мероприятия эти я:
Партконференции, тысячелетия...
Что ты сказал? Не слышу! В трубке треск,
Должно быть, Чебриков там
слушает да ест.
Постой, вернутся ангелы с гулянки,
Пошлю здоровья я тебе
в аптечной склянке.
Так и пишу: для Михаил Сергеича,
По десять капель на стопешник Ерофеича.
Три раза в день, запомни.
На здоровьице.
Желаю поскорее перестроиться.
И если ты не расшибешь свою кость лобную,
И я в раю устрою что-нибудь подобное.
Сперва организую партию,
Чтобы публично выражала мне симпатию,
И ликвидирую имущество,
Чтобы в раю вкусили праведники
Социализма преимущества.
А то всё жалуются, ябедники,
Что я, когда случается поддать,
Неравномерно разливаю благодать.
Да впрочем на народ чего пенять?
Умом его нам не понять.
Уже семь с половиной тысяч лет
Порядка не было и нет.
Всё беспокоят занятых людей:
Приди и нами володей.

Однажды клюнул я на просьбы эти,
С тех пор как идиот за всё в ответе.
Чтоб облегчить частично бремя,
Пришлось избрать евреев племя.
Пускай народ, в очередях зверея,
Во всем винит не Бога, а еврея.
Ой, что-то я политикой увлѣкши,
С утра вставать, а я еще не лёгши
И не допивши даже полчекушки.
Скажи Раисе: грех роптать на Бога.
Уже разделась? Подождет немного.
Ну всё, пока. Звони мне по вертушке.
Поговорим о том, что нас печалит.
Глядишь, авось и полегчает.

Кладет трубку, допивает чекушку, гасит лучину, забирается на печь и засыпает.

К а р т и н а т р е т ья

- Космонавт: Однажды говорил я с Богом,
И Он сказал с печальным вздохом:
Я рад, что человек над миром
Поставлен Мною бригадиром.
- Дзенбуддист: Вчера на Эвересте
Сидел я с Буддой вместе.
И час ночной настал.
И глядя в темноту,
Мне Будда вдруг сказал:
Иди ты в Катманду!
- Комсомолец: Отдай любовь свою мне, Лиза.
Цветной мы купим телевизор
И заведем с тобой сынишку,
Чтобы читал нам вслух сберкнижку.
- Поэт: Люблю тебя, мой современник,
Когда, подзаработав денег,

Сидишь ты мирно в санузле
И размышляешь о добре и зле.

Читатель: Есть русских множество поэтов,
Живут на Западе они
И пишут там венки сонетов,
Уныло коротая дни.
Других же множество поэтов,
Таких же русских, как они,
Живут себе в стране советов
И весело проводят дни.

Эмигрант: Когда, когда же я воочию
Увижу снова землю отчую?
Верни, судьба, меня, верни
На улицы родной Перми.

Заседание Политбюро ЦК КПСС

Громыко: Я не могу от вас таить,
Что мне Вышинский запрещал народ
любить,
Потом Хрущев, Андропов, Брежнев
и Черненко.
Зато теперь люблю народ я крепко
И очень скоро подпишу указ,
Что нет прекраснее народных глаз,
Особенно когда народ
вперед шагает с песнею.

Горбачев: Спасибо, дорогой, иди на пенсию.

Шеварнадзе: Люблю народ я больше, чем коньяк.
Он мне милей барашков и коней.
Народ родней мне, чем родной свояк.
Но партия мне все-таки родней

- Рыжков:** Я тоже не могу скрывать от вас,
Что я народ люблю сильнее, чем квас.
- Зайков:** А мне мешал народ любить Романов.
И в тайне я держал свою любовь,
Хотя народ мне был приятней тараканов,
Не говоря уже про блох или клопов.
- Яковлев:** К народу страстною любовью влеком,
Давно не вижу в нем врага я.
И в партию сегодня целиком
Принять его я предлагаю.
- Чебриков:** Зачем спешить?
Еще не весь народ проверен
На то, как светлым идеалам верен.
Но как проверим, я надеюсь, разрешат
Народ любимый весь зачислить в штат.
Не будь мы Карабахом так задержаны,
Народ давно бы целиком
я принял в органы,
Чтоб сам себя брал на заметку он.
- Язов:** А кто же будет охранять наш
мирный сон?
Сильней борща люблю я наш народ
За то, что он советский патриот,
Люблю за то, что страстно он, браток,
Исполнить жаждет свой священный долг.
Пускай народ за все свои страдания
Получит с детства воинские звания,
А то, боюсь, что на гражданке
Утрачивает он отвагу,
И скоро не с кем будет съездить
в танке
С приветом братским в Будапешт
и Прагу.

Лигачев: Тройной одеколон и самогон
С народом я почти не пил;
Но в основном мне был приятен он
Тем, что правительство и партию любил.
Но больше все-таки любил он мясо,
А с мясом до сих пор у нас не ясно.

Ельцын: Не только с мясом,
 но вообще с закуской.
Товарищи! Народ страдает русской.
Люблю его я и готов с народом
Последним поделиться бутербродом.

Чебриков: Товарищ твой тамбовский серый волк.

Воротников, Медведев, Никонов, Слюньков, Щербицкий, Разумовский, Бирюкова и другие (хором):

Ты, Ельцын, просто демагог!

Ельцын: Нет, пусть в любом отделе гастронома
Народ себя почувствует как дома.

Лигачев: У нас и так народа лучшим
представителям
Широкий доступ
к спецраспределителям.

Горбачев: Так что иди, Борис,
есть сам свой бутерброд.
И не мешай нам здесь любить народ.

(Ельцына выводят.)

Горбачев: Мы любим все народ любить.
Попросим же его, чтоб бросил пить,
Но чтоб крепить социализм не бросил,
Его мы убедительно попросим.

А если всё ж он дунет в винный магазин,
Ему отечески мы пальцем погрозим.
Должны сказать мы людям правду горькую,
Что оттого народ пил раньше горькую,
Что Сталин не любил, как мы, народ,
И к этому добавим прямо,
Что партия совсем наоборот,
Воспитанная с детства Ильичём,
Поступки Сталина не одобряла.

Чебриков: А КГБ и вовсе не при чем.

Горбачев: Давайте же народ во всю любилку
Любить, как я, к примеру, свою милку.
И покорен такою страстью неизбежно
Народ к нам тоже станет относиться
со временем даже, быть может, нежно.

Бурные, долго не смолкающие аплодисменты. Все
встают и с любовью глядят на народ.

Рабочий: Придут иные времена
И будет издали видна
Россия в своей новой славе
Мне, возлежащему в канаве.

Конец первого действия

1987 – 1988 – гг.

ПУТЕШЕСТВИЕ РЯДОМ С БАТЮШКОВЫМ

Есть несколько (так мало!) поэтов, чьи имена звучат, как названия стихотворений. Птичья притягательная сила заключена в этих именах.

Батюшков! – произношу я, еще не имея в виду имени поэта, меня останавливает одно сочетание звуков, блаженное бессмысленное слово – «б-а-т-ю-ш-к-о-в». Так звучит воспоминание о небесной отчизне, но какой-то иронический, мягко-издевательский смысл скрыт за отеческим звучанием. «Батюшков сын... куда, чей-де еще сын? – разумеется, батюшков».

Библиотека грузинского курорта. Я снимаю с полки томик Батюшкова. Все читано было, и от этой книжки не жду ничего нового, но снимаю ее с полки, стою и держу – зачем? Бесполезное, бесцельное и неземное притяжение знакомой книги. Посреди мертвого моего слуха стоит, как пятачок неба в сердцевине облака, – стоит ничтожное живое пятно звучащей Италии – Батюшков.

Стоит лицом ко мне.

Здесь завершение мучительного припоминания.

Так давно я хотел вспомнить это имя – и вот само оно оборотилось ко мне. Не нужно даже книги раскрывать, чтобы вспомнить начало стихотворения, посвященного Творцу Истории Государства Российского:

Когда на играх Олимпийских...

Спустя 22 года, в 1840, Евгений Баратынский начнет свою «Рифму»:

Когда на Играх олимпийских... –

начнет великолепной *смысловой рифмой* к Батюшкову одно из лучших своих стихотворений, начнет с того

места, где Батюшков остановил «Опыты в стихах и прозе». Но и батюшково стихотворение – тоже рифма... к Карамзину; задолго до Баратынского восклицает с удивительным для русской поэзии смирением наш молодой Батюшков:

Пускай талант – не мой удел!
Но я для муз дышал недаром,
Любил прекрасное и с жаром
Твой гений чувствовать умел.

«Ты» – здесь Карамзин. Батюшково благоговение перед ним – предшественником – соотносимо разве что со смирением Евгения Баратынского перед потомком:

Мой дар убог и голос мой негромок,
но я живу, и на земле мое
кому-нибудь любезно бытие...

Но ведь «ты» для Баратынского лицо без лица, «какой-нибудь», «кто-нибудь» и т. д. Лицо будущего, какой бы «далекий потомок» ни заполнял его, остается пустым овалом старинной рамы – портрет вынесли, а новый не вставлен. Вставлять некого, да и закомпоновать, как прежде, никто уже не умеет. На овальном портрете изображен был Батюшков, допустим – карандашный рисунок самого поэта. Даже не овал, а почти правильный круг, овал – у более известного и вымученного Батюшкова на портрете Кипренского.

Итак, из круга, репродуцированный в новейшем издании, смотрит Батюшков. Не на меня – в будущее – смотрит он, но в сторону – в прошлое, почему-то влево на всех известных портретах.

Оно старчески и тривиально звучит: *взгляд-в-прош-
лое!* Но несимметричное лицо смиренного Батюшкова обращено на Клию, и в этом взгляде не находишь сото-
го повторения, и ты уже не потомок Батюшкова и не счаст-
ливый современник его, ты выше, ты – идущий во вре-
мени перед ним.

Как он умел не допускать будущего! Вот его Клио, Клия. Это муза, а не человекообразная пыточная камера, она еще сестра Эвтерпе, подруга Мнемозине. Дальше начнется история беспамятная. Уши тупеют. Ни вздоха, ни шороха не услышит уже ближайший Пушкин, до ушей его дойдет лишь «Клии страшный глас», но и от этого голоса не повредится он в уме: «О, морально-литературный пафос ужасов истории».

Прогрессирующая глухота русской поэзии.

И скоро, совсем скоро абсолютно оглохший Блок, как некий новый Бетховен, снова и снова будет повторять: слушайте музыку истории. Что-с? Кого? Не спрашиваю уже – где?

Но вот *история*: Батюшков взял да сжег свою библиотеку; нет, не так; замедлим темп происходящего: Батюшков сжигает свою библиотеку, несколько сотен французских книг, ни одна из которых даже в наше, последнее для библиофила время не представляет собой ценности, так что можно сказать с полным правом: Батюшков до сих пор сжигает и сжигает свою библиотеку – до сих пор. Да отчего же библиотеку-то? – не спрашивайте. Кого люблю, того наказую. Наказую огнем и дымом. Дымом, дымом, главное! Перед этим лицом мне становится страшно – страшно не сладчайшим литературным ужасом – страшно по-настоящему, страшно двадцать, тридцать и Бог знает еще сколько лет.

Я выхожу на улицу и вижу перед собой покойное белое лицо безумного Батюшкова.

Сострадание издали как наблюдение нравов.

Боже! – тень человека, везде иностранец неслышный.

О, страна, где никто не рожден,
где все умирали.

Редко из дому выйду – и улица всюду вплотную
к моему (или оно не мое?)
к телу печали.

Я закрываю глаза и вижу перед собой Баратынского.

В глазах Баратынского стоит безумие Батюшкова.

Это лицо не выражает ничего человеческого, хотя выражение его предельно сосредоточено:

Все Аристотель врал! табак есть божество.

Повсюду смертные ему готовят торжество.

И я своими глазами наблюдал торжество табака, когда возвращался с грузинского курорта: гигантский щит, из тех, что начальство называет «художественными», по дороге в Аэропорт Адлер, на развилке шоссе:

Город Сочи приветствует некурящих!

Вот оно, время для табачной антитезы, и новый батюшков обращается к римскому: «Х приветствует Игрэка», «Луций приветствует Луцилия» и т. д. И в печальном рассудке памяти моей воскресает желанный и неосудимый образ: антично-правильное чистое множество некурящих, идеальное гармоническое «МЫ», которое есть еще и «НЕ-ОНИ» со знаком отрицания впереди. –НЕ-ОНИ лечат безумие, боясь заразиться, и страх перед умственной инфекцией безумен вдвойне.

Еще не совсем сумасшедший Батюшков восклицает блаженно и сладостно:

О память сердца, ты верней

Рассудка памяти печальной...

Вслушиваюсь и спрашиваю себя: о чем же память сердца? Что вспоминать мне и на что опереться, вспоминая?

Я путешествовал. Я листал томик Батюшкова и пил восточное кофе в заведении на самом берегу моря, под навесом. Здесь было последнее место в России, где еще продавали кофе. Мне казалось, что я пишу о Батюшкове стихи, я что-то записывал в свою тетрадку, мешали разговоры на соседних столиках: там разглагольствовали старообразные писатели из ближайшего дома твор-

чества. Один из них крикнул мне, не стихи ли я пишу? Мешал ветер, хлопая солнцезащитной парусиной. Я писал какую-то чушь, лишь бы писать, лишь бы не смотреть по сторонам и писать – о Батюшкове. Вот что писал я тогда:

«В глазах баратынского стоит безумие батюшкова. Перед глазами пушкина – вологодский гельдерлин

Меж нас не ведает поэт,
Высок его полет иль нет,
Велика ли творческая душа...
Сам судия и подсудимый,
скажи, твой бесполезный жар –
смешной недуг иль высший дар?
Реши вопрос неразрешимый!..

Бывают такие времена: никаких критериев, буквально не на что опереться, туман, дым, батюшков, сжигающий библиотеку, общая палата в кашенке или скворешнике – но кого винить? Да и не то страшно, что «посадят на цепь» дурака или что «твой недуг смешон»... Страшно покойное белое лицо, которое я вижу каждый раз, когда выхожу на улицу, лицо без выражения, лицо объективного человека, человека за стеклом...»

Солнцё. Слишком много солнца для северянина. Десять дней спустя я буду в Москве и там все-таки запишу стихи с батюшковым – без последних трех (священное число!) строк. Запишу, хотя это будет уже совершенно излишним: все закончилось сейчас, здесь, в кафе на берегу моря. Отсюда и начинается собственно то, что можно назвать путешествием рядом с Батюшковым.

Я иду к остановке автобуса, пересекаю шоссе. Остановка «Павильон». Бутылочное лицо за стеклом автобуса. Господи, куда деться!

Есть на что опереться. Прочти:
«бедный Батюшков, жест шаловливый
оперенной рукою, рукою почти

запечатанной...» Письма пришли с новостями.
Ты читаешь письмо, и конверт (состоянье
разрыва) –
этот свернутый набок суставов
между фосфорными костями.

Два античных сюжета. Один переход
через римскую речку. Но сложены вместе,
вы – рука, подперев подбородок!
Рука превращается в рот.
К воровскому жаргону последних известий
прилепляются уши. И слышу: у входа
белый батышков крыльями бьет!

можно и так закончить:

. У входа
Младая будет жизнь играть.

Итак, младая жизнь играет, о ней можно было вовсе не упоминать – она все равно играла бы, как сейчас играет, и ее веселье не стало более веселым от того, если кто-то когда-то сказал, что так оно и будет.

Два ряда кипарисов в устье высохшей речки, которая, по замыслу природы, должна была мутно и бурно впадать в море. А теперь лежат одни камни, белые камни дна. Остановка называется «Школа». В каждом городе есть такая остановка. «Школа чего?» – спросите вы, и я затрудняюсь ответить. Я выстрою ряд кипарисов и внутри каждого из них посею живой черный ветер, живой черный огонь застывшего порыва. Но внешне все мертво и сухо. Школы: Злословия, Мужества, Жен и Мужей, новейшая – Для дураков. И действительно, чему учили меня дурака?

Обнаруживаю, что вся литература – и устная и письменная – вся школьная литература отложилась во мне как один сплошной урок по Чернышевскому. Этого не может быть, это ошибка, но сколько ни стараюсь, не могу вспомнить другого урока литературы, кроме чернышевского... Ах да, забыл, простите, – и окна. Окна в сквер, где все время, пока меня учили литературе, сооружался памятник Добролюбову.

И вот стоит он стоймя, в опущенной руке – раскрытая книга, раздвоенная бронзовая книжка без единой буквы.

Господи, какая тоска, даже книжки человеческой почитать не дадут!

Остановка Школа. Следующая – санаторий семнадцатого партсъезда. Богатый санаторий. Там тоже играет молодая жизнь, играет с тридцать шестого года не переставая. Играет и поет, как сказал поэт. И я тоже стал говорить в рифму, как говорят поэты, – с каких пор? Впрочем, как-то ведь должна южная природа влиять на человека?

Здесь все местные русские говорят с грузинским акцентом. Во втором поколении им ничего не останется, кроме писания стихов: молодая будет жизнь играть. Почему я не пишу стихов? Почему я не пою во весь голос «Из-за острова на стрежень?» Наконец, почему я еду дальше, мимо семнадцатого партсъезда? Не спрашиваю уже – куда я еду. Попробуй спроси все равно что в темноте ступить в пустое место, что-то похожее на вопрос о смысле жизни. В конце концов я вам не Лев Толстой, как говаривал тезка мой Виктор Борисович Шкловский. Пожалуй, я лучше буду писать стихами о том, что вижу... хотя нет... лучше писать о стихах, как лучше смотреть из окна автобуса в раскрытое окно

первого этажа, где женщина вываливает на кухонный стол из продуктовой сумки груды красного перца и пурпурных баклажан – лучше смотреть туда, проезжая, лучше смотреть туда незаинтересованным глазом художника-колориста, чем находиться там, в этой комнате, рядом с женщиной и овощами и вечносаднящим радио в углу.

Я буду писать о стихах прозой, благо все жалуются, что прозы нынче нет, вот она и появится – красочная поэтичная и т. д. дорогая южная овощ с усами, нарисованными углем, и приклеенным картонным носом.

Остановка санаторий «Грузия». Высоко в горах виден корпус санатория «Армения». Дружба народов. Армяне – народ горный, привычный, своего моря у них нет; чтобы спуститься к морю, нужно преодолеть длинный извилистый путь, пересечь полотно железной дороги, автостраду «Сочи – Сухуми» – и упереться в санаторий «Грузия», закрытый для посторонних. Поэтому армяне предпочитают селиться прямо в санатории «Грузия», а в «Армении» живут одни шахтеры.

Остановка Колоннада. Я здесь не выйду, я поеду дальше, до конца поеду. Мимо проплывает самая настоящая колоннада, сквозь которую сквозит самое настоящее море. Колоннада, единственное утилитарное назначение которой – утверждать каждого проходящего и проезжающего мимо в мысли, что он находится где-то там, где человеку всегда и непременно должно быть очень хорошо и красиво. Колоннада сквозь море, море сквозь колоннаду, а в просветах ее – две громадных пальмы, симметричные и такие толстые, будто росли они здесь всегда. И закат, чуть заслоненный спинами и волосами толстых, любующихся закатом женщин. Почему все они такие большие даже рядом с толстыми пальмами? Особенности питания, много хлеба... я не успеваю закончить – все исчезает.

Остановка «Гагриппш». Что это означает, я не знаю. Интуристовские автобусы у кромки шоссе. Проезжаем мимо теннисных кортов. Губерт Губерт в партии со своей приемной дочкой, ее оранжевые шорты, павлин и пеликан друг против друга на бетонном берегу искусственного озера. Смотрят друг на друга и друг друга не замечают. Видно, что павлин кричит, стекло не пропускает звука... Множество разноцветных уток и несколько лебедей в пруду. Кучки созерцающих. Писающий цинковый мальчик посреди пруда (он – фонтан), тяжелое материнство-и-младенчество посреди другого.

Старые каменные строения, много людей между циклопическими домами, поворот, бетонная новая площадь имени гагарина, кольцо.

Вот куда я приехал. На площади ни единого дерева, ни кустика. Я один, автобус ушел. Барьер, за барьером – пустое русло, без реки, одни белые камни, постоянный слабый шум среди них, ровное шуршание. Крик павлина издалека.

Двусмысленная форма площади – спроси меня: она круглая? – я отвечу: да. Или прямоугольная? – Да. Кругло-прямоугольная площадь гагарина, еще более унылая и неочеловеченная, чем лабазная улица терешковой – внешняя часть городского грязного рынка, – та самая улица, по которой два южных мужика неторопливо несут визжащую свинью, несут книзу рылом, держа за задние (не знаю, как их назвать: лапы? ноги? мослы? копыта?). Свинья раскачивается, как мешок, задевая лицом асфальт, заходится – голос ее уже не визг, а вопль, безнадежный голос жизни, цепляющейся соскальзывающими копытами за мокрый выступ.

Но рынок в центре, а я на окраине, путешествие мое должно закончиться, но я не знаю, как и где. Здесь так

пусто и странно, что любой конец представляется отсюда предпочтительней любого продолжения.

И все же:

...память сердца! ты верней
рассудка памяти печальной...,

и бедный батюшков, непутевый сын, «которому» «отец истории читал» – Батюшков сжигает свою библиотеку – единственный русский поэт, чьим мифологическим познаниям я завидую, и эта первая его предромантическая – любовь к истории, тогда как все тянулись к политике (карамзин) или сексу (пушкин), эта чистая любовь, когда даже эротика исторична, эта любовь, которая ничем никогда не кончается, ничем, даже стихотворения ни одного не вспомнить целиком, чтобы в нем не было провалов вкуса. Но когда язык проваливается в бездну – слаще этого нет ничего, почти правильная, почти современная речь, во все времена – только почти. И слава Богу.

* *
 *

Петр Первый
рубил рубил
щепки летели
прорубил в Европу окно
а дверь – не успел

* *
 *

К.

коллекционирую запахи
полынь душица чабрец
тамариск
чайная роза

задыхаюсь
без запаха твоего тела

У МОРЯ

клочья ветра висят
на бельевой веревке
штиль –
время заняться арбузом
или следить за полетом чаек

* *

 *

Е. Пашанову

в больнице лица
вытянуты
как на портретах Модильяни

не в пропорциях дело
говорят мне
а в предвкушении воскрешения

* *

 *

Однажды ночью
я вышел
на большую дорогу

и столкнулся
с самим собой

С тех пор
по ночам
я дома сижу

* *

 *

К.

жизнь длится в течение поцелуя
все прочее –
мемуары

КРЫЛО

истрепалось полиняло
уже не мешает
летать же
по-прежнему не умею

МЕРА ДЛИНЫ

от моря до неба —
всего 1 горизонт

* *
 *

К.

в сумерках
твои узкие плечи
на фоне моих ладоней
слушаем дыхание вечности
чайник кипит за стеной

* *
 *

К.

после встречи с тобой
ищу себя

тщетно



ломаю ребра
какой треск стоит во вселенной
сотворяю Еву

ломаю ребра
сотворяю Еву
получаются другие

обезребренный
под хохот звезд и бродячих собак
вижу
как ее сотворил
один старый пьяница

и довольно похоже

УТРО:

после дождя
после тоски
после женских слез
после всего что было
то ли еще будет
только бы было

МАКАРОВ-КРОТКОВ Александр – родился в 1959 году, живет в Москве. Закончил Московский государственный институт культуры им. Крупской. Пишет поэзию и прозу. Его стихи публиковались в газетах «Комсомольская правда» (Литва), «Московский комсомолец» и в журнале «Сельская молодежь» (Москва). В феврале и в мае прошлого года принимал участие в 6-м Московском совещании молодых писателей и в фестивале свободного стиха им. Хлебникова. Член «Поэтического клуба на Таганке».

СТИХИ

НАТЮРМОРТ

О, рыбные прилавки давних лет!
Нежнейшей семги декадентский цвет,
копченой осетрины дух, и спины
лоснящейся, атласной лососины...

Что говорить о поколение новом
с его тоскою о филе тресковом?
Пенсионеров детская игра:
какая сколько стоила икра?

А запахи в селедочном отделе!
Залом, дебелий, словно баба в теле,
аристократка – керченская сельдь:
разок отведать – а потом на смерть!

О крабах в банках говорить не стану.
Но повторять до смерти не устану
слова, что в ранней юности постиг:
форель, стерлядка, нельма, омуль, сиг!

Те рыбы, как и раки-раскоряки,
остались лишь, как знаки в Зодиаке.

Я вспоминаю, а не протестую.
Селедочницу, уж давно пустую,
своей рукой убрал я со стола...
Всё миновалось. Молодость прошла.

* *
*

Я всю жизнь как будто на отшибе,
будто сносит ветром парашют.
И не то, чтобы меня отшили –
к делу все никак не подошьют.

Кажется: вот-вот, почти что рядом
что-то проявляется, сквозит...
Не скольжу по жизни верхоглядом –
это жизнь мимо меня скользит.

Невесомость это или вескость?
Это пустота иль полнота?
Видно, с самого начала резкость
у фотографа была не та.

Видел ты меня или не видел?
Может быть, и видел, да забыл...
Слишком мало доказательств выдал
я того, что между вами был.

* *
*

Увы, не блещет мысль, но заблистала
холодной сединою голова...
Слагать стихи как будто стыдно стало,
неловко как-то рифмовать слова.

Копье сравнения пролетает мимо,
а прежде был удар неотразим...
Ничто ни с чем на свете несравнимо.
И полная безобразность за сим.

Бушует в юных пламя, не стихая,
а я давно горюю – не горю...
Ты думаешь, что говоришь стихами?
Мне кажется: я прозой говорю.

* *
 *

Свернул я, перепутав города,
однажды на Сенатскую с Арбата.
Я твердо помню, что спешил куда-то.
Но вот вопрос: откуда и куда?

Я смутно помню замыслы поэм,
про доблести, про славу, про победу.
Хотелось мне, как землю Архимеду,
перевернуть. Но вот вопрос: зачем?

К жене спешил я или от жены –
к возлюбленной, как в зале по паркету,
но все равно я упирался в Лету,
и понимал: мосты разведены...

* *
 *

Я жил в Ленинграде, на Малой Морской,
в подвале, на уровне ног.
Галоши и клеши я видел с тоской,
а выше я видеть не мог.

Потом там пивную открыли. В подвал
спустившись, я с кружкой сидел
на том самом месте, где прежде лежал,
и в то же окошко глядел.

Сенатская площадь, Собор, Фальконет,
Дворец, Александровский столп –
все будто бы рядом, и будто бы нет –
лишь топот мятущихся толп...

* *
*

...Стоять с утра в хвосте за «Огоньком»,
потом стоять в хвосте за коньяком,
перекрывая стойкости рекорды,
а выстояв, отгадывать кроссворды:
по вертикали – Чехова рассказ,
река в Европе – по горизонтали...
Едва ль годится «Человек в футляре».
Но Стикс подземный подойдет как раз.

Ты, летописец временных годов,
послушный с детства кличу «Будь готов!» –
всегда готов стоять в строю по росту.
Но вот вопрос: готов ли ты к сиротству?
Готов ли ты к утратам, как Иов?

* *
*

И прошлый век – еще не из седых,
и нынешнее время – не для нервных.
Два года роковых – тридцать седьмых,
два года смертоносных – сорок первых!

А между ними – больше, чем века,
спрессовано историей в брикеты:
Толстой, и Достоевский, и ЧеКа –
дистанция от тройки до ракеты.

Оттуда нити тянутся сюда,
от их реформ – до нашей перестройки.
От тройки – до ракеты. От суда
присяжных заседателей – до тройки.

УРАГАН В МИХАЙЛОВСКОМ

Был вихрь свирепости великой,
он в Чудь из Таврии летел.
В аллее Керн сломало липы,
лишь дуб в Тригорском уцелел.

Как пеший полк, на поле павший –
стволы, стоявшие века...
Здесь в первый год женитьбы нашей
мы жили в доме лесника.

Что устояло? Очень мало.
Как будто понапрасну жил.
Любовь и слезы – всё пропало,
всё вихрь проклятый сокрушил!

От Лукоморья отлученный,
живу без смысла, без красоты...
Но днем и ночью кот ученый
по кругу ходит, как часы.

Янв. – май 88

СОНЕТ

Б. Слуцкому

Когда русская муза ушла в перевод
(кто – на Запад, а кто – на Восток),
не заметил утраты российский народ,
но заметил всевидящий Бог.

Да и то: на колхозных полях недород –
это отнятый хлеба кусок.
А на ниве поэзии – наоборот:
Данте, он и по-русски высок.

Ну и что, коль чужбина иссушит мозги?
Ведь и дома не видно ни зги
(между нами, бродягами, говоря)!

А вообще-то, как ни крути,
под тосканское вечное небо уйти
предпочтительней, чем в лагерь.



E. Sztein's Antiquary

PUBLISHING AND INTERNATIONAL DISTRIBUTION
594 CHESTNUT RIDGE RD. ORANGE, CT 06477 - U. S. A.
Phone (203) 387-0597

Издательство «Антиквариат»

ВАДИМ КРЕЙД

«ПРАПАМЯТЬ»

– антология русской поэзии о реинкарнации.

КАК СЕЙЧАС ПОМНЮ...

Повесть в рассказах

С о д е р ж а н и е :

Стена
Портрет
Мое кино
Перепляс и большая цитата
Лучше нашего колхоза
Праздничный пирог
Рассказ с примечанием
На той войне незначительной
Ряд персонажей с эпиграфом из Плутарха
Сравнительная биография
Как сейчас помню
Екатерининская верста
Десять коротких глав

СТЕНА

Вдоль этого бесконечного забора плелся когда-то наш допотопный трамвай.

И кондукторша объявляла в прицепке:

– Мебельная фабрика! Следующая – тюрьма! – И дергала за веревку.

Ехали гладкие деревянные скамейки, составленные из планочек, как тетради в линейку. Качались на ремешке черные хваталки. Солнце перемещалось, стреляя из каждого окна.

Тень тюремного забора накрывала трамвай, но мальчик смеялся, а девушка читала толстую книжку.

– О, забор уже! – вскакивала старушка. – Сейчас сходите? В тюрьме сходите?

– Да пропущу тебя, бабка! – отвечал высокий мужчина. – Отсидеть, что ли, торопишься?

И весь вагон с благодушием грохотал.

– Тюрьма! – кричала кондукторша. – Кто тюрьму спрашивал?.. Остановка – тюрьма!

ПОРТРЕТ

В завкоме знали, что мой друг неплохо рисует, и часто поручали ему оформить плакаты и лозунги – подновить к празднику. Он, конечно, не возражал. Это было вроде отдыха для него: сидишь в тихой комнате, букву за буквой выводишь, а зарплата идет. И все мысли веселые, о празднике.

Сталину исполнилось семьдесят лет. Он родился, если помните, 21 декабря – день особенный, самый короткий в году.

Мой друг перерисовывал портрет товарища Сталина. Однако от избытка чувств и сильного волнения рука слушалась его плохо. И он прибег к старому способу всех самоучек – расчертил лист на квадраты, бережно переносил дорогие черты из одной клетки в другую. То был известный портрет Сталина в форме генералиссимуса.

Прогудел гудок. Неслышно ушла первая смена. Друг включил электричество и посмотрел на свою работу.

Лампочка была сильная, пятьсот свечей, без абажура. И больно била по глазам. А он всё стоял и смотрел в противоположный угол. Там, сквозь карандашную сетку, улыбался товарищ Сталин.

В дверь постучали. Друг не открыл. Завклубом позвал его – не ответил. Стоял у стены, наискосок от портрета, и боялся пошевелиться.

– Уходя, гасите свет! – проворчал завклубом. – Все неграмотные стали! – И тяжело затопал по коридору.

Друг работал всю ночь. Спешил. Рука отвердела. Что если кто-нибудь застанет меня здесь и увидит то, что я вижу, – лицо товарища Сталина в решетчатом окошке?

Т о в а р и щ а С т а л и н а з а р е ш е т к у
у п р я т а л !

Никогда в жизни не было ему так страшно.

ЛУЧШЕ НАШЕГО КОЛХОЗА

Козлов рассказывал – не мне, и оттого передаю несобственной прямой речью, – что взяли его утром.

Накануне вечером, после работы, беседовали во дворе. И что-то у кого-то выпало. Да вот хоть насчет их города. Почему раньше назывался Владикавказ, после Орджоникидзе, а теперь вовсе Дзауджикау. Чем Орджоникидзе не угодил?

Да он застрелился.

Ну да?

Вот тебе и да ну!

– Открытый был человек, – сказал дядя Вася. – На шахту к нам приезжал. Как раз с продовольствием нелады шли...

– Тридцать второй год, что ли?

– Ага. Вот приходим к нему в вагон, а там стол стоит накрыт.

– А я в тридцать втором в Одессе был. Там прямо на улице...

– Вот я и говорю, – дядя Вася рассказывает, – как же, мол, так? Нам жевать нечего, а у тебя, товарищ нарком...

– А нам в Одессе кашу давали – ячневую. Две ложки съешь, остальное – в бумажку, и домой. Санька только родился, а ни ему, ни Нюрке...

– А товарищ Орджоникидзе нам отвечает: «Неужели, товарищи, вы думаете, что Россия – такая бедная страна, что не в силах прокормить одного наркома?»

И утром, утром уже, в шесть часов с минутами, за Козловым пришли.

А он не ждал. Спал Козлов, разметавшись по-молодому. В белье выскочил дверь отпирать, глаза протирая.

И увели. А он всё глаза протереть не может.

Город Орджоникидзе маленький. Не больше Владикавказа. Но и не меньше Дзауджикау. И с вечера, стало быть, побег кто-то дежурному докладывать. Тот в книжечку записал...

Нет, в две книжечки. В первую – кто. В параллельную – что.

И обе пошли они для отчета. Одна – в финансовое управление, на оплату. Другая – в Управление внутренней службы. Как, мол, тут внутренняя служба идет. Нет ли, мол, волокиты-бюрократизма. И с какой скоростью продвигаются дела.

Один отставной рассказывал. Мы, говорит, обязательства на себя брали. Я, значит, в наступающем месяце шесть врагов разоблачу... А я – восемь... А я – двенадцать...

Ну и разоблачали.

А месяц-то был сентябрь. Тепло. Солнышко светит. Еще листья не облетели. В одном пиджачке и брючках идет Козлов в книжечках отмечаться...

В камеру запихнули. Прямо как негры в Америке в «часы пик» пассажиров заталкивают.

Там на перроне в метро (*непроверено*) негры стоят трехметровые, будто колонны эбенового дерева. И как поезд подъехал, двери раззявились, негры в огромных перчатках, такие мотоциклетные кожаные раструбы

размером с наши охотничьи сапоги, – негры, говорю, в спину вам упрутся, вагон вами же набивая.

И пошел поезд – поплылабочечка...

А уж с селедкой мы американцев сравним. Дело ведь в Нью-Йорке происходит. У них там в метро. За океаном. Сельдь, значит, атлантическая.

Семьдесят человек было в той камере.

Козлов помнит военного с четырьмя шпалами (переведу вам – полковника), которого вызвали на допрос. Его вызвали на допрос, а он одеться не может. В рукава не может попасть.

Шинель на нем длинная, в талию. Полами-крыльями бьет. А ноги топчутся, приплясывают... Никогда, говорит Козлов, не забуду, как он за шинелью гонялся.

Там были дети. Много. Взятые неизвестно за что. Но не покинутые своим учителем – немцем по национальности. И одноногим. Немец сидел на столе, поджавши под себя ногу. А дети – кругом. Как в гнедышке. Целым классом.

Козлов пробыл в камере день. Точнее – полдня. Засветло погрузили их в эшелон.

Не в арестантский вагон, что прицепляется к пассажирскому поезду и наполняется в пути следования. И стоит где-нибудь в Александрове, приткнувшись к локомотиву. И пока машинист с помощником желтят снег, ведут нас (*их, их ведут!*), бритоголовых и в ватниках. И охрана такая ж бритоголовая. И только собаки обросли шерстью.

И пошел поезд – тяжеловесный, формируясь-расформируясь... За Воркутой уже по однопутке-узкоколеечке скачет. Дёрнулся и затих – кончилась линия.

Пры-гай!

Снегу по пояс. А по нашему росту – под горлышко. НЕГРАМ БЫ ТЕМ ИЗ МЕТРО ЗДЕСЬ БЫ ДОРОЖКУ ТОПТАТЬ! А еще лучше зимостойких слонов выве-

сти. Чтобы ногами-трамбовками снег уминали. Или танки пустить на железном ходу...

Перед войной, когда с англичанами да французами против немцев сговаривались, напрямую выкладываем: десять тысяч танков в запасе... Ну и дали б сюда хоть один.

В пиджачке и рубашечке сигает Козлов с высокой платформы. А кругом собаки лают. Охрана – наизготовку... Если б он хоть парашютным спортом увлекался. Или в городе Орджоникидзе, вместо чего другого, река Волга бы протекала. И с вышки ныряли бы...

Сложил руки лодочкой. Ласточкой выгнулся. И – бух-бултых! – север осваивать.

Сейчас, по официальным данным (*непроверено*), в Воркуте – девятнадцать миллионеров. Которые по безналичному счету функционируют. Из чековой книжки талоны рвут. Не дадут же тебе миллион на руки!

Газета местная объявление напечатала: дачу под Ленинградом продают, 200 тысяч.

Драка была. Ему ведь только за шесть часов под земель (*непроверено*)... А если еще уголь идет?

Их привели в лес. Велели яму копать.

Здоровую вырыли. Прямо-таки котлован под фундамент. И лапнику набросали.

Самое первое дело было, с того и начали – дырку в земле пробуравили.

И на другой день там уже четверо сидели...

Вот и просыпается Козлов раненько утром. А елки кругом, как в Новый год, наряженные. На всех как подарки висят. Качаются. Под прожекторным лучом переливаются.

Кто – на ремешке. Кто – на веревочке. Кто – на штанине. Кто – рубашку надвое порвал, жгутом скрученную.

Да я вам скажу: на шнурках удавиться можно.

Глянул Козлов да и запел хриплым голосом:

За родимое правленье
Буйну голову сложу,
Лучше нашего колхоза
Я нигде не нахожу!

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПИРОГ

Дорогу из Рыбинска в Ярославль знаете?

«Зыковка» называется.

Вон академик Шухов со мной по соседству, на Шаболовке, башню возвел. Так она так и идет: башня Шухова.

Или в Париже – Эйфелева...

А Хрущев Никита Сергеевич, помните?

Четыреста верст бетона уложил. От Орла до Чернигова. Чтоб родное село Калиновка к цивилизации подключить...

Х р у щ ё в к а !

Эх, разве дожدهшься! Хоть себя лично на бифштексы изрежь... И кому скажешь, куда пойдешь, где голову приклонишь?

В 1937 году, – всё тогда же, – назначили Васю Зыкова в Ярославский обком комсомола. Секретарем. Может, и первым.

Вот он быстренько снарядился да по области укатил. На эмочке или на форде. Уж что у них там в городе имелось.

А только что бы за ним ни прислали – лежит между Рыбинском и Ярославлем деревня Брюхово.

Не Брёхово – обратите внимание.

И не лежит, – а как бы это образно сформулировать? – *располагается*.

Здесь татарское нашествие увязло. Деревня наша Брюхово собой Европу заслонила. А когда норманны пошли Китай завоевывать – тут и споткнулись. А тем более эмочка. Или форд. Наша деревня Брюхово.

По нам ни пройти – ни проехать. Только на пузе проползти.

И возмутилась быстрокрылая Васина душа. **НАМ НЕТ ПРЕГРАД НИ В МОРЕ, НИ НА СУШЕ. НЕТ ТАКИХ КРЕПОСТЕЙ... МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ!**

Но с песнями и с танцами не пойдешь в инстанции. Там обязательно про оркестр спросят – кто то есть музыку исполнять будет?

Развернул Вася форда и прямым ходом наверх. Мимо милиционера. По широкой лестнице. По ковровой дорожке... Ах, как эмочка на ступеньках скачет!

Господи, какая машина была! Их немцы в войну позахватывали – с места двинуть не могут. А Вася бы на Памир взлетел. Не то что в кабинет товарища Парамонова...

Он после в Рязанском обкоме работал – товарищ наш Парамонов. По мясу и молоку Америку догонял.

И перегнал.

Колхозы, видишь, план выполняли за счет магазинов: мясо и молоко покупали да государству-то и сдают... А товарищ Парамонов концы с концами увязывает.

Вот голая наша спина и открылась.

И как увидел ее Хрущев Никита Сергеевич – совсем духом пал.

– А ну вас! – сказал. – Здесь тысячу лет ничего не будет! – Махнул рукой и взялся собственную семью обеспечивать.

А Парамонов, – не знаю отчества, – лысую голову под пулю подставил. Сам там нажал, чего следует, и готово дело. **ДОБЬЕМСЯ МЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ СВОЕЮ СОБСТВЕННОЙ РУКОЙ!** – как Вася Зыков ему в кабинете пропел.

– Брюхово, говоришь? – сказал Парамонов-Ярославский и потрянул чубатую еще головой. – Используя внутренние резервы...

– Брюхово! – прошептал Вася, и от переполняющих чувств даванул на клаксон. – С опорой на собственные силы...

Эмочка взвыла.

– Давай! – сказал Парамонов-Ярославский и рубанул воздух с твердостью Парамонова-Рязанского. – Нам бы только начать... развернуться... А там в правительство с просьбой войдем: помогите, мол, не бросать же на полдороге.

– Да я в жизни дороги не строил! – говорил Василий Васильевич Зыков, самолетный полковник, распространяющий спортлото. – Я думал – как? Соберем народ – комсомолию. Кирки-лопаты добудем. Поскребем малость земельку, уроняем... Асфальтом залили, и пошел!... А там – гатить. Трамбовать. Камни укладывать. Да еще во сколько рядов!.. А камень где взять? А возить на чем?.. Сто тысяч народу эти пятьдесят верст мотыжили... Да если б я знал!

А вы думаете, Петр Великий знал, что шведов побьет...

В 1940 ГОДУ, рассказывает министр, МЫ В ТЕЧЕНИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА ПОСТРОИЛИ 90-КИЛОМЕТРОВУЮ ШОССЕЙНУЮ ДОРОГУ. ТРАССА БЫЛА ПОДЕЛЕНА МЕЖДУ ГОРОДАМИ И РАЙОНАМИ, А ВНУТРИ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ – МЕЖДУ РАЗЛИЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. ПОСЛЕ БОЛЬШОЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПОЛОТНО БЫЛО НАСЫПАНО В ОДИН ДЕНЬ. ВСПОМИНАЕТСЯ, С КАКИМ ОГРОМНЫМ ЭНТУЗИАЗМОМ СОТНИ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ РАНО УТРОМ ВЫШЛИ НА ТРАССУ. БОЛЕЕ СТА ТЫСЯЧ ЯРОСЛАВЦЕВ С ОДНОГО КОНЦА И ШЕСТИДЕСЯТИ ТЫСЯЧ РЫБИНЦЕВ С ДРУГОГО ДВИНУЛИСЬ НАВСТРЕЧУ

ДРУГ ДРУГУ. А ПОСЕРЕДИНЕ РАБОТАЛИ ЖИТЕЛИ ПРИЛЕГАЮЩИХ ДЕРЕВЕНЬ. НА ПОМОЩЬ ПРИБЫЛИ НА ПАРОХОДЕ ТРУДЯЩИЕСЯ КОСТРОМЫ. КАРТИНА НЕЗАБЫВАЕМАЯ! ЛЮДЕЙ ПРИШЛО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ. И КОГДА УЖЕ ЗАКОНЧИЛСЯ ЭТОТ ПАМЯТНЫЙ ТРУДОВОЙ ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ, МЫ ПРОЛЕТЕЛИ НАД МЕСТОМ РАБОТ НА САМОЛЕТЕ. ПОД НАМИ ЛЕЖАЛА ХОРОШО ПРОФИЛИРОВАННАЯ, ЖЕЛТОГО ЦВЕТА ТРАССА, КАК ПРАЗДНИЧНЫЙ ПИРОГ ДЛИНОЙ В 90 КИЛОМЕТРОВ. НЕЗАБЫВАЕМО! И ПОСЛЕ ТОГО КАК ПОЛОТНО ХОРОШО УЛЕЖАЛОСЬ, К РАБОТЕ ПРИСТУПИЛИ СОТНИ КАМЕНЩИКОВ... К СЕДЬМОМУ НОЯБРЯ ДОРОГА БЫЛА ГОТОВА.

РАССКАЗ С ПРИМЕЧАНИЯМИ

Режиссер Цагарели фильм сделал. Про Сталина. Тот посмотрел. Понравилось. Пригласил к себе.

Хочу, говорит, способствовать вашему творческому росту. Творчество, говорит, не сапоги тачать. Может, какие-нибудь претензии относительно сослуживцев? Или в смысле заграничной аппаратуры?.. Накажем-закажем, говорит:

– Дорогой Иосиф Виссарионович! – Цагарели с достоинством отвечает. – Мы, деятели кино, каждый день ощущаем на себе Вашу заботу и внимание. Позвольте заверить Вас, что работники искусства оправдают высокое доверие. – И руку к самому сердцу прижал.

Тот посмотрел внимательно, чуть поморщился, – не любил, когда по имени-отчеству кличут, – только близ-

ким друзьям разрешалось... А для прочих – Сталин, товарищ Сталин.

Ну что ж, говорит. Пожелаю вам высоко нести знамя советского искусства – национального по форме, социалистического по содержанию. Так, что ли, Васо, – запнулся, – Караманович?

– Товарищ Сталин! – задохнулся аж Цагарели, и руки от сердца не отпускает... И уж ни разу впредь в обращении не ошибся.

И Сталин к нему подобрел. Про себя улыбнулся. Большой художник, думает. С полуслова усёк, догадался...

А вы сами сообразите: легко ли где-нибудь на Потылихе как Васо Караманович существовать?.. Лежишь, что кирпич на дороге. Ловкий перескочит. Умный обойдет. А дурак вон, уже растянулся.

А с ним-то как раз и дело имеешь. Ловкого боишься. Умного опасешься. А этот – от всей души – Васо (*шлёп*), Васо (*шмяк*), Васо (*плюх*) Прикарманович!

– Товарищ Сталин, – от дверей Васо Караманович говорит, – позвольте обратиться к Вам с просьбой.

– Слушаю вас, товарищ Цагарели.

Разве их папы-мамы гадали когда-нибудь, куда деточек занесет! Да если бы кто подсказал, они бы (родители, говорю) с дорогой душой каждому по Ивану Вановичу приляпали. Чтоб сыночек не мучился. И не сидел в Кремле, как в чужом доме.

– Очень прошу Вас, товарищ Сталин, – с достоинством сказал Цагарели, – подарите мне Вашу книгу.

И товарищ Сталин просьбу уважил.

И расписался.

И на другой день ту надпись в Моссовете читали.

МОЕМУ ДРУГУ ВАСО ЦАГАРЕЛИ, – это в отделе, где жилищные условия улучшают.

А где дачами ведают – там по-другому запомнили: **ВАСО ОТ СОСО**.

А где машины в личное пользование выделяют – в той комнате народ тертый, – им и двух слов довольно: ИОСИФ СТАЛИН.

И – дата.

Раньше по полю ходили
И у Бога дождь просили.
А теперь науку знаем –

Землю сами орошаем:
Из своей кривой кишки
Поливаем камешки.

Цагарели В а с о (В а с и л и й) К а р а м а н о в и ч – грузинский режиссер и драматург. Народный артист республики. Лауреат Государственной премии. Депутат Верховного Совета. Окончил школу живописи и ваяния. Тяготел к мелодраме. В годы «культы личности» поставил несколько фильмов о Сталине. В этот же период потерял отца, двух братьев, племянника, многих родственников жены...

НА ТОЙ ВОЙНЕ НЕЗНАМЕНИТОЙ

БЫЛА КОГДА-ТО советско-финская война. Твардовский назвал ее «незнаменитой». Будем и мы держаться этого термина, а как толковать его – толкуйте сами.

Я уж не помню, как всё в точности было (моя задача – побудить вас углубиться в проблему), но вроде бы мы обратились к соседям: мол, отодвиньте границу от Ленинграда.

А те, похоже, не разобрались – – –

О г о н ь !

И война начинается.

Незнаменитая.

ОДНА ДАМОЧКА попросила одного капитана про войну рассказать. Можно, он говорит. Отчего ж? Я вам боевые действия в натуре изображу. Вот, стало быть, мы наступаем. Раз!.. А теперь отступаем... А теперь наступаем...

Очень энергичный был капитан – – –

Знаете, как рыбаки на рыбалке пошучивают: удовольствие с продовольствием...

А ТУТ – война.

Соседи – в укрытии. Мы – по открытой местности.

Или, к примеру, на дерево заберется. На сосну. А ты внизу топаешь. По просеке... А у него – винтовка снайперская – – –

Была там «линия Маннергейма» – по финскому маршалу.

Он еще в царской армии до генерал-лейтенанта дошел. И русский солдат был ему отчасти известен. Ну и соорудил. Двенадцать рядов – каменные надолбы. Проволочные заграждения. Противотанковые рвы. Минные поля...

А мы – на лыжах. И врукопашную.

А те – шпок, и ваших нет.

В ТРОЛЛЕЙБУСЕ было. Ветеран вспоминает. Я, говорит, нипочем не забуду, как Финская война началась. 30-го, говорит, ноября 1939 года!

Ну и решили народ побережь. На каком-то вроде заводе щиток выдумали. Для лыжников... Как да что – это вы после узнаете, а куда привозят они свою продукцию в министерство – наркомат по-тогдашнему – – –

Ведь что интересно? Как одинаковые слова по-разному действуют. *Министр, генерал, погоны* – в восемнадцатом году, положим, в сорок восьмом. Не понимаете? Ну, родителей поспрошайте. Бабушку с дедушкой, если живые... В книжечки загляните...

– Хорошая конструкция, – нарком говорит. – Одобряю. Только свяжитесь с военными. С Куликом. Он начальник Управления, пусть и решает. А я поддерживаю.

Созвонились. Идут. Едут на «эмочке» со своими приспособлениями.

В ИВАНТЕЕВКЕ НА РЫНКЕ «эмочка» стояла. Обшивка-обивка ободрана. Сиденьев нет. А шоферу

стул обыкновенный поставили. И всякие овощные ошметки валяются. Загрузят по крышу, и пошла, старушка!

Танк, а не машина. Подножка чуть не в полметра. Хоть автоматчиков укладывай. А на крышу – пулемет – – –

Кулик был маршал – вроде Маннергейма. Но, думаю, помоложе. И в старой армии дослужился до унтера. Была такая должность в артиллерии – фейерверкер. Вот он и был фейерверкер... Говорят, Сталин встретил его в Царицыне, в процессе известной обороны.

Или вам она неизвестная?

Ну да, вы ведь не учились в мужской школе и вас не водили в кино на коллективный просмотр...

ТАМ ЖАРОВ Михаил Иванович казака играл. У него белые хату спалили, – так он шашкою машет, да покрикивает, да поплеывает... А артист Геловани стоит у окна в штабном вагоне. Ночью. Трубку сосет. Песню слушает.

Поют где-то. На путях, что ли? Или в степи... Народ поет. Хором. Эх, дескать, ухнём!

А Сталин у окна стоит. И брови его черные от мыслей сдвигаются. Было, значит, о чем подумать.

По нашей истории, что мы в мужской школе проходили, Колчак с Деникиным решили соединиться в Царицыне. А артист Геловани не дал – полгорода перестрелял спекулянтов всяких.

Они в ресторане пировали, и тетенька перед ними дрыгалась: и я, говорит, люблю военных, военных, военных... И года, наверное, три вся наша мужская школа тетенькину песенку напевала.

ВОТ КАКАЯ БЫЛА оборона Царицына. А фейерверкер Кулик положение освещал. Когда начальство меняли – – –

Ну и прибился. И в маршалы вышел. И хвалит свое болото.

А инженеры ему изобретения несут. Ага, он говорит, ого! То – палки, а то – колеса. Смекаем, хохочет, куда что совать... А ваше, хлопцы, какое мнение?

Кругом военные стоят. Помощники. Эксперты. И у всех мнение положительное. Потому что про Кулика я наврал. Не начальник он Управления, а прямо-таки – заместитель наркома.

Ну что ж, говорит, доложу Клименту Ефремовичу. Глядишь, сразу и примет. Чего вам еще приезжать?.. Погодите, говорит, товарищи.

ЖДУТ. Появляется Ворошилов.

К каждому подошел, руку подал, представился... Ну и те, конечно, изобретатели: Иванов, Петров, Сидоров, Рабинович.

Опять раскидали имущество. Ходят, оценивают. Так-так, языком цокают, да-да-да. Это вы, извините, такой заслон выдумали?.. Крепится – толкаем – и пуля отскакивает...

– Серьезное дело, – Ворошилов говорит. – Надо с Вячеславом Михайловичем посоветоваться.

С Председателем Совета Народных Комиссаров! Предсовмина, по-нынешнему. Да он еще по совместительству наркоминдел был – министр, то есть, иностранных дел.

А ведь поди ж ты – едут! На пять часов назначено.

Тут уж эмкой не обойдешься – зис вызывают.

Мама рассказывала, что такси до войны было двух типов – зисы и эмочки. И вот я всегда норовил показаться на зисе. Как всё равно чувствовал, что поездить на нем мне не удастся.

Для большого начальства машина – – –

Сейчас на Воздвиженке стоят. Против метро. От угла недалёко... И шоферы в костюмах. Непьющие. Газету читают...

На сто первом зисе работал когда-то мой инструктор Худяков. И по великой любви навесил на заднее стекло розовенькую тряпочку. А хозяин как рывкнет:

что я, девок, что ли, вожу? – сыми!.. И Худяков еще больше залюбил начальство.

МОЛОТОВ – человек невоенный. Ему, значит, Ворошилов информацию дает. Тому, если что, Кулик подсказывает. Кулику – нарком броневой. Наркому – начальник главка. И директор завода тут. При нем – само уж собой – конструкторы.

Весом щитка интересуются, стойкостью брони, результатами испытаний. Как быстро будут их выпускать. Скоро ли на поток? И в каком количестве...

– Вот что, – Молотов говорит, – товарищи! Задержитесь-ка вы в Москве. Думаю, Иосиф Виссарионович захочет посмотреть эту конструкцию. А я вам сегодня вечером позвоню.

Недавно я узнал, сколько стоила, по официальному курсу, индустриализация. Подсчитали, оказывается, в Таком-то году. Не в деньгах, а на золото.

Астрономы определяют расстояния между планетами световыми годами. А то чересчур огромные секстильоны получаются. По той же причине, наверное, финансисты-статистики оперируют золотым рублем. И вот вышло у них три миллиарда этих самых световых лет чистого золота. А по весу – 142 тысячи пудов. Хороший такой тяжеловесный состав в 142 вагона.

А до революции весь золотой запас умещался в двадцать теплушек.

Откуда же взяли этого лишку?

Говорят, лес рубили. Построили на берегу Двины бараки, привезли из других областей рабсилу и заставили добывать пиломатериалы круглый год – – –

Самая золотая жила – человек. Вы да я. А есть еще некоторые – двужилые...

Вот и не спят. Обедают в очередь. На телефон смотрят.

Слушаем, товарищ нарком!

Завтра поедете в Кремль, – нарком говорит. – Вас пропустят в кабинет товарища Сталина на пол-

часа раньше. Там никого не будет. Так что всё заранее подготовьте.

Ясно, – они говорят.

Желаю успеха, – нарком говорит.

Спасибо, – они говорят.

Не волнуйтесь, – нарком говорит.

А руки дрожат. А ноги не держат. К самому Сталину, шутка ли! Рабинович, небось, глаз не сомкнул. Иванов храпел сильнее обычного. Петров порезался, когда брился. А про Сидорова придумайте сами.

МОЙ ШУРИН спрашивает меня: зять, для чего вы пишете? Получаете свои двести рублей, – вам что, мало? И главное – никакого смысла, говорит мой шурин. Ведь это про вас, зять, сказано у знаменитого Винера. То самое, что цитируют на любом перекрестке. Есть, пишет Винер, кудесники сообщений, которым, в сущности, нечего сообщить.

Представьте себе, зять, – говорит мой шурин, чокаюсь со мной за субботним столом, – лет через много на кой чёрт нужны будут ваши сведения, которые в целом-то и не ваши. А сегодня – кто узнает, что вы тут сочиняете, кроме меня?.. Выпьем, зять! У вас нет никакой перспективы!

А ТЕХ-ТО к Сталину провели. Не куда-нибудь – в кабинет! Не думали, не гадали, а как подхватило-то!

Лыжи опять-таки на пол. Щиток приладили...

На краешке стула пристроились... И говорить боятся. То есть не в смысле страха, а в смысле высокой торжественности.

Сами раскиньте: о чем в таком кабинете?.. О заводских делах? Байки травить?

В 1939 ГОДУ Сталину было 60 лет. Вошел четким военным шагом. Не торопился. Но был деловит. Поздоровался – и сразу к щитку. Встал перед ним на колени, повертел туда и обратно, осматривает.

– Дайте автомат, – говорит.

Кулик подал.

Вернее, не так. Как раз там нарком вооружений случился. С автоматом. Принес, что ли, образец показать. Вот и подал. А Кулик рядом стоял.

Но чтоб нового человека не впутывать – пусть уж Кулик подает.

А на самом деле, конечно, нарком, автомат никому не доверит. Из рук не выпустит...

Да уж нету давно того наркома – спит у Кремлевской стены.

А где Кулик успокоился – смотри Военную энциклопедию, том IV, страница 517... Герой... Участник Испанских событий... Лишен звания... Восстановлен в звании...

СТАЛИН ВЗЯЛ у Кулика автомат и лег на ковер. Лежал, как на огневой позиции, вытянувши себя на лыжах и пригибая голову.

Потом просунул автомат в щель и стал целиться. Глаза сузились. Несколько раз менял положение, пристраиваясь, как стрелок. Двигал броневую заслонку, будто наседали с разных сторон... Вынимал ствол и снова запихивал.

Было тихо. Только лязгал металл по металлу.

И коротенький человек ворочался с боку на бок, как зеленый бочоночек.

СТАЛИН ПОДНЯЛСЯ, отдал автомат Кулику и сказал:

– Щель для стрельбы нужно сместить на 20 миллиметров. Вот здесь, – показал, – укрепить полочку для обоймы с патронами. А то стрелок протянет руку за боеприпасом, и плечо выйдет из-за броневой защиты. Снайпер сможет его прострелить.

Иванов, Петров, Сидоров, Рабинович быстро писали в блокнотах.

– В последнее время, – сказал Сталин, – много ранений в пах. Часто атрофируются нижние конечности. Чтобы избежать таких поражений, надо удлинить открылки... защитить эту часть тела.

К Сталину подошел Кулик и сказал:

– Надо обязать промышленность поставить для армии... – И назвал несуразное количество щитков.

Сталин взглянул на него с каким-то пренебрежением.

– На заводах тоже большевики есть, товарищ Кулик. Они сделают столько, сколько сделать можно... И не думайте, что вы один отвечаете за вооружение армии.

НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО УПРАВЛЕНИЯ Кулик, – ц и т и р у ю, – предложил накануне войны снять с производства 76-миллиметровую танковую пушку.

К о н ч а ю ц и т и р о в а т ь.

И тот нарком с автоматом, которого мы не хотели впутывать, – он сам впутался. На заседании специальной комиссии объявил:

– Вы, – кричит, – перед войной допускаете разоружение армии!

Ну и удалили его. Изолировали.

А Кулик еще с минометом тянул. Автоматы те самые задерживал. Пулеметы сократил. Противотанковые ружья похерил... Это, выходит, он виноват, что Гитлер под Москвой очутился, – Кулик виноват. Вот, понимаешь, козел!

И ПОЖАВ ВСЕМ РУКИ, Сталин вышел из кабинета.

Кулик подошел к директору завода и спросил:

– Ну, сколько вы нам таких щитков сделаете?

– Такие делать нельзя, – директор говорит. – Слышали, товарищ маршал, сколько замечаний у товарища Сталина?.. Надо разрабатывать новую модель.

На том и порешили. Так и записали.

А тут и война Финская кончилась.

– Подсудимый Крестинский, вы действительно приезжали в Киссинген в 1933 году в августе или сентябре?

– В начале сентября.

– С Бессоновым виделись?

– Да.

– Разговаривали?

– Да.

– О чем? О погоде?

– Он был советником посольства в Берлине и информировал меня о политическом положении в Германии.

– А о троцкистских делах?

– Мы с ним не говорили. Я троцкистом не был.

– Никогда не говорили?

– Никогда.

– Следовательно, Бессонов говорит неправду?

– Да.

– Но вы сами тоже не всегда говорите правду. Верно?

– Не всегда говорил правду во время следствия.

– А в другое время всегда говорите правду?

– Правду.

– Почему же такое неуважение к следствию? Когда ведут следствие, вы говорите неправду. Объясните.

Крестинский молчит.

– Ответов не слышу, – говорит Вышинский, – вопросов не имею. Разрешите me просить Вас, товарищ Председатель, пересадить Крестинского поближе к Бессонову, чтобы он хорошо слышал. А то я опасюсь, что в наиболее острые моменты Крестинскому будет изменять слух.

Крестинский пересаживается ближе к Бессонову.

– Вы слышали, что Бессонов достаточно подробно говорил о ваших разговорах, которые носят далеко не такой характер, какой вы хотите им придать. Как же быть?

– Таких разговоров не было. Хотя на очной ставке я часть разговора признал.

– Значит был такой разговор?

– Нет.

– Значит то, что говорил Бессонов, надо понимать наоборот?

– Не всегда.

– Вы говорили, что «в состав троцкистского центра я формально не входил». Это правда или неправда?

– Я вообще не входил.

– Вы говорите, что формально не входили. Что здесь правда, что здесь неправда? Может быть, всё правда. Или всё неправда. Или наполовину правда. На сколько процентов, на сколько граммов здесь правды?

– Я не входил в состав троцкистского центра, потому что я не был троцкистом.

– Когда вас допрашивали на предварительном следствии, вы говорили правду?

– Нет.

– Просил я вас говорить правду?

– Просили.

– Можно спросить обвиняемого Розенгольца?.. Как вы считаете, Крестинский – троцкист?

– Да.

– Обвиняемый Гринько, что вам известно о Крестинском как о троцкисте?

– Он помог мне установить связь с одной из иностранных разведок...

– Вы слышите, обвиняемый Крестинский? Это правда?

– Нет.

– А вы дали показания, что правда.
– О том, что я помог Гринько установить связь?
– Больше того, что вы сами были иностранным разведчиком... Перейдем теперь к Бессонову. Обвиняемый Бессонов, почему вы говорите о фактах, которые отрицает и оспаривает Крестинский? Может быть, вы что-нибудь путаете? Скажите, у вас отношения с Крестинским хорошие?

– Хорошие.
– Обвиняемый Крестинский, какие у вас отношения с Бессоновым? Плохие или хорошие?
– Хорошие.

Далее тов. Вышинский опрашивает подсудимых Розенгольца и Гринько, которые подтверждают, что отношения у них с Крестинским – хорошие.

– И вот три человека с хорошим отношением к вам, подсудимый Крестинский, говорят то, чего не было?
– Да.

Прошла ночь.
Набираю еще раз крупными буквами:
ПРОШЛА НОЧЬ

– Позвольте задать несколько вопросов подсудимому Раковскому... Подсудимый Раковский, как вы расцениваете сделанное здесь вчера заявление подсудимого Крестинского, что он не был троцкистом?

– Как не соответствующее действительности.
– Вы можете привести какие-нибудь факты?
– Могу. Я обращаюсь, если позволите, к самому Крестинскому... Николай Николаевич, когда я был в ссылке в Саратове, ты мне писал?

– Да. Через дочь, которая туда ехала.
– Крестинский в этом письме писал мне, чтобы я вернулся в партию в целях продолжения троцкистской деятельности.

– Подсудимый Крестинский, правильно ли понял содержание вашего письма подсудимый Раковский?

– Правильно.

– Но если правильно – будете ли вы продолжать обманывать суд и отрицать данные вами на предварительном следствии показания?

– Свои показания на предварительном следствии я полностью подтверждаю.

– Что означает в таком случае ваше вчерашнее заявление, которое нельзя рассматривать иначе, как троцкистскую провокацию на процессе?

– Вчера, под влиянием минутного, острого чувства ложного стыда, вызванного обстановкой скамьи подсудимых и тяжелым впечатлением от оглашения обвинительного акта, я не в силах был сказать правду... не в состоянии был сказать, что виновен... и вместо того, чтобы сказать: да, виновен, – я почти машинально ответил: нет, не виновен.

– Машинально?

– Я не в силах был... Прошу суд зафиксировать мое заявление, что я целиком и полностью признаю себя виновным... и признаю себя полностью ответственным за совершенную мною измену и предательство.

– У меня вопросов к подсудимому Крестинскому пока нет.

К р е с т и н с к и й Н. Н. – советский государственный и партийный деятель. Дипломат. Родился в семье учителя в Могилеве. Член Коммунистической партии с 1903 года. В 1907 окончил юридический факультет Петербургского университета. Вел партийную работу. Сотрудничал в большевистской печати. Неоднократно подвергался репрессиям. На VI съезде РСДРП заочно избран в члены ЦК. Активный участник борьбы за установление советской власти на Урале. С конца 1917 – в Петрограде. В период заключения Брестского мира примыкал к левым коммунистам. В 1918-22 – нарком финансов РСФСР и одновременно, с марта 1919 по март 1921, член Политбюро. Во время дискуссии о профсоюзах – сто-

ронник Троцкого. В 1921-30 – посол СССР в Германии. В 1927 году присоединился к «новой оппозиции», с которой порвал в 1928. В 1930-37 – заместитель наркома иностранных дел СССР. Делегат 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 съездов партии. На 7, 8, 9 избирался членом ЦК ВКП(б).

В ы ш и н с к и й А. Я. – советский государственный деятель. Юрист и дипломат. Академик. С 1903 года – в меньшевистской партии. С 1920 – член ВКП(б). После окончания юридического факультета Киевского университета занимался литературной и педагогической деятельностью. В 1925-28 – ректор Московского университета. С 1931 – в органах. В 1935-39 – прокурор СССР. В 1940-49 – заместитель министра иностранных дел. С 1949 по март 1953 – министр тех же дел. С марта 1953 – заместитель министра. В 1953-54 – постоянный представитель в Организации Объединенных Наций. На 18 и 19 съездах ВКП(б) избирался членом ЦК. Депутат Верховного Совета. Награжден орденом и медалями.

В теоретических работах Вышинского содержатся серьезные ошибки, которые заключаются в неправильной характеристике советского государства и права (выпячивание роли принуждения, переоценка доказательственного значения признания обвиняемых по делам о контрреволюционных заговорах и т. д.). Эти ошибки приводили на практике к серьезным нарушениям социалистической законности.

ИМЕНЕМ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК КОЛЛЕГИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА... В СОСТАВЕ: ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО... ЧЛЕНОВ... ПРИ СЕКРЕТАРЕ... С УЧАСТИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ – ПРОКУРОРА СОЮЗА ССР А. Я. ВЫШИНСКОГО... В ОТКРЫТОМ СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ, В ГОРОДЕ МОСКВЕ, 8-13 МАРТА 1938 ГОДА... РАССМОТРЕЛА ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ... И ПРИГОВОРИЛА:

1. Бухарина Николая Николаевича, 1888 года рождения
2. Рыкова Алексея Ивановича, 1881 года рождения
3. Ягоду Генриха Григорьевича, 1891 года рождения

4. Крестинского Николая Николаевича, 1883 года рождения
5. Розенгольца Аркадия Павловича, 1889 года рождения
6. Гринько Григория Федоровича, 1890 года рождения
а также Седьмого, Восьмого, Девятого, Десятого,
Одиннадцатого, Двенадцатого, Тринадцатого,
Четырнадцатого, Пятнадцатого, Шестнадцатого,
Семнадцатого, Восемнадцатого

**К ВЫСШЕЙ МЕРЕ УГОЛОВНОГО НАКАЗА-
НИЯ – РАССТРЕЛУ, С КОНФИСКАЦИЕЙ
ВСЕГО ЛИЧНО ИМ ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО
ИМУЩЕСТВА.**

19. Раковского Христиана Георгиевича, 1873 года рождения
20. Бессонова Сергея Алексеевича, 1892 года рождения

**КАК НЕ ПРИНИМАВШИХ ПРЯМОГО УЧА-
СТИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРОРИСТИЧЕС-
КИХ И ДИВЕРСИОННО-ВРЕДИТЕЛЬСКИХ
ДЕЙСТВИЙ – К ТЮРЕМНОМУ ЗАКЛЮЧЕ-
НИЮ НА 20 И 15 ЛЕТ СООТВЕТСТВЕННО.**

Их расстреливали партиями.

Я вывожу это из БСЭ – красных томов последнего издания. Там указан день смерти Акмаля Икрамова, бывшего первого секретаря компартии Узбекистана, сына бедного декханина – т о в а р и щ а А к м а л я, как пишут о нем сейчас в популярных книжках.

Его, наверное, предупреждал отец, – как сказано, бедный крестьянин, – хватал его за руку, не пускал... А он вырвался. И ушел. Отец, может быть, верил в Бога и тайком молился за сына. Хотя скорее – все-таки про-клял. И молился.

А сын позакрывал мечети, и которая не годилась под склад или клуб – приказал разрушить. И приехал в родную деревню (кишлак? аул?), в родное селение, и сел на трактор, и двинул на ту мечеть...

Кто им напророчил,
Кто им накудахтал?

Отчего-то очень
Стал им нужен трактор.

Как трахнет ее по скуле! Как тряхнет ее за грудки!
А поперек пути отец бежит. В кабину карабкается.
На руках виснет...

Да таких историй по всей России – знаете сколько!..

Как у того тракториста глаза повылазили (на Украине), лихоманка трясла (в Белоруссии), параличом расквасило (ереванское радио)...

А Икрамова Акмалю к стенке поставили. Приговор объявили и увели. В тот же день – 13 марта 1938 года. Как в энциклопедии сказано. Там всё известно. На то она и Большая.

Может, два часа всего дали. А чего тянуть. Человек молодой. Надеяться будет. Переживать. Ну и отправили к Господу Богу... Вот уж Тому была забота, в какое отделение Икрамова помещать – по какому, значит, разряду.

– Полностью признавая свои преступления, – сказал Икрамов в последнем слове, – я всё, что знал, раскрыл, всех участников назвал и сам себя разоружил. Если что можно сказать в свою пользу, моля о пощаде, так это то, что я сейчас – раздетый человекоподобный зверь. Я это говорю не для защиты своей поганой шкуры. Но хотел бы попросту сказать: не хочется умирать.

Крестинского расстреляли 15 марта.

А про Бухарина с Рыковым энциклопедия не сообщает.

Эх!

Поставь меня

часок

на место Рыкова...

А Вышинский дожил до семидесяти лет. И даже до семидесяти одного. Без месяца.

Господь Бог избавил его от живых, которые начали возвращаться неизвестно откуда. Польский хитрый бог заблаговременно о нем позаботился.

Это ведь не забывчивый русский боженька, который допустил Такого-Сякого до самоубийства, а после

бегал кругом могилы, подоткнувши подрясник, как баба, ахал и руками махал. Дескать, что ж теперь делать? Как же, мол, быть? Он, как жизни себя собственноручно лишивший, от моего ведомства отпадает...

Польский бог не стал дожидаться Того года, Этого съезда и даже, пожалуй, немножко понервничал и поторопился. Отчего и смерть приключилась в Нью-Йорке. Как будто нельзя человеку проститься с родными у себя на даче.

И прямо с заседания Генеральной Ассамблеи или из Совета Безопасности, подняв руку для голосования или записываясь в ораторы, А. Я. Вышинский предстал перед Божьим престолом... Или где у них там первая остановка?

Он как-то не сразу сумел осознать перемену в своей судьбе и продолжал говорить на предыдущую тему...

Но тут что-то случилось. Господь Бог дернул за рычажок, нажал на кнопку, надавил на педаль, – короче, произвел какие-то самое незамысловатое действие, и Вышинский увидел некоего начальника главка, который толкует мне – – –

– Он будет снят с работы и отдан под суд! – сказал Вышинский.

– Нет, – возразил польский бог. – Он ведь так только думает. А слова произносит совсем иные. Посмотрите, как сердечно они беседуют.

– Я добьюсь снятия с работы и отдания под суд! – упрямо сказал А. Я.

Польский бог улыбнулся.

– Мне говорил о вас Крестинский Николай Николаевич. Вы его помните?... Вы ведь ровесники... как это?... одноклассники...

– Да, – сказал Вышинский, – кажется... Сверстники.

– Не очень приятный человек, – сказал польский бог. – Вы знаете, если бы мне пришлось выбирать между

Крестинским и Вышинским – я выбрал бы Нижинского.

– Кого? – не понял А. Я.

– Нижинского Вацлава Фомича. Не слышали?.. Вы ведь Вышинский, Андрей... – польский бог заглянул в записную книжку, – Андрей Януарьевич, не так ли?

Вышинский кивнул.

– Ну вот, а я хочу вас познакомить с Нижинским... Вацек, – позвал, – Ваца...

И появился Нижинский.

Он был в костюме из «Жизели». В черных, с блёстками, полутрусах, названных бы сейчас «шортами». В коротенькой рубашечке – типа «ковбойка», но с двойным рукавом. Первый – гладкий и длинный, второй – вздутый у плеча, как воздушный шарик.

Нижинский кружился и подскакивал. Волосы развевались. Голова сильно откидывалась, отчего казалось, что он безголовый. Просто крутящееся туловище с белой и крепкой шеей.

– А-а, – сказал Вышинский, – это танцовщик – Нижинский. Я видел его в Мариинском театре. И, кажется, в Киеве. Потом он уехал в Париж, стал очень знаменитым... но сошел с ума в молодые годы и больше не выступал... умер недавно в Париже... года три-четыре назад... Я читал о нем в книжке «Самые знаменитые сумасшедшие»... как-то попалась в самолете.

– Какая память! – сказал польский бог. – Какая отличная память! – И высморкался. – Какой отличной памятью я тебя наградил...

Нижинский между тем приближался.

У него оказалась очень маленькая головка и узенький, в два пальчика, лоб. Волосы почему-то исчезли. Череп был совершенно голый. И костюм из «Жизели» заменился на самый обыкновенный... Но Нижинский всё равно танцевал, махая руками и галстуком, и когда взлетал особенно высоко – Вышинский видел желтые, совершенно нестоптанные подошвы.

Паря в воздухе и широко раздвигая ноги, Нижинский читал стихи Владислава Фелициановича Ходасевича, который, как явствует из фамилии, также числится по ведомству польского бога:

И что ж? Могильный камень двигать
Опять придется над собой,
Опять любить и ножкой дрыгать
На сцене лунно-голубой.

– Вацек, – сказал польский бог ласково, – Ваца... Подойди, пожалуйста.

Он подошел. Очень упругой, сильной, своенравной походкой. И сказал заносчиво, будто не о себе, будто считая себя – женщиной:

– Танцовщица никогда не должна ходить на плоской ступне. – Показал. – Легким шагом я выхожу на середину сцены. Глубокий реверанс – направо, к царской ложе. Другой – налево, к директорской. Затем два шага вперед, – прошел, – и полуреверанс публике партера. Потом отступаю, поднимая глаза вверх и улыбаюсь галёрке.

Он задрал голову и улыбался совершенно счастливо и бессмысленно. Вышинский смотрел ему в лицо и не заметил, как облетели одёжки и прилепились новые, балетные, из спектакля.

– Вот в этой роли, – пробормотал Вышинский, – я, кажется, видел вас в Киеве...

– Познакомьтесь, друзья мои, – сказал польский бог.

– А он умеет прыгать? – спросил Нижинский.

– Он расскажет тебе, чем занимался в той жизни, – сказал польский бог. – А ты, Ваца, слушай и постарайся уразуметь. А потом объяснишь мне. И мы отпустим его. Ты знаешь, я долго наблюдал за ним сверху и никак не мог понять, что же он делает. Быть может, тебе удастся... А те, которые приходили от него, или плакали, или кричали, или совсем ничего не умели сказать.

Нижинский сорвался в танце в очередном костюме из очередного балета, и Вышинский, будто подхваченный, побежал следом за ним. Он был в дипломатическом платье, в форме, покуда не отмененной, в толстых сверкающих погонах, в кителе с широкими лацканами и в брюках, думаю, с генеральским кантом. Лицо сухонькое (при пышной фамилии), а на носу – круглые очки в железной оправе...

Так они носятся по обширным пространствам польского бога, танцуя, играя в «салочки». И Вышинский усаживает Нижинского, чтобы растолковать свои действия на земле. А Нижинский внезапно вскакивает и летит... И польский заботливый бог, наблюдая издали, говорит умиленно:

– Этот чертёнок никогда не успевает опуститься вместе с музыкой.

– Я родился в Одессе, – говорит Вышинский, – 12 декабря 1883 года по новому стилю...

– По новому? – удивляется Нижинский. – А почему по новому?

– Видишь ли, земля вращается вокруг солнца. Но она запаздывает...

– Постой, – останавливает Нижинский. – Как ты завязываешь ленты на туфлях? Узел должен быть снаружи... Поплюй, чтобы не развязался.

– Присядемте на минуточку, Вацлав Фомич. Мне нужно рассказать вам...

– Хорошо, рассказывай... Но разве не слышишь музыки? Послушай, какая музыка... Галоп!

– В 1913 году меня хотели оставить в университете для подготовки к профессорскому званию...

– Да не прыгай ты, как легкомысленная нимфа! Я вижу скорее изваяние, трагическую маску... Неужели не слышишь музыки?

Иногда Нижинский не танцует, а долго сидит неподвижно. Нельзя сказать, сколько это длится, потому что время там никем и ничем не измеряется.

Нижинский сидит, уткнувши в колени свой треугольный подбородок, в какой-нибудь балетной полуголой одежде, и на его лице проступают морщины, глаза бледнеют, мутнеют, и синие жилы вздуваются на ногах. Ему шестьдесят лет по земному счету. Он смотрит на Вышинского, ожидая, что тот, наконец, объяснит, зачем делал то, что делал, и как жил.

Но в такие минуты Вышинский не в силах произнести ни слова. Плечи опускаются, очки ползут по носу. И старческие глаза слепнут от сияния и блеска нестареющих погон. Он закрывает глаза. Подумать только, – говорит вдруг Нижинский, – ведь я не танцевал целых тридцать три года!

И они пускаются в пляс.

– Послушай, Вацлав Фомич, – говорит Вышинский, задыхаясь, – ведь новая действительность... новые формы... Почему обязательно сперва суд, а потом приговор? А если в интересах общества – сначала казнить, а потом расследовать...

– Да, всё прошло хорошо, – уверяет Нижинский, – ты вполне усвоил этот кусок...

– Послушайте же, Вацлав Фомич... Правильно то, что в интересах... а что не в интересах – неправильно. Старая мораль умерла...

– Да закрой ты рот, – говорит Нижинский, – ворона влетит!

И они уносятся в ритме вальса.

Плавно Амур свои волны несет.

Ветер сибирские песни поет.

Тихо шумит над Амуром тайга.

Ходит синяя волна,

Плещет,

Величава и вольна.

В большом черно-белом кабинете, обитом дубовыми панелями, под двумя большими портретами, сидели Писатель и Вождь. Между ними сидел Переводчик – маленький человек, исполняющий в нашем фильме роль сыщика.

Вождь был в полувоенной форме, во френче и галифе, в мягких сапогах с короткими голенищами. Широкий в плечах. Стрижен под «ежик». Усат. Седоват. Лицо усталое и нездоровое – от малого пребывания на воздухе. Но очень доброе. И когда улыбается – около глаз лучатся морщинки.

Вождь курит трубку. И набивает ее. И уминает табак желтым обкуренным ногтем. И выпускает дым короткими мелкими залпами, не затягиваясь.

Напротив, в мягком кожаном кресле, сидит Писатель. В пиджаке и галстук. Весьма европейской внешности. Наверное, бегает по утрам. Делает зарядку. Не пьет, не курит, не ест жирного. Имеет жену и любовницу. Пишет по книге в год. Немного робует перед Вождем. Но держится с большим достоинством.

– Скажите, пожалуйста, – говорит Писатель четко и почтительно, – с Вашего любезного разрешения, я хотел спросить о процессах, которые происходят в Вашей стране... и которые взволновали всю мировую общественность.

– Писатель хочет спросить о процессах, – говорит Переводчик.

– Слушаю вас, – говорит Вождь.

– Наш мудрый Вождь и Учитель, – говорит Переводчик, – готов выслушать ваш вопрос.

Писатель прокашлялся.

– Видите ли... – Еще раз прокашлялся. – Надеюсь, Вы извините меня. Как писателю мне более пристало излагать на бумаге... Боюсь, что в устном общении не всегда выражаюсь достаточно внятно.

Писатель умолк. Вождь посмотрел на Переводчика. И тот перевел:

– Писатель извиняется за неточность формулировок.

– Но вы еще ничего не сказали. – И Вождь засмеялся.

– Наш мудрый Вождь и Руководитель оценил вашу шутку о различии устной и письменной речи. И просит вас держаться неофициально. – И пояснил будто бы от себя: – Свободней, свободней держитесь!

– Мировая общественность, – говорит Писатель, – и в том числе многие друзья Вашей великой страны – мы все очень удивлены и, можно сказать, озадачены отсутствием улик на последних процессах. Обвинение основано на голых признаниях обвиняемых.

Писатель перевел дух... А Переводчик перевел:

– Мировой общественности недостаточно, что преступник сознался.

– Продолжайте, – сказал Вождь.

– Светлый Гений, – перевел Переводчик, – слушает вас.

– Если есть свидетели обвинения, – волнуясь, сказал Писатель, – зачем держать их за сценой? Пусть выйдут, пусть выступят. Если найдены какие-то письма или планы, изобличающие подсудимых, – обнародуйте! Сделайте фотокопии, напечатайте. Пусть все убедятся в полной обоснованности обвинения... Или следы. Преступники, а тем более заговорщики оставляют следы. Где они? Покажите. Пригласите корреспондентов – Ваших и зарубежных... Уверяю Вас, это будет только на пользу.

– Представить улики, – сказал Переводчик, – было бы к нашей выгоде.

Писатель замялся. И стал тщательно вытирать руки.

– Мы – Ваши друзья... и мы далеки от мысли... Мы понимаем, что в Вашей небывало передовой стране не

применяются меры физического или морального воздействия. Новое общество исключает такие методы. Но когда подсудимые поднимаются один за другим, и как по команде, в тех же словах и выражениях...

– Мировая общественность скорбит, – сказал Переводчик. – Растерялись от добровольных признаний.

Вождь достал изо рта погасшую трубку. Размеренно ударил по черенку. Придвинул пепельницу изящным движением. Вытряхнул не спеша пепел. Со вкусом разломил папиросу. Высыпал табак в трубку. Умял. Зажег. Закурил. И поднялся.

Тут же вскочил Переводчик.

Не зная, как быть, привстал в кожаном кресле Писатель.

– Сидите, сидите, – сказал Вождь.

– Можете сесть, – перевел Переводчик.

Писатель сел... А Переводчик остался стоять, следуя за Вождем взглядом...

Вождь ходил из угла в угол по обширному кабинету. В мягких сапогах. По толстому ковру. Совершенно бесшумно. Чуть вперевалочку. И со стены смотрели на него два портрета – могучий философ и тщедушный военный.

– Вы, иудеи, – сказал Вождь, – создали бессмертную легенду – легенду об Иуде.

– Вы – еврей, – сказал Переводчик, глядя в лицо Писателю.

Но Писатель прервал его:

– Я не еврей. – И даже рукой махнул, как бы отмахиваясь от подозрения.

– Он не еврей, – сказал Переводчик.

Вождь засмеялся. Тихо и ровно. Ручейком. И лицо его лучилось доброй усмешкой. Два человека и два портрета слушали этот смех. И смотрели на расходящиеся, словно дедушкины, морщинки.

– Есть такая восточная пословица, – сказал Вождь, снисходя к объяснениям, – «коли умный, то либо еврей,

либо жулик». — И засмеялся последним смешком. — А вы, значит, и не еврей.

— Великий покровитель изящного, — сказал Переводчик, — припомнил народную мудрость, что евреи — очень древний и культурный народ. Однако нет правил без исключения.

— Я не еврей, — сказал Писатель. — И могу представить неопровержимые доказательства.

— Он не еврей, — сказал Переводчик. — У него есть справка.

А Вождь засмеялся:

— Не надо, не надо, господин Писатель... Мы не мировая общественность. С нас довольно чистосердечного признания.

— Не нужно доказательств, — сказал Переводчик. — Мы верим вам на слово.

И Писатель улыбнулся.

Трубка погасла. Вождь подошел к столу, разжег ее снова, но курить позабыл.

— Передайте мировой общественности, — сказал он, чуть наклоняясь к Писателю, — что мы судим наших врагов не для нее, а для собственного народа... Улики, свидетели — всё это нужно только праздным интеллигентам. Простого человека они только запутают. Безусловное признание говорит ему куда больше, чем все ваши хитроумные доказательства. Это — во-первых.

Круглым движением Вождь вывернул руку по направлению к Писателю и разжал маленький кулачок, словно выпустил птицу.

— Во-вторых. Их судит военный суд. Он судит опытных заговорщиков. А где это видано, чтобы опытные заговорщики оставляли улики или живых свидетелей... Нет, вы рассуждаете как романист. А я шесть раз бежал с каторги.

Вождь наконец закурил и глубоко затянулся.

— А в-третьих. Чего не понимает мировая общественность?... Мнят себя солью земли, а сами погрязли в

своим гуманизмом и университетским образованием... Двести тысяч простых людей пришли на Главную площадь нашей столицы. И требуют не улик и не доказательств. Они требуют казни для заговорщиков.

РЯД ПЕРСОНАЖЕЙ С ЭПИГРАФОМ ИЗ ПЛУТАРХА

В это время прибыли разведчики, сообщая о том, что во вражеском стане переносят с места на место много оружия, что они замечали движение и шум, какие бывают перед битвой.

Собственно, нам нужен первый кусочек (п е р в а я ч а с т ь ф р а з ы), и запятая за словом «оружие» обращается в точку.

После чего мы расскажем о генерале З. (в процессе событий, коли не вру, полковника), которому поручили облететь на участке Белорусского военного округа нашу западную границу.

Он вспоминает в недавней публикации, что принял такой полет восемнадцатого или девятнадцатого июня, в среду или четверг, не позже, так как успел доложить чуть ли не командующему войсками генералу Павлову – тому самому танкисту, что воевал в Испании, удостоился Героя и был сильно продвинут по службе...

Не он ли действует на предвоенном полигоне, когда танки завязли в препятствии, – бежит по грязи, сверкая штиблетами, ссаживает нерасторопного лейтенанта и самолично выводит машину пред светлые очи начальства.

В о м н е м е ш а ю т с я р а з о м

портрет Павлова в окружении убористого историко-научного текста, – хмурое, озабоченное лицо совершенно лысого человека, – портрет на краю и с

трех сторон, как полуостров, омывается биографией, блестит голый череп, а над ним, точно вихор...

(тут входит жена, спрашивает, буду ли дома, — скажи то-то, если позвоят те-то, — ты слышишь меня?)

...а типографские знаки — как срезанные парикмахером волосы... строчки ползут на портрет, залегли цепью, обходят с фланга...

а в тылу, за скошенным левым плечом, — широкая лента полей и (н а п л ы в) превращается вдруг в водную преграду, в реку Сож в городе Гомеле...

и Павлов, надо думать, без пояса, с выдранными двумя или тремя ромбами, — сколько их было, тех ромбов в петлице? — Павлов моргал и щурился, и бесконечным пунктиром бежало по Сожу солнечное тире — — —

А месяцем приблизительно раньше сидел в Минске, в управлении округа (моя тетка подскажет вам, где оно находилось), в безупречном генеральском мундире, и рубиновым блеском мерцали на вороте ромбы.

Поскольку нас не было в том кабинете (и даже тетке не удалось заглянуть), не станем реконструировать по чужой памяти или по аналогии, расставлять мебель, сверяясь с древними описаниями, чтобы убедить вас (и себя) в собственном незримом присутствии.

Стулья. Два кресла. Наглухо зашторенное окно. И такой огромный могучий стол, что впору сказать: степь. И полковник З. подумал, — нет, в сослагательном наклонении, — п о д у м а л б ы, е с л и б ы не был летчиком: прямо аэродром.

И маленькие бумажки, сложенные, как школьные голуби, готовы были взлететь. Листочки, скажем, как ласточки... Но на самом деле они приземлились. И некоторые — весьма неудачно: носом в сукно.

Павлов копался в них толстыми неловкими пальцами, — ворошил, потрошил, выворачивал наизнанку. Подтаскивал к глазу, надевал и снимал очки (если вообще носил), морщился и жевал губами. Комкал, разглаживал...

Рядом лежала папка, где те же самые сведения перепечатаны начисто, в нескольких экземплярах. И в каждом обязан он расписаться, и поставить число, а быть может, и час. Дескать, ознакомился, принял к сведению. Такого-то. Тогда-то. Такой-то.

Много лет спустя ветераны авиаполка собрались на традиционную встречу и некий генерал-лейтенант, в прошлом – лейтенант просто... а вот обскакал прежнего командира по чинам, должностям и наградам и спрашивает, не теряя почтения: скажите, товарищ комполка, а как вы узнали точную дату военных действий?

И генерал З., – а за войну продвинулся полковник всего на одну ступеньку, – отставной З. изобразил лицом вопросительный знак. А бывший лейтенант пояснил: Вы, товарищ комполка, построили личный состав, отменили увольнительные и объявили боевую готовность. Через три дня, сказали, будет война.

С ю да же – п р о Э р е н б у р г а.

Как он с Кавериным посетили Тынянова в Царском Селе, что называлось уже Пушкин. А раньше именовали Детским. Или, допустим, Красным... И Тынянов спросил:

– Будет война?

Эренбург не ответил.

– Скоро?

– Через три недели.

Тихо. Тепло. Первое воскресенье лета...

А осенью того же года немцы сидели в Пушкине. И в Царском Селе, и в Детском, и в Красном. Бомбили Москву. Главный художник Большого театра декорировал площадь под лебединое озеро.

И пережидая налет не то в подворотне, не то в убежище, Каверин спросил: откуда вы знали, Илья Григорьевич?... И Эренбург, в точности как отставной З., нахмурился и отвернулся...

Что я знал? Кому другому

Знать бы лучше наперед...

К о м у – д р у г о м у ?

Не машинистке ли, что перестукивала на древнем своем аппарате авиадонесения?

Бездетная, безмужняя. С допуском, с пропуском. Тысячу раз расписалась в неразглашении. И снова, положим, позвали в спецчасть.

Штабной капитан принялся диктовать:

– Скопление... концентрация... сосредоточились...

Но некоторых слов не разобрал, и по инструкции заслоня текст, показывал тетке.

Перед ней запрыгали буквы, что срывались с карандаша при посадке, когда полковник З. раскладывал на коленях планшеты. Наверное, не вылезал из кабины, не глушил двигатель. И скажем, вибрация передавалась руке:

– Танки... пехота... артиллерия...

Тетя шла по вечернему городу. Я лежал в колыбели. Если бы сразу бросилась к нам – мы бы успели в Ташкент. Или куда-нибудь чёрте куда. Хотя чемоданчик собрали бы... И первая бомбежка настигла бы нас (теоретически) где-то на перегоне между Рузаевкой и Сурой...

– Докладывайте, – сказал Павлов.

И полковник З. доложил, что в такой-то день, в таком-то часу, из такого-то района...

Граница округа, что до недавнего времени был действительно Белорусским, но вот уже скоро год – Особый Западный, – граница, как и сейчас, шла от Бреста до Гродно. Да не по-нашему – отвесно, с женскою выпуклостью у Высокого, а вдоль Буга и Нарева, и трудно произносимой речки Писы.

Что после войны опять стало Польшей как (частично) Белостокское воеводство – два предвоенных года было Белорусская ССР. А на военных картах стояло: Белостокский выступ.

И полковник З. медленно летел по-над речками. Сперва на запад, после на север, потом на восток. На

небольшой сравнительно высоте. И тень его маленькой машины падала уже на ту сторону, за границу. Плыла по зеленой траве, по зеленой пехоте на марше.

Молодые солдаты дружески махали рукой, что-то кричали, смеялись. И танкисты глядели из люка, загораясь от солнца черной кожаной рукавицей. Артиллерия увязла в болоте и рада была хоть минутку передохнуть.

Им говорили, что здесь, в озерном краю, где английская авиация их не достанет, они будут учиться (только под великим секретом) форсировать Ла-Манш. А там и нагрянут на этот проклятый остров. Только под великим секретом... И тащили понтоны... прочие подручные средства...

Но, шептались, самая великая тайна: никакой переправы не будет. Русские пропустят нас по своей территории, и мы вставим Черчиллю его собственную сигару – заберем иранскую нефть... напрямую трахнем по Индии... И улыбались, и махали руками.

А полковник З. дружески покачивал крыльями...

Приземлялся через каждые 40-50 километров, и откуда-то из укрытия мчалась к нему машина-«эмочка» с офицером фельдсвязи или бежал пограничный наряд. И разложив на коленях планшет, дрожа от вибрации...

А я лежал в колыбели, и тянулся ручонками, и пускал пузыри.

– Значит, много оружия, – сказал Павлов, – движение и шум... Свободны, полковник.

И З. отправился в полк поднимать по тревоге личный состав.

А Павлов ходил вдоль стола, как делал, передавали, Тот, когда думал.

Была ночь. Родители спали, греясь взаимным теплом. По нашим достаткам, мы жили тогда в одной комнате. И тетка зачем-то приплелась ночевать. Я закричал. Мать вскочила, оправила меня и дала грудь.

– Лиза, – сказала тетка, – а хорошо замужем?

И мать, наверное, засмеялась.

А я посапывал в коричневой плетеной корзине, которую зимой ставили на полозья. А потом – не знаю. Таскали, небось, на руках.

Будь моя воля, – думал Павлов, вышагивая вдоль стола, – будь моя воля...

В Белостокском выступе стояли три армии. Немцы забьют клинья под Брестом и Гродно, и как отрезано. Будь моя воля...

Будь его воля, он вызвал бы самолет – и туда, поближе к войскам. В Десятую армию. Или в Третью. Или в Четвертую. Всё равно... Хоть Десятая – в центре, на острие... И пригласил заместителя.

– Вот что, Иван Васильевич, – сказал командующий, – на границе неладно. – И замолчал. – Поезжай в Белосток. Сегодня же. – И отвернулся. – Прямо сейчас.

Когда заместитель ушел, командующий снова присел к столу. Вынул из папки напечатанные теткой донесения и завизировал. Где надо и как надо. Потом отложил первый экземпляр, взял листочки полковника З. и читал, поводя головой, будто сверяясь. Отыскал в ящике плотный конверт, поместил обе бумаги и начертал красным карандашом, толстыми буквами: «Товарищу Сталину И. В., лично». Как ставят врачи на рецептах: cito (срочно).

И генерал Болдин полетел на запад, а донесения полковника З. – на восток.

Было в обычае – докладывать только факты. И отвечать головой.

Когда осенью того года немцы шли на Москву, их заметили с воздуха. Танковая колонна по старой калужской дороге. А впереди – никого... Но точно ли, танки? Верно ли?

Чтобы не обознаться, снарядили разведку. Послали один самолет. После второй, контрольный. И, кажется, третий. С аэрофотосъемкой.

Некоторые говорят: танки остановились сами собой. Просто достигли того рубежа, что был отмечен на карте. Ну и встали для отдыха и заправки. По другим данным, времени оставалось в обрез – и подольские курсанты совершили свой подвиг.

Осенью того года я орал на станции Сызрань в комнате матери и ребенка. Потому что матери при мне не было. А тетка нашлась много позже. Однако не умер. И видел «Падение Берлина» – цветное и двухсерийное.

Помню артиста Андреева, что изображал рабочего Иванова, – оступался и бормотал:

– Здравствуйте, Виссарион Иванович... то есть простите, ради Бога...

Сталин (ц и т и р у ю) засмеялся и, подойдя, обнял Иванова за талию.

– Это моего отца звали Виссарионом Ивановичем, а я – Иосиф Виссарионович... Ничего-ничего... – И, смеясь, повторяя: «Виссарион Иванович», пошел в дом, где был уже накрыт стол.

(Смотри Павленко, Избранное, стр. 587)

А во второй серии Жуков берет Берлин. Застрыл на Зееловских высотах. Звонит в Ставку.

НАЧАЛЬНИК ГЕНШТАБА. Военнопленный унтер-офицер Ганс Андерер сообщает, что у них получен приказ Гитлера сражаться до последнего.

СТАЛИН. Кто сообщает? Унтер-офицер?... Передайте Жукову...

Через три года Петр Андреевич Павленко скончался в чахотке. Но на портрете он важный и толстый, как Алексей Николаевич Толстой.

С ю д а ж е – п р о П а с т е р н а к а, что учился некогда в Марбурге, и там есть улица его имени. А здесь – жил на улице Павленко.

Страница 619-я. С ремаркою «неожиданно» Сталин спрашивает у маршалов:

– Ну так как же, кто будет брать Берлин – мы или союзники?

Маршалы отвечают:

– Мы! – И щелкают, поди, каблуками.

Чуть ниже (полагаю, с документальной точностью) отображается заседание:

МОЛОТОВ. Обстановка, безусловно, требует срочных мер.

ЖДАНОВ. Я бы сказал – немедленных.

СТАЛИН. Как у нас с танками, самолетами, с горючим?

МОЛОТОВ. Сколько понадобится, столько дадим.

ЖДАНОВ. Задержки ни в чем не будет.

СТАЛИН. Без американской помощи?

МОЛОТОВ. Без.

СТАЛИН. Без Стандарт-Ойл?

ЖДАНОВ. Без.

СТАЛИН. Хорошее дело – наша социалистическая система... Мы тут посоветовались и решили...

В тот предвоенный год был он очень спокоен. Где-то зимой пришла ему в голову мысль, которой искал поделиться. И с добрым внезапным лукавством поглядывал на окружающих.

Кому бы сказать?

Этому простодушному А.? Или хитрому Б.? Или не очень, говоря мягко, далекому В.?

И принимался с другого конца. Длинному Т.? Толстому Х.? Царскому офицеру Ш.?.. Перескакивал на середину. Молодому М.?.. М. – старому соратнику? Непременно разболтает Полине, и та взмахнет ручками: я тебе говорю – он гений... Гений!

И посмеивался в усы.

Мечутся, суетятся. Совсем растерялись...

В Киевском военном округе – генерал К. Умный, как Соломон. Предлагает эвакуировать население приграничной полосы – триста тысяч народу. Поставить противотанковые надолбы и чуть ли не сплошь заминировать... А?!

Еще ленинградцы советуют: ввиду возможной бомбардировки упрятать под землю продовольственные запасы... А рыть ты сам будешь? Носом? Или в Германии экскаватор найдем?

А вот и того лучше! Перевезти все склады за Урал. На западных реках подготовиться к подрыву мостов... Паникёры! Какой-то фельдфебель спяну перебежал границу. Через неделю, клянется, будет война... Да он в чем угодно присягнет, только не выдавайте!

ДОСТАВИТЬ В МОСКВУ. ДОПРОСИТЬ. НЕ ПОДОСЛАН ЛИ АНГЛИЕЙ?

УВАЖАЕМЫЙ ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!

В то утро Алексей Николаевич Т. – бывший граф (ц и т а т а), а ныне замечательный наш писатель – вскочил спозаранку, влез под холодный душ, крикал, фыркал, хлопал себя по ляжкам и повизгивал хрюкающим смехом, которым был знаменит. Запахнулся в длинный махровый халат, перепоясанный кистями, и подошел к пишущей машинке отработать ежедневный урок.

В голове гудело. Вспомнил вчерашнего веселого собеседника, и само собой внезапно отшлепалось:

В достопамятные времена некто Ер инспектировал некое учреждение. Провели по всему хозяйству, завели в опер-часть...

– Ага, – он сказал, – тут у вас опера. А где, – спрашивает, – балет?

Алексей Николаевич хрюкнул и посмотрел в окно. Над дальнею крышей висело черное облако. Пожар, что ли?.. Еще рассказывал Ер, как враг народа измывался над следователем: не имеете права, я – академик, мировая величина!.. А следователь, хоть и мальчишка, не оробел:

– Ты, – говорит, – г., а не академик. А теперь встань и стой, покуда не осознаешь... Осознал? Ну, повтори: я – г., а не академик... Правильно. Вот так... Авось, поумнеешь.

Над дальней крышей густело черное облако.

– Я – г., а не академик, – сказал Алексей Николаевич и глянул зачем-то на малый сервант, где в нижнем ящике лежали грамоты и награды.

Достал из машинки отпечатанный лист и направился в туалет. Кряхтел, тужился. Видел румяную спутницу Ера, – хохочет и тянется чокнуться:

– Да вовсе оно не больно, ваше сиятельство, а даже приятно. Рожать – это, знаете...

И чистыми руками снова взялся писать:

Уважаемый Иосиф Виссарионович!

Мастерство Бунина для нашей литературы – чрезвычайно важный пример, как нужно обращаться с русским языком, как нужно видеть предмет и пластически изображать его. Мы учимся у Бунина мастерству, образности и реализму...

Над дальними кровлями текло и клубилось облако.

– Ляля! – крикнул жене. – Они что, новый крематорий поставили?

В тот день Сталину доложили: в германском посольстве жгут документы. По сводкам наружного наблюдения, трубы дымят с неделю, но сегодня – прямо в открытую. Развели костер во дворе, на асфальте. Жильцы соседних домов вызывали пожарных...

– Покажите, – сказал Сталин.

Ему показали несколько фотографий.

Снимали из окон верхнего этажа. А может быть – с крыши, хоронясь за трубою. Наверно, в тех же домах, откуда звонили в милицию и пожарным.

Следили тщательно, по системе. И с разных точек.

Вот трое сотрудников раскладывают во дворе папки. Гора бумаги растет. Крупно: человек с бидоном. Крупно: человек с зажигалкой. Горит. Высокий столб дыма. Подбрасывают новые папки. Крупно: человек с огнетушителем. Должно быть, ответственный за пожарную безопасность...

– Наш посол в Берлине принят германским руководством?

– Никого нет на месте, товарищ Сталин.

– А германский посол в Москве?

– Выехал за город.

– Разыщите.

В тот же вечер шел «Маскарад».

На премьере присутствовал Я. в возрасте чуть за двадцать, как Лермонтов, когда писал свою драму. И может быть, похож внешне. Невысокий. Чернявый. Привздернутый нос. Голубые глаза.

Последние обстоятельства (оба) оказались жизненно важными. Но сейчас – о другом.

С Я. была Ты.

Смеясь, уплетала мороженое в надежде, что Я. не подсыпал яду (шутка), и повторяла следом за героиней: как новый вальс хорош... Все прочие девушки (через одну) щебетали о том же, но Я. никого не видел, кроме Тебя.

В антракте по репродуктору снова пустили вальс, и Ты опять восторгалась: стремительный, упоительный, восхитительный... и тянула Я. в нижнее фойе, где уже танцевали.

Был год Лермонтова. Столетие со дня гибели.

– Это расплата, – сказал Я., обнимая Тебя в танце.
– Страх, тревога, ожидание смерти...

– Ну да! – засмеялась Ты. – Нина тайком сбежала на маскарад и боится.

Но Я. был начитанный. И слышал о постановке Мейерхольда 25 февраля семнадцатого года... А через день – революция... И эта магия чисел! Та война – в 14-м, теперь – 41-й...

И прикасаясь к Тебе, прижимаясь всем телом, Я. почувствовал вдруг такой страх, что перестал быть мужчиной. И если б заговорил – пищал бы голосом евнуха.

С ю д а ж е, – б у д т о о б р а т н о й п а м я т ь ю, – как попал в плен. Сидит в лагере. Покуда живой. Благодаря курносости и светлоглазости. Но когда ночью пригонят из шахты и все замертво рухнут на нары – вдруг спросит грубым веселым голосом:

– А что, мужики, еще у кого стоит?

– Господин посол! Неделю назад в нашей печати было опубликовано сообщение ТАСС. В нем говорилось, что Германия... – Сталин придвинул текст и неспешно прочел: – «...Германия так же неуклонно соблюдает условия советско-германского пакта, как и Советский Союз. – Слушал себя внимательно, словно проверяя, нужна ли дальнейшая редакция. – ...ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы. – Сталин помолчал, давая переводчику сделать свою работу. – А происходящая в последнее время переброска войск в восточные и северо-восточные районы Германии связана, надо полагать... – И снова остановился, ожидая, как прозвучит по-немецки: надо полагать. – ...связана, надо полагать, с другими мотивами, не имеющими касательства к советско-германским отношениям». – Отложил текст. – Вы знакомы с этим документом?

– Да, ваше превосходительство.

Сталин улыбнулся.

– Вам как графу, если не ошибаюсь, присвоен титул «ваше сиятельство». Но мне передавали, что

в Германии всё шире используют обращение «камрад».

– Да, среди партийных товарищей.

– А вы, надо полагать, беспартийный? (П а р т а й л о с, – сказал переводчик.) Скажите, ваше сиятельство, отчего Заявление ТАСС не попало на страницы германской печати?

– Затрудняюсь ответить, герр Сталин. Это по ведомству геноссе Геббельса.

– А все-таки?.. Мы с вами беседуем без протокола.

– Видите ли, сведения о передвижении войск, особенно в военное время, представляют собой государственную тайну и обычно не обнародуются...

– А по другим каналам, официальным или не официальным, почему вы нам не ответили?

– Знаете, – развел руками посол, – кто слабее – должен быть хитрее.

– Как? – крикнул он по-грузински. – Что ты сказал?

Переводчик-немец вопросительно посмотрел на нашего. А наш, хоть и мальчишка, не оробел. И обратился к послу, как профессор – к нерадивому студенту:

– Видерхолен зи битте. (П о в т о р и т е, п о ж а л у й с т а.)

Откуда узнали?.. Значит, пронюхали... просочилось... Через кого? – И сразу же взял себя в руки. – Но кому я сказал? Простодушному А.? Хитрому Б.? Недалекому В.?.. М. – старому соратнику?

ЕСЛИ МЫ СЛАБЕЕ, НАМ НУЖНО БЫТЬ ХИТРЕЕ.

Посол встал.

– Смею заверить ваше превосходительство, что ответ Германии будет дан безотлагательно... в самое короткое время.

В Гомеле, в 1957 году, в благодарность, что не женился, – просто не был женат, а ты, родная, вовсе и не маячила, – и старый Е-й рассказывал мне про Стрекопытовский мятеж, про черного и бесстрашного Мен-

деля Хатаевича (перед революцией, с рукою на перевязи, торговал газетами вон на этом углу, – смотри БСЭ, т. XXVIII, стр. 215), про кошмарную драму в «сером доме», что назывался по-довоенному «дом специалистов»...

– А здесь, – говорил Е-й, – здесь, в городском парке, заседала правительственная комиссия. – И махнул в сторону башни, вроде Военной академии имени Фрунзе. – Судили бывшего генерала Павлова...

– А за что? – спросил я. – Что он такого сделал? ...в течение 22-23. VI. 41 возможно внезапное нападение на фронтах Ленинградского военного округа, Прибалтийского Особого военного округа, Западного Особого военного округа, Киевского Особого военного округа, Одесского военного округа. Нападение может начаться с провокационных действий.

С ю да ж е – п р о Р и б б е н т р о п а и С т а р о г о С о р а т н и к а.

Как, вручивши военную ноту, Риббентроп долго бежит за нашим послом, извиняется и бормочет: мол, не хотел, был против, категорически возражал...

А Старый Соратник, выслушав объявление войны, якобы простодушно воскликнул:

– За что? Почему вы с нами так поступаете?

...за то! – думал Павлов, стоя над Сожем с выдранными знаками различия. И были то вовсе не ромбы, а пять металлических звездочек, вдавленных в петлицы. И глубокий их след тревожил комендантскую роту, словно бы перед ними – не разжалованный и осужденный, а в прежних чинах командующий Западным фронтом генерал армии Дмитрий Григорьевич Павлов. – За то! За то!

Что отдали ребятишкам парализованную барыню Ольгу Ивановну и те в два дня укатали старушку. Что в Храме свалили гнилую капусту. И под окном батюшки орали дурным голосом: Бога нет! Бога нет! Что покуда

один Павлов получал геройскую звездочку – брат поды-
хал на лесоповале. И герой не то что посылку – письмо
написать боялся. И кричал на мать, чтобы не смела пла-
кать.

С ю д а ж е. Как весною сорокового года делили
панскую землю в Белостокском выступе. А какой-то
мужик отказался. КАЛИ Б ТО БЫЛО МОЕ. А ТО НЕ
МОЕ, ПАНОЧКИ...

Ведь как глубоко, – сказал тогда генерал Павлов, –
как глубоко въелась рабская психология!

Комендантский взвод вскинул винтовки и целился в
дырочки на гимнастерке, пробитые сорванными орде-
нами, будто один раз уже расстреляли.

И в оставшиеся полсекунды Павлов с ясностью по-
нял, что вот поехал бы сам в Белостокский выступ... Но
если бы всё повторилось – отправил бы опять замести-
теля.

В условиях начального периода войны, не имея регуляр-
ных и точных сведений о ходе боев, о состоянии войск,
не сумел проявить должной инициативы и твердости. В
связи с допущенными просчетами в руководстве...

– Пли!

...и неблагозвучная деревня Вонюх, Костромской
области, стала деревней Павлово.

А генерал Болдин пробивался из Белостокского
выступа.

Сколько там было войск? Полмиллиона? Триста
тысяч?.. Но уж никак не меньше полтора ста...

И он вышел через два месяца где-то восточнее
Смоленска, приведя за собой 1500 (тысячу пятьсот)
человек.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ БИОГРАФИЯ

генерала де Голля
и маршала Тухачевского
открывается годом рождения:

1890-Й ГОД, ГОРОД ЛИЛЛЬ

1893-Й, ИМЕНИЕ АЛЕКСАНДРОВСКОЕ,
ДОРОГОВУЖСКОГО УЕЗДА,
СМОЛЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ
(ныне – для желающих посетить –
возле деревни Следнево,
Сафоновского района).

Оба – в дворянской семье.
Полагаю – потомственные вояки.

Хотя генерал де Голль –
сын преподавателя,
трудно представить, что человек
без военных корней
сочинил бы книгу
«Профессиональная армия»
(перевод с французского,
Москва, -1935 год).

Предок же Тухачевского –
дед или прадед –
присутствовал на Сенатской площади
14 декабря 1825 года,
но бунтовал ли в звании прапорщика
или в таком же звании бунт умирал

за давностью времени
главное – участвовал.

ОКОНЧИЛ СЕН-СИРСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ
(1912)

ОКОНЧИЛ АЛЕКСАНДРОВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ (1914)

Тот самый желтый, простите, дом,
где Генштаб и Военное министерство,
угол бульвара Николая Васильевича
(Гоголя – для любопытных)
и бывшей Знаменки – нынче улицы Фрунзе
(Михаила Васильевича – для любознательных).

...как выдирают зуб,
извлечем отчество, будто корень,
и общий забор,
соединяющий две магистрали,
будет им как бы папашей,
то есть – Василием.

УЧАСТНИК ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ.

УЧАСТВОВАЛ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ
В СОСТАВЕ ЛЕЙБ-ГВАРДИИ СЕМЕНОВСКОГО
ПОЛКА.

ПОРУЧИК. Кажется – Георгиевский кавалер.

В 1916-18 НАХОДИЛСЯ В НЕМЕЦКОМ ПЛЕНУ.
Трижды, но неудачно
бежал.

В 1915 ГОДУ ПОПАЛ В ПЛЕН.
В 1917 БЕЖАЛ В РОССИЮ.

Здесь уместнее перейти на прозу
с целью нарисовать психологическую картину,
что чувствует офицер

Но Алексей Николаевич Толстой
выразил это
тремя словами:
в с ё б ы л о к о н ч е н о .

Ибо Тухачевский
пробрался на Родину
не в январе,
не в феврале,
не в марте,
не с Апрельскими тезисами,
не в разгаре июльского кризиса,
не к разгрому Корниловского мятежа,
а лишь
в декабре.
И сидел у себя в усадьбе,
отсыпаясь и отъедаясь,
и быть может, в задумчивости
играя на скрипке,
покуда разгоняли Учредительное Собрание
и вели с Германией
переговоры о мире.

В ранней юности
тревожил меня рассказ
Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича,
как, управляя делами
Совета Народных Комиссаров,
принес он Ленину
глянцевую роскошную папку
с тиснением и позументом,
с нежно-белыми и бело-снежными
гладкими меловыми страницами,
что обрезали России,
по восточному ритуалу,
крайнюю плоть –
минус Прибалтика и Украина,
плюс миллиардная контрибуция

– – – – –
и подписав Брест-Литовское соглашение,
Ленин сказал Бонч-Бруевичу:
– Не огорчайтесь. Это ведь только
бумажка.

ЧЛЕН КПСС С 1918-ГО.

Да, вроде уже к апрелю,
заручившись ручательством,
рекомендацией и поддержкой
какого-то старого друга семьи
(фамилия не называется)
и разом подпольщика
с многолетним шагом
(тогда некоторые еще говорили –
п о д п о л ь н и к а),
Тухачевский как бы
родился наново.
Работал в военном отделе ВЦИКа,
с мая –
военный комиссар обороны,
в июле-ноябре
командовал 1-й армией Восточного фронта,
а как в декабре восемнадцатого...

Но в ноябре
закончилась мировая война,
и надо думать, через месяц-другой,
а может, и раньше,
де Голль возвратился из плена.

А Тухачевский
с января девятнадцатого (по март)
командует Восьмой армией Южного фронта,
а затем –
Пятой Восточного,
носится
от Северного Донца до Урала –
и снова на юг
весною двадцатого.

Гражданская война
как любое явление
имеет много аспектов,

В частности, и такой:
поручики бьют генералов.
А эти побитые говорят,
как (фантазирую)
мог бы сказать, например, Деникин:
– Стало быть, – говорит, –
мы хорошо
вас учили.

В 1920 году
во время войны с буржуазно-помещичьей,
так называемой «панской» Польшей
командовал Западным фронтом,
и проявив талант,
а также большие
организаторские способности,
едва не ворвался
в Варшаву,

тогда как де Голль,
отдохнув и оправившись после плена,
в том же двадцатом году
участвовал в той же войне
на стороне Польши
в чине, мне кажется,
не старше
старшего лейтенанта.
В 24-м окончил в Париже
Высшую военную школу,

в то время как Тухачевский
еще в 21-м
назначен начальником
Военной академии РККА
(Рабоче-Крестьянской Красной Армии).
Опустив утомительные даты,
сперва пом., а затем зам.
Начальника Штаба Красной Армии.

Зам. Наркомвоенмора.
Начальник вооружений. Первый зам.
и начальник Управления боевой подготовки.
Маршал.

А черепаха де Голль –
едва-едва капитан.
Служит на разных командных
и штабных должностях. Занимается
военно-педагогической деятельностью.
Издает несколько
военно-теоретических трудов
о маневренном характере
будущей войны
с массированным применением танков,
авиации и пехоты.
Наконец – уф! – полковник.

Но как только пошла заварушка
и началась «катаваська» –
бух! – генерал,
бах! – замминистра.
Обнаружил личное мужество,
обратился с призывом,
основал в Лондоне

Голль, Шарль де, – читаю в энциклопедии, – реакци-
онный политический деятель, руководитель фа-
шистской партии «Объединение французского на-
рода». Воспитанник колледжа иезуитов, монархист
и клерикал. По заданию Черчилля, создал органи-
зацию «Свободная Франция», призванную не допус-
кать антифашистского освободительного движе-
ния. «Центральное бюро осведомления», своего
рода гестапо, действовало в тесном контакте с гит-
леровцами. Де Голль и его клика повинны в уничто-
жении огромного числа французских патриотов.

Что? Забыть?
Ах, забыть!
Давно уж пора забыть...
Да поймите вы:
я не фитиль вам вставляю,
а себе –
клизму.
Творчество
есть сознательный
физиологический акт
или, как говорил классик,
«животное отправление»,
Все мы
нажрались тухлятины,
и надобно выпустить этот кал
из толстой кишки,
чтоб наконец
завоняло.

Капитулянтское правительство Франции
обвинило де Голля в измене,
и Военный трибунал
Семнадцатого военного округа
приговорил его
к смертной казни

внезапно воскреснув
осенью 1941 года,
Тухачевский обратился к стране
с призывом:
НАС СПАСЕТ ТОЛЬКО ПРАВДА

Сразу после войны
предпринял ряд мер,
чтобы установить режим
президентского типа.

Столкнувшись с трудностями,
в январе сорок шестого года
покинул пост
главы государства.
С сорок седьмого
руководил партией
«Объединенные патриоты»,
которую распустил,
временно отойдя
от активной политической деятельности.
В мае пятьдесят восьмого,
в период острого кризиса,
снова возглавил правительство.
В сентябре
была подготовлена
новая Конституция.
21 декабря
избран Президентом страны,
а по истечении полномочий
вновь переизбран
на полный срок.
Тухачевский скончался
в родовом народном имении
4 февраля 1973 года.

А полковник де Голль
был расстрелян в подвалах Бастилии
11. VI. 37

КАК СЕЙЧАС ПОМНЮ

Федор Федорович Раскольников, настоящая фамилия коего – Ильин, а псевдоним выбрал он по роману, – Родион Раскольников рассказывал Ленину, как разогнали Учредительное Собрание.

Перед революцией учился Федя в Морском корпусе. А родился, кажется, в 1892 году. Довольно великовозрастный был курсант. Хотя в то время говорили «гардемарин». Или «юнкер» – про сухопутных. Чтобы не углубляться, поясню курсивом: до революции – *курсистки*, после – *курсанты*.

Но Раскольников был мичман – по первому офицерскому званию. И служил в Кронштадте. Насчет флотских трудов – уклонюсь. А главное дело – в Совете. Что-то он там возглавлял: отдел, подраздел, комиссию...

Кронштадт, как известно, база. Только по пропускам. Ну и тогда тоже. Только без пропусков. Война, а свободно ездили. Но дисциплину держали.

За коменданта был Вирен-адмирал. Или, как в кино произносят, Вирён (смотри «Мичман Панин», Мосфильм, 1960). Матроса без увольнительной поймают – нет, чтобы под арест или по морде. Нижнюю пазуху растегни, и пошел. В смысле – ступай с Богом. При нижней распахнутой пазухе...

Некоторые шепотом намекают: на клешах-то оно сбоку...

Ну, в общем, царя выгнали, а Вирена – на фонарь. И снимать не велят.

Тут, на фоне событий, разыгрался вторичный, второстепенный инцидент. Адмиральская дочка папашу выкрала и втихомолку уволокла...

Да матросы – народ отходчивый. Бог с ней, шутят, пускай!.. Подробности у Софокла – – –

Блюстители и судьи!

Разве я

отца родного,

что кровь свою мне передал,
не вправе

предать земле?

Или вы сами

произошли от неба

или моря?

Или отростки дерева?

Иль камни?

И некому сказать вам:

папа... мама...

А Раскольников, – к слову, – незаконнорожденный. Батюшка духовного звания – поп или дьякон. И состоит с матушкой в гражданском браке. Овдовел, а по второму разу нельзя. Не положено. Вот и пришлось Феде – заодно с братом – участвовать в революции.

А вы думали как?

Личный мотив.

Чтоб далеко не ходить – Мирабо (тысяча семьсот этот – тысяча семьсот тот). Развестись не мог при старом порядке. Так сперва в третье сословие перешел и торговлю завел. А в избирательном бюллетене проставил: граф (трам-пам-пам, трах-тах-тах) де Мирабо, суконщик.

Дальнейшее, к сожалению, не переводится на европейские языки, а именно, что «сукно» вытекает из «суки». Хотя некоторые полагают, что Мирабо – кобель. Скинул короля – – – но не помню, голосовал ли за казнь.

Кажется, не успел. Господь Бог прибрал его к сроку, и Робеспьеру достался прах. Вроде, вытаскивали из Пантеона, развеивали по ветру, а после опять собирали, помещали обратно...

Нечто отдаленно похожее произошло и с Раскольниковым.

В начале шестидесятых годов прибыла из Парижа его жена, привезла архив. И в газете «Известия» появилась статья, какой замечательный патриот был Федя.

А в это как раз время (начало тех самых лет) Илья Григорьевич Эренбург публиковал роман «Люди, годы, жизнь». И объяснял свое поведение в определенный период, именно что, патриотизмом. Дескать, нельзя же

перед лицом, например, фашистской опасности разоблачать, освещать и тыкать.

А Раскольников действовал, именно что, напротив — — —

...весною семнадцатого, чуть ли не в мае, воплотил в жизнь лозунг вождя: вся власть Советам! — повел за собою эсеровско-беспартийный Кронштадтский совет. И буржуазные временные газеты (так как правительство было Временное) подняли ужасный галдёж.

Дескать, Кронштадт отложился от России. Образовалась матросская республика. Перехватывали офицеров и держат до суда без суда. Вот, мол, она — грядущая власть въявь и в натуре.

Вождь вызвал Раскольникова и отчитал: почему-де загодя не донес о кронштадтской советизации?

Федя развел руками и оправдался.

— Ладно, — сказал вождь, отходчивый, как матросы. — Но учтите: мы за такие штуки будем расстреливать.

В июльские дни, по старому стилю, Раскольников доставил в Петроград тридцать тысяч кронштадтцев на «мирную, — как тогда говорили, — вооруженную демонстрацию». По данным красного справочника «Великая Октябрьская социалистическая революция» (в просторечии ВОСР), «убито 56 человек, ранено 650».

Демонстранты, в количестве (согласно ВОСРу) полумиллиона, окружили Таврический дворец.

Наблюдая их сверху, Виктор Михайлович Чернов (ВОСР, стр. 667) благодушно перечислял слова с неизменно произносимой согласной: *сонце, лесница, демонстрация, иностранцы...*

В это время, — пишет Чернов, — ко мне подошли два лица и попросили выйти к матросам. Когда я вышел... на подъезде дворца, за колоннами какой-то неизвестный человек закричал:

— Вот! один министр в наших руках! что с ним делать? Крики вблизи были явно агрессивные.

Нас, однако, интересует Раскольников, который впоследствии стал писателем (редактировал журнал, возглавлял издательство, выпустил несколько книг), и ознакомьтесь с событиями в его изложении. Тем более, стиль – это человек.

Вождь эсеровской партии не мог скрыть страха перед толпой. У него дрожали руки. Смертельная бледность покрывала перекошенное лицо. Седеющие волосы были растрепаны.

– Зачем вы арестовали Чернова? – спросил я. – Куда ведете?

– Куда хотите, товарищ Раскольников. Он в вашем распоряжении.

Чернов посмотрел на меня каким-то рассеянным взглядом, по-видимому, плохо отдавая отчет в происходящем.

Делу помог Троцкий... вскочил на передний кузов, покрывающий моторный двигатель автомобиля, и широким энергичным взмахом подал знак к молчанию.

В одно мгновение все стихло. Воцарилась мертвая тишина.

Громким, отчетливым, металлическим голосом, с темпераментом отчеканивая каждое слово и тщательно выговаривая каждый слог, Лев Давыдович произнес короткую речь следующего содержания:

– Товарищи кронштадтцы! Краса и гордость русской революции! Я не допускаю мысли, что решение об аресте министра-социалиста Чернова было вами сознательно санкционировано. Я убежден, что не найдется ни одного человека, стоящего за арест, и не поднимется ни одной руки за омрачение нашей радости никому не нужными, ничем не вызванными эксцессами.

Толпа застыла в немом молчании.

– Гражданин Чернов, вы свободны, – торжественно произнес товарищ Троцкий, обращившись всем корпусом к министру земледелия и жестом руки приглашая его уйти.

Чернов был ни жив ни мертв. Я помог ему... и с вялым, измученным видом, нетвердой нерешительной поход-

кой он поднялся по ступеням и скрылся в вестибюле дворца.

Я же обращаюсь к лингвистам-любителям. Гляньте повторно, откуда Троцкий произнес речь. Он сделал резкий прыжок, – пишет Раскольников (в нашей редакции – *вскочил*), – на передний кузов, покрывающий моторный отсек автомобиля.

Существительное, конечно, существовало. Мы заняли его у французов и зафиксировали в Академическом лексиконе за 1847 год. «Домашнее платье свободного покроя. Женская или мужская верхняя одежда без перехвата в талии». И не капотом ли называл Акакий Акакиевич прежнюю свою шинель – – –

По нынешнему специальному толкованию, капот есть откидная металлическая крышка у различных механизмов – чехол, предохраняющий двигатель. Но куда укоренилось, язык пребывал в подвешенном состоянии – между «халатом» и «кожухом». И нам, считай, повезло: у англичан оно – «капор», то есть шляпа, вдобавок женская. А пунктуальные немцы так и остались с «защитным устройством».

Раскольников был комендантом дворца Кшесинской (ВОСР, стр. 419), ушел с матросами в Петропавловскую крепость (там же, 459), сидел в Крестах, ожидая того суда, на который вождь не явился: юнкера-де до тюрьмы не доведут – убьют по дороге...

Отпущенный после Корниловского мятежа, требовал освобождения остальных. И министр юстиции Такой-то – – –

Но обратимся к устному преданию.

Когда снимали кино «Вождь Октября» – чуть не задрались, как одевать Керенского. Режиссеру хотелось, чтоб с орденом. Не иначе – сам себя наградил и красуется. Но вышел бородатый, не старый, на взгляд, человек и с твердостью заявил, что ничего, кроме университетского значка, Керенский не носил.

– А вы почему знаете? – закричал режиссер.

– Я – министр юстиции Такой-то.

В тот год – тридцать седьмой – Федор Раскольников был послом в Болгарию.

И вот приходит в Софию индекс запрещенной литературы, то есть таких книжек, которые надо изъять из посольской библиотеки. И среди прочих видит Раскольников собственное сочинение «Кронштадт и Питер в 1917 году».

Ну, как всегда. Комиссия. Акт. Сжигают в присутствии...

А наутро – депеша: срочно в Москву. Но Раскольников как патриот Родины поехал в Париж.

– Так что же Учредительное Собрание? – спросил Ленин. – Вы – расходитесь, караул устал... А что же Чернов?

– Ничего, Владимир Ильич. Граждане, говорит, депутаты, закрываю первое заседание.

– И всё?

– Ну да.

– Но, может быть, что-то сказал... сделал?

– Нет, Владимир Ильич.

– Как-нибудь протестовал?

– Да как?... Закрыв заседание и пошел.

– Неужели закрыл и пошел?

– Да, спустился себе да идет по проходу.

– Оглянулся? Крикнул?... Топнул ногой?

– Что вы, Владимир Ильич...

– И не ругался? Так, по-простому...

– Да ведь на мушке держали.

– А-а... А вам ничего не сказал? Лично?

– Сказал. Шепотом. «Додемонсрировались? – говорит. – Демонстранты!...»

Ильич засмеялся.

Иногда мне кажется, я понимаю тех моряков, что не пустили немецкие танки.

Сперва-то всё хорошо было. Солнышко светит. Морячки на горке сидят. В укрытии. Пушечку закатали, зелени повешали. Там мелколосье такое, крымское. Вот в субтропической растительности и сидят.

А внизу – шоссе. Бахчисарай – Севастополь.

Здесь когда-то Екатерина с Потемкиным проезжали. И по всему пути знаки ставили. Назад чтоб не заблудиться. Как семь верт маханут – колышек. А там уж мужики с солдатами в камень одели. На века. Екатерининская верста называется... А они, может, с Потемкиным раз в семь верст баловались.

А мы с вами на экскурсию едем.

На автобусе.

А тогда танки шли. И столбик тот беленький – от Екатерины-матушки – за ориентир был. Как танки к нему подойдут – огонь.

И вот сидит морская пехота и анекдотами утешается. Про Екатерину да про Петра. Она – Великая Баба. А он – Великий Мужик.

Ну и хохочем!

Отсмеялись – и танки услышали.

Два раза у нас Севастополь брали. И всё – с суши. А мы с моря его укрепляем. А те – в спину. По этой по самой. Об забор.

Вот и приходится кругом себя оборачиваться и морячков в пушками на горку сажать.

Ну и сажают сверху по танкам.

Сперва-то, говорю, хорошо было. А после те пристрелялись. Пушечку скovyрнули.

Или у наших снаряды кончились. Боезапас. Тоже свободное дело.

И вот идут танки. Один подбили – другой. Подбили – третий. Четвертый. Пятый... Волна за волной.

Мальчишка в волну кидается, видели? А его на пузе назад. А он опять. А его – брюхом на камни. А он – снова...

Думаете, зря говорят: стенку лбом прошибу?

Был такой, значит. Молотил с разбега – – –

...в Казанском университете в сходке участвовал. Впереди всех летит, громче всех кричит. Прическа рас-трепана.

Так в полицейском доносе – на века – записано.

Вечером пристав приходит. Нет, думает, не он!.. А пристав старый, пузатый, глупый. Рука тяжелая. Добрый...

Аккуратный, думает, какой мальчик. Небось, в гимназию никогда не опаздывал. Где уж ногой топать... И не брился, поди, ни разу...

– Вы за мной? – мальчик спрашивает. – Одну минуточку... Только потише, пожалуйста, чтобы не потревожить родных.

Застегнулся пуговка в пуговку. Шинельку надел студенческую. Щеткой себя почистил.

Господи, пристав думает, Господи!

А зима. Ночь. Снег белый. Едут на санках. Свежесть по носу бьет, и хочешь не хочешь, а улыбаешься. В семнадцать-то лет. А пристав-старичок платок вынимает, снежок с ресниц стряхивает, носом тянет, сморкается...

Подъехали. Недалеко было.

Мальчик из санок выскочил и руку приставу подал, – вылезти помогает старому человеку.

Вот пристав и говорит:

– Господин студент! Ваше благородие! Зачем вы бунтуете? Ведь перед вами – стена...

Знаете, да? И ответ его слышали. Стена, дескать, да гнилая. Пни – и развалится.

А дальше-то знаете? Что после-то было. Как в камеру привели...

Там уж вся сходка сидела. Утихли, поуспокоились. Планы на жизнь обсуждают. На будущее. Кто – в репетиторы. Кто – за границу. Кто – перед начальством каяться...

Спрашивают у мальчика, – а он среди них самый молоденький оказался, – ну и как же, мол, ты теперь? ты, мальчик?

А он пылинку с рукава снял и внятно так объясняет:
– Моя дорога известная. Мне дорогу брат указал.

– Нет, – моряки говорят, – нет, сука, не пройдешь! Я здесь подохну, а ты не пройдешь! Сам на пути лягу, а ты не пройдешь! – И под танки с гранатами укладываются.

Сюда бы Екатерину Великую из того анекдота. Пускай бы как есть вышла и на танки пошла. Вот, глядишь, и встали бы у них, поднялись до небес пушки. И горочку б нашу снаряд миновал.

Ну, покрутись перед нами, матушка! Что тебе стоит, Катенька...

ДЕСЯТЬ КОРОТКИХ ГЛАВ

Меня всегда поражало взаимодействие книги и жизни. Бумажный, косвенный человек, затерянный в примечаниях, вдруг вылезает из темноты, выступает на крупный план... Сейчас поймете, о чем здесь толкую.

ГЛАВА I. Горький, Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 534. комментарии к очерку «Ленин»:

Когда осенью 1919 года встал вопрос о возможной эвакуации Петрограда, некий рабочий, как утверждал Троцкий, будто бы сказал:

– Много им, в случае чего, достанется. Надо подвести под Петроград динамиту да и взорвать всё.

ГЛАВА II. Текст самого Троцкого по газете «Известия», 7. X. 24:

...вспоминается питерский пролетарий Воронцов, который первое время после Октября состоял при Ленине, охранял его и помогал ему. Когда мы готовились к эвакуации, Воронцов мрачно сказал:

– Много им, в случае чего, достанется. Надо бы подвести под Петроград динамиту да и взорвать всё...

– А не жалко вам, товарищ Воронцов, Петрограда? – спросил я, любуясь этим питерским пролетарием.

– А чего жалеть? Вернемся – лучше построим!

ГЛАВА III. Из сборника «Ленин – товарищ, человек», М., 1962, стр. 126:

Муж мой работал на трубочном заводе, был в Красной Гвардии. После Октября он находился в охране товарища Ленина.

Н. Воронцова, подавальщица в столовой Совнаркома.

Значит, был? На самом деле был Воронцов!.. Но слушайте дальше.

ГЛАВА IV.

Ленину понадобился надежный человек, который готовил бы еду. Муж предложил на эту службу меня, хотя знал, что большевиков я считала за антихристов. Боялась их как чертей, считала самыми вредными идолами. Я и не думала, что это люди, и признавала за духов неведомых. А Владимира Ильича – за главного. Он даже в каком-то бронированном поезде примчался (так отложился в сознании Воронцовой «пломбированный вагон», в котором Ленин проехал через Германию). Может, его Бог с неба столкнунул!

ГЛАВА V. Набираю курсивом:

С МУЖЕМ У НАС ЧАСТО БЫЛИ СПОРЫ НА ЭТОТ СЧЕТ. Я ЕГО РУГАЛА, ГОВОРИЛА, ЧТО ПРОДАЛ

ДУШУ АНТИХРИСТАМ, ИЗ-ЗА ЭТОГО НАМ ТАК ТЯЖЕЛО ЖИВЕТСЯ.

То есть ожесточение Воронцова, которым любитесь Троцкий, – оно не, что ли, чисто классовое. Имеется, как всегда, личный мотив. И к пролетарскому оптимизму, к чувству исторической правоты примешалась обыкновенная домашняя свара, когда милые бранятся – тешутся, доходя до края в обвинениях и нападках, в утверждениях-отрицаниях:

- Взорвать! Не жалко! Лучше построим!
- Идолы! Духи! Антихристы!

ГЛАВА VI.

Потом, – говорит Воронцова, – я увидела Владимира Ильича. При мне была больная девочка шести лет на костылях. Нога у нее была в гипсе из-за туберкулеза кости.

И Ленин ни разу не прошел мимо, чтоб не сказать девочке ласкового слова. То погладит, то достанет конфетку, то вынет из кармана лепешку. Придумал играть в «телефон» – сам звонил с третьего этажа, а девочка звонила ему.

ГЛАВА VII. А тут такой случай. Воронцовой выдали (по ошибке) хлеба на двадцать пять человек. А едоков пятнадцать. Ну, она обрадовалась, что своих-то накормит. Вот принесла хлеб, разложила по тарелкам – ждет, что Ленин ее похвалит. А он видит: хлеба-то много. Выяснил, что к чему, и сам излишек отрезал. Надо, говорит, это вернуть.

Понимаете?

Воронцова-то верующая. Все заповеди исполняет. А уж «не укради» – тем более. И Ленин – «антихрист» – получается перед ней праведник.

Как я вышла, – говорит Воронцова, – не помню. Только решила, что он святой.

ГЛАВА VIII. В тех же комментариях к полному Горькому присутствует запись о Троцком, что он, Троцкий (стр. 535), «наиболее чужой человек русскому народу и русской истории»...

Авторское самолюбие Горького было оскорблено (отзывом Троцкого). И всё же отдельные замечания принял. Например, в первом издании было:

Для меня Ленин – герой легенды, человек, который вырвал из груди...

Брр!... – пишет Троцкий.

И точно, в последней редакции, вроде, нет.

Вообще Ленин, по Троцкому, – интернационалист, провозвестник мировой революции.

По Горькому – русский интеллигент... патриот.

ГЛАВА IX. Разумеется, было и то, и другое. Но интересно, что вторым (после Ленина) человеком в партии, «по уму и таланту», Горький считал Красина (т. 20, стр. 553). Того самого Леонида Борисовича, который возглавил Наркомвнешторг, а в Октябре будто бы предсказал: набездобразят, наделают глупостей, а там опять удерут за границу. Горький перенес эту фразу в девятнадцатый год и сформулировал как афоризм: дураки убегут, а убытки останутся (т. 20, стр. 59). Чуть выше, на странице сорок седьмой, Ленин размышляет о Троцком: с нами, а не наш.

Эти слова, – вспоминал Горький, – я слышал от него дважды. Второй раз раз... о человеке тоже крупном. Он умер вскоре после Владимира Ильича.

О ком речь – комментарий умалчивает... Красин скончался 24 ноября 1926 года.

...на XII съезде партии, – читаю в энциклопедии, – выступил с капитулянтскими предложениями в области внешней и внутренней политики.

ГЛАВА X. Что бы там ни было – хочу, чтоб вы знали: в восемнадцатом году жила в Петрограде женщина, что ставила свечку за Ленина.

Как, бывало, пойду из дому – так и сверну в часовню...

Куда девался отчаянный Воронцов – ищи ветра в поле.

ДУРАКИ УБЕГУТ, А УБЫТКИ ОСТАНУТСЯ

Рассказ

Автор живет в Москве.

ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ 1985 – 1987 гг.

* *
*

Где найти мне слов соль
Всполошить души тишь
Чтобы прокричать в крик-вой
Этот лютый смертный бой.

Как мне рассказать тот сон
В который я погружен
Передать ту явь
Что не перейти вброд-вплавь

Где найти мне тот цвет
Что расцветит пустоту лет
Повстречать тот звук
Что озвучит немоту мук.

Как узреть мне ту мысль
Что в хаос внесет смысл
И родит ту статью
Чтобы встать.

Зову дикость, и ярость и страсть
Зову сквозь камень
И пламень
Мертвящей серости камер
И неизлечимой боли – моей неволи.

Не в силах молчать, ждать и быть
Когда остыли мгновенья
И биений

Жизненных пруть
Увязла под тюремной сенью
И черной, как сажа
Моей стражей.

Кричу! Мой крик берет стена
И гасит мой неистовый зов
Часов
И серая пена
И мерный ляг засовов
Вершит однообразно
Мою казнь

Молюсь! У Матери Святой прошу огня
Сжигающего в пепел
Крепи
Тяжкой ноши
Заточившей душу в склеп
И размазывающий по мостовой
Мою кровь...

ПРОСТРАНСТВО

Пространство замкнуто!
Пространство...
Просторы странствий
Где реет странность
И хлещет кнутом.
Пространство замкнуто.
Сжато, скручено
Пространство измучено
Заклучено
В грани
Проволоки колючей
И камня

Пространство в аркане,
в стакане,
в обмане

На коленях!
Пространство расстреляно
Пространство потеряно
Его нет там, где замкнутость.

Пространство –
Просторы странствий
Где реет странность
И бьет кнутом.

НЕ СЛЫШУ

Не слышу!

Не слышу звуков
Не слышу шорохов
Не слышу пения
Не дышу
В муке
В шоке
В онемении
Не слышу!
Ни шума – тюрьма
На шага – лагерь
Ни шелеста листа
Шестью шесть –
Места месь.
Не слышу!

Нет пищи
Нет крыши и днища
У узилищ

Нищ ум
В А К У У М
Не слышу!

Я – в неволе!
Вот мой гром
И гимн
И гамм гам
Мой разгром
Мой нимб
И мой срам

НЕ СЛЫШУ!

Бью по клавишам души
Как в глухую нишу
Не слышу!
Не слышу!
НЕ СЛЫШУ!

* *
 *

У тюрьмы
Нет рифмы
Нет ритма
Нет образа и муз
У уз.

У тюрьмы
Нет дня
Нет огня
Нет желаний и грез
Нет слез.

У тюрьмы
Нет лица
Нет конца
Нет ушей и души
У удушья и глуши.

У казни
Нет разниц
Нет глаз и глазниц
Нет хода и лета
Все стерто.

У тюрьмы
Нет надежд
Нет одежд
Нет выхода и роли
У боли
Нет рта и рук
У мук.

Нет родины и родства
У рабства!
Нет вида и яви
У бесправья!

Тюрьма – тьма
Немеркнувшего небытия
У тюрьмы
Нет Я.

У тюрьмы нет
Ничего, кроме НЕТ
Размызгано по стене
Стон, сон, суть, сила
Могила...
Камера, камень...

У тенет
Ничего нет

У тюрьмы
Есть мы.

ГУДАВА Тенгиз – родился в 1953 году в г. Самтредиа, Грузинской ССР. Отец – грузин, мать – русская. Учился в Московском мединституте вплоть до 1978 года, когда был арестован в первый раз. Второй раз был арестован в 1985 году. Оба раза – по политическим мотивам, и получал срока 4 года лагеря и 7 лет лагеря плюс 3 – ссылки. В мае 1987 года освобожден в ходе горбачевских «помилований», хотя помилования не просил. Условием освобождения власти поставили эмиграцию из СССР. 8 сентября 1987 года прибыл с женой, ребенком, братом и матерью в США, живет в Нью-Йорке.

ПОДПОРЧЕННЫЙ СОНЕТ

Но я предупреждаю вас,
Что я живу в последний раз.

Анна Ахматова

Живу – до смерти: вот и весь мой сказ!
А раньше смерти – не помру, поверьте.
Живу! И даже в свой последний час
Я отведу глаза свои от смерти
И буду пялиться – на вас, на вас!

Что ТАМ – не знаю. Здесь же и сейчас
Все-все – мое! Ни ангелы, ни черти
Не в силах оторвать меня от вас,
Какие вьюги нами ни завертят
(А вьюги – все – нам были в самый раз!),

Мне так хотелось тихого житья,
Что даже муза резвая моя
На мир и тишину была согласна,

Но шесть десятков лет, из году в год
Господь мне угомону не дает,
А я, учтите, Господу подвластна –

И вот – живу, живу – в последний раз...

I

Жил человек один в моей стране.
Жил человек – и мы в ней жили-были.
Сородичи! Как это срамно мне,
Что с *ними* вместе мы его убили!

И с этих пор мне некуда девать
Сей срам! Все мельтешит, мелькают лица,
Где наши и где ваши – наплевать:
Теперь нам суждено навеки слиться.

Живем, и нам бывает хорошо,
Когда мы вместе, и смеются дети.
Но он-то с нами шел – и не дошел.
Его убили – нам не жить на свете.

Всю жизнь висел у бездны на краю,
Всю жизнь над ним витала злая птица...
Ах, стыдно мне за Родину мою,
Что вечен бой, и что покой лишь снится.

январь 87 г.

II

Бледно-розовый февраль,
Сизый, дымчатый, молочный!
Все святое непорочно
Ты вбираешь, глядя вдаль.
Тихо, тайно смотришь ты,
Возвратить нам обещая
Все, чего душа не чаёт,
И глаза твои чисты.

И чисты твои снега,
И, секунды отмечая,
Сгоряча не отличая
Даже друга от врага,
Мы поверили в тебя,
Потому что так природно,
Так светло и благородно
Верить, вторить, жить, любя...
Но прищурь глаза свои:
В чистом поле все, как было:
Чистопольская могила,
Как раскрытая, стоит...

87 г.

НАРОДОВОЛЬЦЫ

Утоляя любые невзгоды
И любой разрушая уют,
Ваши восьмидесятые годы
Сквозь столетье пред нами встают.
Не бывает ни рано, ни поздно.
Не касается времени лет
Строгих ликов красавиц серьезных
И красавцев с глазами, как лед.
С ваших стен не смывается копоть:
Все у вас заготовлено впрок:
Динамит, револьверы, подкопы,
И – на экстренный случай – клинок.
И все глубже впивается жало,
И зигзагом бежит через век,
Ударяя от пуль и кинжалов,
Пожилый и больной человек.
Смерть за смерть – подобает мужчинам,
Жизнь – за жизнь, кровь – за кровь, дурь – за дурь,

И работает лихо машина
Удушений, и каторг, и тюрем!
И не зря мое имя Марлена,
И не зря я сложила сей стих:
Бог велел – до седьмого колена
Отвечать нам за предков своих!

2

Все, кто оружие с омерзеньем в руки
Берут, не вынеся обычного житья,
То бишь, кто – пошлости, кто – подлости, кто – скуки, –
Они понятны мне, как старые друзья.

И знаю я, что путь их благороден,
И я люблю, что души их чисты,
И верю я: кто умер – тот свободен
От лишней и обидной суеты...

Беда лишь в том, что дело их не ново:
Всё от врага – да к злейшему врагу!
А все оружие – «царственное слово».
Нам сказано – в начале было Слово,
И я молюсь – в конце услышать Слово,
И силою владеет только Слово,
И чудеса свершает – только Слово
На нашем бедном жизненном кругу.

84 г.

ПОЭТ И ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК
(диалог)

Гр. начальник (входит)	Все пишете? не надоело? Ну-ну, пишите! Ваше дело – писать, а наше – вас читать... Вы, все же, прочим – не чета!
---------------------------	--

Поэт молчит.

Гр. Начальник: Сказать вам откровенно, видел
писанья ваши я в гробу!
Вы ж нынче классик, общий идол,
а мы – тащи вас на горбу...

Поэт молчит.

Гр. Начальник: Что делать? Служба! Хлеб насущный
утробе смертного присущий,
не добывается легко...
Да что? Ходить недалеко
мне за примером: сколько, бишь,
вам заплатили в «Континенте»
за вирши новые?

Поэт молчит.

Гр. Начальник: Все бдишь?
Все молча, как на киноленте
старинной! Но учти, однако,
запомни! Будешь, как собака,
мне туфли старые лизать!

Поэт молчит.

Гр. Начальник: Молчишь? Молчи! Не я, так зять,
Не он, так деверь – доконаем,
заговоришь!
Расскажешь, вошь,
Почем Россию продаешь!
Куда летишь, о чем поешь,
Зачем тебя мы догоняем?

Поэт:

Заснул я, вроде, не пойму!
Мне что-то снилось... Вновь тюрьму
во сне увидел, и в оконце
жемчужный, розовый рассвет
в решетках... Мне семнадцать лет,
а где-то воля, где-то солнце...
И рифмы, звонкие, как медь
в колоколах – начнут греметь –
и нет как нет тюрьмы...

Однако,
здесь, вроде, лаяла собака,
как будто бы пищаламышь
или комар зудел под ухом?

(увидев гр. начальника)

А-а! Так и есть! И сном
и духом!

(укоризненно)

Чуть я уснул – и ты
шумишь!

АНАТОЛИЮ КОРЯГИНУ

Не успели узнать, полюбить, попривыкнуть – и хватъ –
расстаемся...
Что ж, кто музыку здесь заказал – хоть и плачет,
а все-таки, платит.
Так же плакать и нам бы, а мы-то, как нанялись словно,
смеемся.
...Улыбаемся, впрочем: смеяться – на это нахальства
не хватит.

Значит, вот как: опять провожать нам друзей дорогих
выпадает!
Значит, меньше нас будет, хотя уж куда бы, куда –
уменьшаться!
Что за век, что за рок, что за бог сторожит, что за
пошестъ витает,
Что же делать, и кто виноват, и доколь – хоронить да
прощаться?

Но утешимся вот чем: и те, кто уходит, и кто остается
на месте –
Ведь не властны над нами ни время, ни версты,
ни гибель, ни случай:
Неразрывною нитью мы с вами повязаны вместе,
Все равно эта боль, хоть разлукой зовется, а нас
не разлучит.

Март 87 г.

ОСЛЕПИТЕЛЬНА ЖИЗНЬ...

Ослепительна жизнь напоследок.
Светоносны дожди и капли!
А с утра еще птицы запели!
Хоть ты так посмотри, хоть ты эдак –
Ослепительна жизнь напоследок.

И пока еще главные муки
Не настигли, и дух еще дышит,
Даже боли корявые руки –
И они – лишь историю пишут
Нашей жизни, любви и разлуки.

Все далось – наслаждение, мученье,
И любви, и дружества узы,
И наполнены точным значеньем
Недомолвки, размолвки, союзы,
Каждый каждому – врач и лечение.

Ах, как будничным день этот редок!
И все звуки – от смеха до плача –
Понимаются лучше, иначе,
Стали рядом потомок и предок...
Ослепительна жизнь напоследок!

Апрель 88 г.

...ОДНА ЛЮБОВЬ

Одна любовь – и больше ничего!
Одна любовь – и ничего не надо!
Что в мире лучше любящего взгляда?
Какая власть! Какое торжество!

Вы скажете: «Но существует Зло,
И с ним Добро обязано бороться!»
А я вам дам напиться из колодца:
Любовь и нежность – тоже ремесло!

Любовь и нежность – тоже ремесло,
И лучшее из всех земных ремесел!
У ваших лодок нет подобных весел,
И посмотрите, как их занесло!

«Увы, мой друг, – вы скажете, – как быть?
Любовь – и слабость или злость – и сила?»
Кому что надо и кому что мило!
Вам – драться, им – ломать, а мне – любить...

А мне – во имя Сына и Отца,
Во имя красоты, во имя лада...
Что в мире лучше любящего взгляда?
И только так, до самого конца!

70-е гг.

МОЛИТВА

Стоит старый дуб посреди пути,
что на две дороги расходится:
Эх, пора бы знать, по какой идти!
И не хочется – да приходится...

Дятел тук да тук – посреди дорог,
мое имя тук, мое отчество.
Помоги мне, дух, помоги мне, Бог,
полюбить мое одиночество.

И не слыша, что здесь стучит лото
и счастливчики награждаются,
совершить все то, завершить все то,
для чего на свет нарождаются...

Да, ничтожна плоть и отвратен тук:
не Величество, не Высочество,
ну а все же, все ж – дятел тук да тук,
мое имя тук, мое отчество...

Вышла в свет книга Анатолия Ведрицкого
«Происхождение и развитие человечества»
(180 стр.), в которой раскрыта реальность сотворения человечества наиболее совершенным существом во Вселенной (Богом) и Его косвенное влияние на развитие человечества в прошлом, настоящем и будущем времени, а также предопределённая роль в этом евреев.

Заказы направлять:
Ведрицкий, POB 28065, Тель-Авив.

ИЗ КНИГИ «ИГРА В АДУ»

PARTOUT LA MÊME CHOSE

Везде все то же, и все та же здесь
советская немыслимая смесь –
laisser-aller, и пыточка, и месть
– так, ни за что, и кровь и без
предела...

И размывая остов бытия,
спасительного хаоса струя,
почти согласие прям его лия*,
в тюремный быт вливается несмело.

1985

* * *

Сладковато-тошнотворный
теплый воздух коридорный
тянется в окно.

Хлебом пахнет или потом,
пылью или креозотом –
право, все равно.

Воздух мертвый, воздух горький...
И струя седой махорки,
сизой и густой,
от соседской самокрутки
разбавляет злой и жуткий
каторжный настой.

* Прям. – дат. падеж слова пря. Боратынский. «Смерть».

А навстречу из фрамуги
в задыханных черной выюги
со двора тюрьмы
истекает в клубах пара
смесь морозного развара
да январской тьмы.

И колеблясь в дымном свете,
тусклый воздух двух столетий
 чертит невольно
вечных врат стопою скорой
попираемые створы
«Сшествя во ад».

* * *

Оранжевые цветы под налетевшим снегом.
Вызолочена позолота не дальней рощи.
Нежных хлопьев косым разбегом
за мороженый, я подумал, что проще

было бы не жить, чем жить. – Божественный
 мрак,
 сыны света, власть тьмы... Путешественник
 на край ночи
 утомлен. Впрочем не как
 я хочу... О, Light invisible... впрочем...

* * *

Приснился арест – так знакомо: беспомощность, ступор и страх. Злокачественен, как саркома, сказать – безнадежней, чем рак.

**Беспамятством взвешенной жизни
забыться судьба не дает.
Спасибо, спасибо отчизне –
воистину любит, раз бьет.**

* * *

Может, уже и довольно – но все-таки этот белый забор дощатый, этой колючей проволоки путаница, круги, пируэты на шипах – еще сберегают случай

сообщить навсегда, что в среду,
к одиннадцати ноль-ноль,
тысячелетнее царство еще стояло. Что мыши
серы, а волки сыты. Что отечества ледяной
дом на песке врос в вечную мерзлоту
по крышу.

APRIL IS THE CRUELLEST MONTH

«...Над серым щебнем дикий гиацинт...»:
– Когда-то Бродский...

впрочем, по порядку.

Стоял декабрь – оттепельный, влажный декабрь. В соседней стратосфере шел спор Арктики с Атлантикой, теснявшей положенную зиму вспять на север, и мокрые деревья и дома

под стылым неба жемчугом, под ветром
вздымавшим толчею стоячих волн
навстречу невскому теченью (впрочем,
до наводнения дело не дошло) –
смотрелись в ту коричневую слякоть,
цветущую на старых диабазах,
а где и на булыжных мостовых
(ушедших за торцами следом в Лету)
– которую уже воспел Поэт.

В такое-то – исполненное желчи
и горечи, и питерского spleen'a,
пустынное (недавно рассвело)
и равнодушно-тягостное утро
часу в десятом я зашел за Бродским,
недавно возвратившимся из ссылки:
я должен был свести его куда-то
за чем-то, что настолько было важно
тогда, насколько ничего не значит
сегодня. Я нашел его в постели
(я опускаю долгое lever,
приватный кофий, сваренный на плитке
в его невероятном ложементе
из ящичков, зеркальных платяных
шкафов, на них – фанерных чемоданов,
которыми он смог отгородить
себе немного privacy; затем
неторопливый ритуал бритья
и одеванья под концерт для двух
клавиров Баха в польском исполнении,
тогда звучавший как соната Франка
fis-moll'ная для Свана). Наконец,
он был готов, и мы пустились в путь:
прошли Литейным мимо Дома, где
он как-то пробыл долгий зимний месяц
и чудом выскочил, а мне еще
там суждено было осесть спустя

семнадцать лет; свернули на Неву
и долго шли по набережной сонной,
беседуя об этом и о том,
– под стылым неба жемчугом, под ветром
крутившим толчею стоячих волн,
всегда противных невскому течению,
– и тут, когда мы не спеша дошли
до пленных лип за чугуном решетки
(увы, немного оперной) – в июле
выплескивающих поверх нее
избыточную роскошь прозябания,
а ныне выступающих в обличье
довольно жутком, если присмотреться
– скелетов, трупов, призраков деревьев,
застывших в зимней мокрети,
– о чем
подумал он, какой нездешний берег
пригрезился ему тогда, какое
видение весны, что став на месте
он вдруг таким обмолвился стихом:

– над серым щебнем дикий гиацинт, –

сказав, что это тема для сонета,
который, мол, я должен написать
и принести ему, о чем забыли
мы оба тотчас.

И прошли века.
Точнее, четверть века. Уж давно
поэт-король, поэт-избранник Бродский
(друзья шутили, что как будто сам он
кого-то нанял, чтобы тот ему
устраивал «судьбу поэта»); я же
простой советский заключенный; слышал,
что он меня злословил – поначалу
не верил, удивлялся, а потом

за дальностью и давностью почти что
забыл об этом.

...Как-то по весне,
натужной, поздней, точно из-под палки
тягающейся с мачехой-зимой,
как будто нехотя отвоевавшей
у тщательно укатанных снегов
площадку метров десять на пятнадцать, –
я вышел побродить туда (на малом
– я это замечал еще на флоте –
и замкнутом пространстве есть всегда
немного места для уединенья),
и чтобы не смотреть по сторонам
(не ранить взора) – я глядел под ноги,
где тоже было мало красоты:
щебенка, дранка, прошлогодний мусор,
все мокрое и склизкое... осколки
когда-то недобитого стекла
на кучке щебня... а над ней читатель
уж, конечно, понял, что над ним,
над серым щебнем, я, склонясь, увидел
голубоватый дикий гиацинт,
благоухавший в этой нищете,
процветший над бесплодной землею,
не ведающей Леди гиацинтов,
– землей, которой бесконечно чужды
мои пенаты, Бродский, Петербург,
коричневая слякоть, я – тогдашний
и нынешний, зимующие липы,
решетка сада, встречный ветер, дружба,
декабрь, утраченное время, склонность
к предательству, клавирные концерты,
Петрарка, ненаписанный сонет –
венки сонетов... ветренная младость,
Россия, Лета, Элиот, Нева
и выморочно-пепельное утро

под стылым неба жемчугом – мгновенья
из времени в безвремье прорыв,
и этот вот из вечности проросший
над серым щебнем дикий гиацинт.

1986, май.

МЕЙЛАХ Михаил Борисович – родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил Ленинградский университет, филолог, кандидат наук. Автор статей и книг по поэзии трубадуров, публикатор Д. Хармса и А. Введенского, автор статей и воспоминаний об Анне Ахматовой. В 1983 году арестован по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде и осужден на семь лет лагерей и пять лет ссылки. Освобожден в 1987 году. Живет в Ленинграде.

ИЗ СТИХОВ САМЮЭЛЯ БЕККЕТА

Перевод с английского

* *
*

они приходят
другие всё те же
и с каждой всё иначе и всё точно так же
и с каждой нет любви иначе
и с каждой нет любви точно так же

1937

* *
*

что бы я делал без этого мира безликого равнодушного
гда бытие мимолетно и каждый миг
растворяется в пустоте в забвении бытия
что бы я делал без этой волны куда канут
и тело и тень
что бы я делал без тишины где умирает шепот
без этой неистовой жажды помочь и любить
без этого неба парящего
над балластом праха

что бы я делал и что я делал вчера и позавчера
когда в иллюминатор пытался увидеть другого
блуждающего как и я вдали от жизни

^

в водовороте пространства
среди беззвучных голосов
переполняющих тайну

1948

CASCANDO

1.

почему не просто перестать надеяться на
случай на
поток слов

не лучше ли выкидыш чем бесплодие

с тех пор как тебя не стало свинцовое время
ползет слишком быстро
когти часов слепо царапают пустоту
тревожа прах любви
впиваясь в глазницы полные когда-то глаз твоих
не лучше ли раньше чем никогда
небытие заливает лица
повторя снова любимых не отнимут ни девять дней
ни девять месяцев
ни девять жизней

2.

повторя снова
если ты не научишь меня, я не научусь
повторя снова есть последнее
из последних времен
времен мольбы
времен любви

времен, когда знаешь что не знаешь и притворяешься
последнее из последних времен когда есть слова
если ты не полюбишь меня никто меня не полюбит
если я не буду любить тебя я не буду любить никого

в сердце снова мешанина слов
любовь любовь любовь чавкает старый поршень
взбивая всё ту же
сыворотку слов

и снова страшно
не любить
любить но не тебя
быть любимым но не тобой
знать что не знаешь и притворяться
притворяться

собой и всеми кто любит тебя
если они любят тебя

3.

если только они любят тебя

1936

* *
 *

я хотел бы чтоб любовь моя умерла
и хлынул дождь на кладбище
и на меня бредущего по дороге
оплакивая ее первую и последнюю
которая думала что любит меня.

1948

ПЕСЕНКА С РЕФРЕНОМ

на берегу
на исходе дня
одинокий звук шагов
одинокий долгий звук
и вдруг тишина
ни звука
на берегу
долго ни звука
и вдруг опять
одинокий звук шагов
одинокий долгий звук
на берегу
на исходе дня

1976



Израильский журнал на русском языке не только для евреев. Каждую неделю: Интервью с политиками, экономистами, эмигрантами и новоселами. — Обзор израильской печати («Маарив», «Едиот ахронот», «Харец», «Джерузалем пост» и т. д.) — Лучшее из журналов Свободного мира. — Самиздат. — Роман в продолжениях. — Письма читателей. — Дискуссии без цензуры. — Новые рассказы и повести советских русских авторов. — Что происходит по ту сторону кордона и др.

РУССКИЕ КНИГИ

- КЛАССИКИ
- САМИЗДАТ
- ЛИТЕРАТУРА ЗА РУБЕЖОМ
- РЕДКИЕ ПЕРЕИЗДАНИЯ
- СЛАВИСТИКА

Представительство журнала

«КОНТИНЕНТ»

На складе более 3000 наименований книг

Вышел из печати наш новый большой каталог 1985/86.
Высылаем бесплатно по первому требованию заказчика.

Subscription inquiries
should be addressed to



A. Neimanis • Buchvertrieb

8 München 40 Bauerstr. 28 • Germany

Россия и действительность

Александр Зиновьев

МАНИФЕСТ СОЦИАЛЬНОЙ ОППОЗИЦИИ

Предисловие. Я неоднократно обращал внимание на неоднородность оппозиционного движения в России в прошедшие годы и выделял в нем одну тенденцию, которую я назвал социальной оппозицией (см., например, статьи в №№ 44, 51 и 53 журнала «Континент»). В этой статье я хочу несколько подробнее разъяснить, как я представляю себе эту форму оппозиции и ее перспективы. При этом я буду вместо слова «Я» употреблять слово «Мы», но не потому, что уже имеется много участников социальной оппозиции, разделяющих мои взгляды (этим я как раз не могу похвастаться), а исключительно по той причине, по какой так поступают многие авторы научных и публицистических сочинений: слово «Я» вызывает у читателей впечатление раздражающей нескромности, тогда как слово «Мы» придает тексту вид успокаивающей безличности. И назвал я свою статью манифестом не из претензии указывать новые пути человечеству, а с целью оттенить литературную форму текста, а именно – его безапелляционно декларативный стиль.

Название оппозиции. Мы называем себя оппозицией социальной, а не какой-либо иной, руководствуясь следующими соображениями. Прежде всего, мы тем самым хотим отличить себя от исчерпавшего себя диссидентства, от конъюнктурного антисталинизма и антибрежневизма, от либерального и культурного фрондерства, от национализма, от религиозного сектантства, от псевдооппозиционных «неформальных» групп, использующих перестроечную демагогию советского руководства и временные послабления режима, от притворной игры властей и их холуев в критиков советского общества. Мы находимся в оппозиции не к отдельным негативным фактам советского образа жизни, а к самому социальному строю, к системе власти и к идеологии страны, причем – не

временно, а на все времена, пока существует коммунизм. Для нас состояние оппозиции есть не конъюнктурное средство в каких-то корыстных расчетах, а сознательно избранное жизненное призвание.

Называя себя оппозицией социальной, а не политической, мы тем самым хотим подчеркнуть, что не имеем ближайшей целью разрушение социального строя в нашей стране и даже реформирование его. Это не означает, что мы принимаем его. Это означает, что мы хотим действовать по правилам серьезной истории. Мы реалисты. Если бы нам было известно лучшее социальное устройство и если бы мы были уверены в возможности его реализации, мы стали бы бороться за него без колебаний. Но, увы, мы пока не видим такой перспективы. Мы ставим перед собою более фундаментальную цель, а именно: борьбу за создание в нашей стране условий, в которых достаточно большое число граждан смогло бы начать обдумывание путей прогресса в интересах широких слоев населения, а не в интересах привилегированных слоев и правящей верхушки. В современных условиях никакая оппозиция не способна организовать жизнь общества лучше, чем это делает существующее руководство. Тем более, в ближайшие десятилетия вообще не предвидится никакая возможность для оппозиции принимать участие в системе власти и управления страной. Поэтому мы считаем бессмысленными всякие политические цели в качестве реалистических целей оппозиции.

Мы считаем, что в современных условиях никакие преобразования коммунистического общества, сохраняющие его социальный строй, систему власти и идеологию, неспособны радикально изменить образ жизни населения страны. Незначительные же преобразования может осуществить само руководство обществом. Мы не хотим в этом становиться его добровольными помощниками. А чтобы созрели здравые идеи радикальной (а не фиктивной и пропагандистской, какой является горбачевская) перестройки общества и реальные условия для нее, нужен длительный исторический процесс. Мы отвергаем всякий реформаторский авантюризм. Мы не намерены дурачить массы соотечественников лозунгами, которые либо в принципе нереализуемы, либо в реальном исполнении ведут к еще худшим последствиям, чем те явления, против которых они направлены. Мы не хотим участвовать в бессмысленных попытках изнасиловать исторический процесс в угоду абст-

рактным идеям и не считаясь с объективными социальными закономерностями. Мы не хотим участвовать в словоблудии, которое неизбежно возникает в ситуации, когда в оппозиционное движение вовлекается масса случайных людей, начиная от конъюнктурщиков и кончая партийными чиновниками. Мы намерены быть оппозицией на основе интеллектуальной добросовестности, здравого смысла и моральных принципов.

Наш подход к коммунизму. Наш статус социальной оппозиции определяется прежде всего тем, как мы подходим к пониманию нашего общества. Мы считаем, что наше общество является коммунистическим, реальным коммунизмом. Мы отвергаем марксистское учение о коммунизме как ненаучное. Мы настаиваем на научно объективном понимании коммунизма. При этом мы имеем целью разрушение всяких иллюзий насчет коммунизма как общества всеобщего благополучия, равенства и справедливости.

Мы называем коммунизмом такое общество, в котором имеет место следующее. Ликвидированы классы частных собственников. Национализированы или социализированы все средства производства и вообще все сферы человеческой деятельности, имеющие общественное значение. Все взрослое трудоспособное население организовано в стандартные деловые коллективы. Основная масса граждан отдает свои силы и способности обществу и получает средства существования через свои деловые коллективы. Все они суть служащие государства. Создана единая централизованная система власти и управления, пронизывающая все общество во всех измерениях. Создана единая государственная идеология и мощный аппарат идеологической обработки населения. Созданы мощные карательные органы и органы охраны общественного порядка. Централизована и унифицирована система воспитания и образования молодежи. Сложился устойчивый образ жизни, в результате которого естественным образом воспроизводится коммунистический тип человека и коммунистические общественные отношения.

В нашей стране такое общество уже построено, построен самый полный коммунизм. Мы таким образом отвергаем марксистское различие двух стадий коммунизма – низшей (социализма) и высшей (полного коммунизма). Определение и различение типов общественного устройства по принципам рас-

пределения жизненных благ и тем более по степени изобилия есть свидетельство социологической безграмотности такого подхода. Если принцип марксистского полного коммунизма «Каждому – по потребностям» понимать не обывательски, не в смысле удовлетворения любых желаний людей, а социологически, т. е. в смысле удовлетворения общественно признанных потребностей, то он реализован в нашей стране давно. Он реализуется вообще во всяком стабильном обществе в более или менее нормальных условиях. Реализация его вполне сочетается с низким жизненным уровнем. А высокий жизненный уровень не есть специфика коммунизма. С этой точки зрения, западные страны неизмеримо ближе к состоянию изобилия, чем коммунистические страны. Общество изобилия на основе коммунизма вообще невозможно в силу самих внутренних закономерностей коммунизма. Коммунизм в принципе есть общество дефицита, а не изобилия. Коммунизм не устраняет социальное и материальное неравенство людей, не устраняет несправедливость, насилие и прочие язвы, которые марксизм приписывал классовым обществам прошлого, а лишь меняет их исторические формы и добавляет к ним свои новые.

Мы отвергаем широко распространенное мнение, будто реальный коммунизм есть воплощение в жизнь марксистских идеалов, будто он навязан кучкой идеологов массам населения путем насилия и обмана, вопреки воле, желаниям и интересам масс. Коммунизм есть социальная организация масс населения, а не просто политический режим, который можно изменить распоряжениями начальства. Он сложился в нашей стране не по марксистскому проекту и не по воле марксистских идеологов, а в силу объективных законов организации больших масс населения в единый социальный организм. Он явился результатом исторического творчества миллионов людей. Люди, строившие его, либо вообще не имели никакого понятия о марксизме, либо знали его весьма смутно и интерпретировали его на свой лад. Кроме того, коммунизм в нашей стране сложился не на пустом месте. Он имел предпосылки в предреволюционном русском обществе. Это – централизованный государственный аппарат, привычка масс населения к подчинению властям, универсальные отношения людей в больших объединениях. Ликвидировав классы частных собственников, Октябрьская революция расчистила почву для социальных отношений, ставших базисом нового общественного устрой-

ства. То, что получилось на деле, лишь по некоторым признакам похоже на марксистский проект.

Коммунизм обладает целым рядом качеств, являющихся соблазном для миллионов людей в нашей стране и во всем мире. Среди них можно назвать такие, как гарантированная работа, гарантированное удовлетворение минимальных жизненных потребностей, сравнительно легкие условия труда, формальная простота жизни, вовлеченность в жизнь коллектива, освобождение от забот, связанных с собственностью, и многие другие. Коммунизм в нашей стране держится уже как привычный и пока еще приемлемый для большинства граждан образ жизни. Если бы советское руководство вдруг задумало «отменить» его, оно встретило бы сопротивление широких слоев населения. Но за достоинства коммунизма приходится расплачиваться сравнительно низким жизненным уровнем, прикреплением к местам работы и жительства, тотальным контролем коллективов за индивидами и власти за всем обществом, отсутствием демократических свобод и прочими дефектами коммунистического образа жизни, которые стали объектом оппозиционной критики в прошлые годы и официально признаны теперь. Кроме того, эти блага коммунизма, как выяснилось теперь, не являются неизбежными. Сыграв свою роль в укреплении коммунизма, они оказались под угрозой ограничения и даже частичной ликвидации. Гражданам коммунистического общества предстоит еще сражаться за них во всю последующую историю коммунизма. Сами завоевания коммунизма станут объектом специфически коммунистической формы социальной борьбы.

Мы видим свою задачу в том, чтобы разъяснить людям неразрывную связь достоинств и недостатков коммунизма, причем как такую связь, в которой недостатки суть закономерные следствия достоинств. Мы, далее, видим свою задачу в том, чтобы разъяснять, что достоинства коммунизма не даются автоматически самой социальной организацией, что за них нужно сражаться постоянно, что их уровень зависит от социальной активности населения.

Мы утверждаем, что из самой сущности коммунизма с необходимостью вырастет отсутствие у людей заинтересованности в повышении производительности труда, тенденция к застою в экономике, коррупция, бюрократизм, халтура, очковитерательство, карьеризм, бесхозяйственность и прочие

общеизвестные язвы советского образа жизни. Мы считаем их не результатом ошибок руководства и некоторых плохих свойств отдельных людей, а закономерным продуктом самого коммунистического социального строя. Коммунизм обречен вечно жить с ними и вечно бороться против них в интересах самосохранения. Мы не одобряем эти явления, но и не призываем граждан бороться против них. Это – не наше дело. Мы суть оппозиция не внутри власти, а вне ее и к ней. Наша особая функция – вскрывать причины таких явлений и разъяснять населению доступными нам средствами. На вопрос, а что дальше, какова цель такой работы, мы отвечаем так: сама по себе эта задача требует для своего решения не одного поколения энтузиастов, а как распорядятся люди полученными с нашей помощью знаниями, это дело далекого будущего. А пока формирование научно объективного понимания происходящего есть самая что ни на есть практическая задача оппозиции.

Наше отношение к власти. Коммунизм есть всеобщая организация населения страны в систему отношений начальствования и подчинения. Здесь власть есть орудие внутренней организации масс людей, а не нечто внешнее им и стоящее над ними, – есть форма и средство самоорганизации. Система власти (государственный механизм или, коротко говоря, государство) вырастает здесь из потребности обеспечить существование страны как единого социального организма, вырастает как грандиозная система учреждений, функцией которой является сохранение целостности общества и управление им как единым целым. Так что марксистская теория возникновения государства оказалась ложной в отношении государства коммунистического. И она тем более оказалась ложной, «предсказав» отмирание государства при коммунизме. Коммунистическое общество без государства в такой же мере возможно, в какой возможен сложный и развитый биологический организм без центральной нервной системы. Государство при коммунизме не исчезает, а, наоборот, превосходит все прошлые формы государственной машины как по размерам, так и по роли, играемой в жизни общества. Оно тут превращается в нечто большее, чем его предшественники, – в сверхгосударство.

Вырастая из недр общества, коммунистическое государство превращается в своего рода сверхобщество, живущее

за счет общества, в которое оно погружено. Здесь уже не государство служит обществу, а, наоборот, общество становится ареной и материалом деятельности сверхгосударства, сферой приложения его сил, средством удовлетворения его амбиций и потребностей. Сверхгосударство становится монопольным субъектом истории. Его жизнь со всеми его официальными спектаклями навязывается всему обществу в качестве всеобщего жизненного спектакля, в котором членам обычного общества (общества первого уровня) отводится роль исполнителей воли власти, статистов, почитателей и восторженных зрителей.

В сферу внимания коммунистического сверхгосударства в принципе входят все аспекты жизни страны, включая внешнюю политику, внешнюю торговлю, промышленность, сельское хозяйство, культуру, спорт, быт и отдых людей, воспитание детей. Нет такого аспекта жизни людей, который так или иначе не подлежал бы контролю со стороны свехгосударства. Если что-то и выпадает из-под его контроля, то это происходит в силу отклонения от фундаментального принципа тотальной подконтрольности, а не в силу отказа сверхгосударства от этого принципа. Последний здесь обладает такой практической силой, что сверхгосударство подчиняет жизнь всего общества интересам управляемости. Интересам управляемости служит и система планирования, и прикрепление граждан к местам работы и жительства, и транспортные ограничения, и дефицит предметов потребления и жилья, и общественная работа, и карательные органы, и система образования и трудоустройства, и организация деятельности предприятий и учреждений.

Коммунистическое сверхгосударство имеет сложное строение. Основу и стержень его образует то, что в Советском Союзе обозначают словами «коммунистическая партия». Партия в коммунистической стране не есть некая единая организация в смысле западных партий, включая коммунистические. Она распадается на множество автономных партийных организаций в первичных коллективах и на партийный аппарат, образующий основу, стержень, скелет, мозг и волю всей системы власти и управления. В стране может формально существовать несколько «партий». Но это не меняет сути дела. Все равно какая-то совокупность учреждений станет играть ту же роль в обществе, какую играет партийный аппарат в Совет-

ском Союзе. Коммунистическое общество есть в принципе общество беспартийное в западном смысле, лишь принимающее обманчивую форму «однопартийного», а возможно — и «многопартийного».

Есть два способа и два аспекта воспроизводства системы власти и управления: 1) отбор кандидатов и назначение на посты сверху; 2) выборы путем голосования из числа кандидатов, выдвигаемых снизу. Для коммунистического общества характерным является первый способ. Второй играет роль подчиненную, санкционируя предрешенные результаты первого и маскируя его. При отборе кандидатов на посты в соответствующих инстанциях аппарата власти, контролирующих эти посты, рассматривается не один подходящий человек, а многие. Но если даже выборы будут и формально производиться из двух или более кандидатов, последние заранее будут отобраны так, что их различия не будут оказывать существенного влияния на то, как они будут выполнять свои функции на избранном посту. Существенно здесь не то, что выборы будут производиться из нескольких кандидатов, а то, кто при этом будет избран и как он будет вести себя на избранном посту.

Исходя из нашего понимания коммунистического государства, мы отвергаем лозунги многопартийности, выборов чиновников из многих кандидатов и прочие требования «демократизации» системы власти, считая их вздорными. Все требования такого рода могут быть осуществлены самими властями, а сущность системы власти от этого нисколько не изменится. Она лишь получит дополнительные средства маскировки и обмана населения. Мы не восторгаемся никакими заявлениями и обещаниями властей, не ищем в них некие прогрессивные силы и тенденции, не участвуем в их псевдореформаторской суете. Коммунистическая власть в принципе не заслуживает доверия и поддержки нашей оппозиции.

Лишь один пункт марксистского учения о государстве сохраняет силу в отношении коммунистического государства: последнее срастается с привилегированными слоями общества, становится защитником их интересов в первую очередь. В этом смысле оно является орудием высших слоев населения держать в узде прочее население и эксплуатировать их в своих интересах. Более того, здесь государство само становится ядром и основой эксплуататорских «классов» общества.

Структура населения. Наша оппозиция существует не для самой себя и не изолированно от нашего народа. Поэтому вопрос о социальной структуре населения имеет для нас первостепенную важность. Мы констатируем как факт социальную неоднородность советского общества, разделение его на слои с различными условиями жизни и интересами. Мы считаем официально признаваемое разделение людей на классы рабочих и крестьян и интеллигентскую прослойку идеологической пустышкой, отвлекающей внимание от более важного для коммунизма разделения граждан на иные социальные категории. Рабочий класс в марксистском смысле слова в коммунистическом обществе исчезает вместе с классом капиталистов. Остаются рабочие как особая категория людей, занятых непосредственно физическим трудом. Эти люди принадлежат к низшим слоям населения. Идеология до сих пор утверждает сказку о рабочих как о главном классе общества. Но в нее уже никто не верит. Если человек имеет шансы перейти из рабочих в более высокую категорию, он это обычно делает. Рабочими становятся обычно те, кто не имеет возможности лучше устроиться в жизни, и те, у кого нет более высоких жизненных претензий. Сами рабочие не являются однородной массой. Среди них имеют место различия, исключаящие общие интересы как постоянный фактор их образа жизни. Рабочие являются членами коллективов, состоящих из людей различных категорий. И решающая роль в этих коллективах принадлежит не рабочим, а всякого рода начальникам. Рабочие различных коллективов не объединяются в более обширные группы независимо от органов власти и управления. Профсоюзные организации объединяют всех членов коллективов, начиная от уборщиц и кончая директорами, и не являются специфически рабочими организациями. Тем более это касается партийных организаций. Деятельность их ограничена рамками первичных коллективов. В стране возникло огромное число учреждений и предприятий, в которых рабочих ничтожно мало и роль последних незначительна.

Потеряло смысл и понятие крестьянства. Социальная структура деревенского населения стала приближаться к городской в смысле разделения людей на характерные для коммунизма категории. Колхозы доживают свой век. Никакие меры властей, поощряющие частную инициативу в де-

ревне, не способны остановить процесс коммунистического структурирования деревенского населения.

Аналогично обстоит дело с понятием интеллигенции. К какой категории, например, отнести сотни тысяч людей с высшим образованием, работающих в милиции, в КГБ, в военных институтах и штабах, в учреждениях власти? Десятки тысяч писателей, журналистов, художников, артистов, ученых суть функционеры аппарата власти и управления, работники идеологической и пропагандистской машины. Огромное число чиновников системы власти и управления суть образованные люди, занятые умственным трудом. Все признаки, по которым ранее отличали интеллигенцию от прочих граждан, утратили роль специфических отличий.

Определяющим для коммунизма является различие людей не по отношениям собственности, не по сферам занятости, не по профессиям, а по социальному положению в коллективах и в обществе в целом. В основе социального структурирования населения коммунистической страны лежат отношения начальствования и подчинения, обусловленные самим фактом объединения людей в группы и последних в более сложные коллективы и в единый социальный организм. Но было бы крайне абстрактным остановиться на этом. Подавляющее большинство начальников само находится в подчинении других, более высоких начальников. Имеются многочисленные факторы, делающие границы между людьми различных категорий неопределенными и изменчивыми. И все же в реальной жизни происходит расслоение массы населения в зависимости от их социального статуса. Последний характеризуется следующими параметрами: положение на иерархической лестнице социальных позиций, престижный уровень профессии, размер заработной платы, наличие или отсутствие привилегий, характер привилегий, возможности использования служебного положения, образование и культурный уровень, бытовые условия, доступ к жизненным благам, сфера общения, перспективы улучшения положения и устройства детей. Лишь совокупность этих параметров определяет социальный статус человека, а не каждый в отдельности.

По социальному статусу население коммунистической страны разделяется на три группы слоев – на высшие, средние и низшие слои. Грани между ними не абсолютны. Многие люди переходят из одних слоев в другие или занимают проме-

жуточное положение. Внутри каждой группы имеют место свои подразделения и иерархия уровней. Тем не менее это разделение ощущается достаточно отчетливо.

К высшим слоям на каждом административном уровне (район, город, область, край, республика и страна в целом) принадлежат высшие лица аппарата власти и управления, а также некоторые привилегированные лица, допущенные в эти слои с ведома первых (например, привилегированные деятели культуры, прославившиеся и ставшие элементом пропаганды «герои»). Попадают в эти слои также лица, имеющие особые связи с указанными выше носителями высшей власти данного уровня. Представители высших слоев имеют самый высокий жизненный стандарт. В их распоряжении все блага, достижимые в данной стране. Причем они имеют всё почти без денег или за условную плату. Их богатством являются не деньги, а социальное положение. На всех уровнях они связаны служебными и личными отношениями, круговой порукой, взаимными услугами. Они образуют правящие клики, принимающие мафиозный характер и зачастую перерождающиеся в уголовные. Мощный аппарат власти и идеологии охраняет их привилегированное положение. Коммунизм есть в первую очередь их общество. Они здесь хозяева. Они суть коллективный эксплуататор общества в своих интересах. Они заботятся о прочих соотечественниках лишь в той мере, в какой рабовладельцы заботились о рабах, помещики – о крестьянах, капиталисты – о рабочих. Кроме того, их забота о других слоях является вынужденной тем, что последние сами так или иначе добиваются некоторых благ явочным порядком и благодаря самым объективным условиям коммунизма.

К низшим слоям относятся рабочие всех типов, работники сферы обслуживания, не занимающие постов, лица, занятые на подсобных работах в различных учреждениях, служащие контор и канцелярий, низший медицинский и научный персонал, воспитатели детских учреждений, рядовые милиционеры и прочие лица, выполняющие непосредственные деловые функции на низших ступенях социальной иерархии. К этим слоям относятся также начальники самых низших категорий. Социальная активность низших слоев близка к нулю. Они раздроблены, имеют самый низкий образовательный уровень, легче всех поддаются манипуляциям властей. Их солидарность ограничивается бытовыми отношениями асоциального харак-

тера. Их интересы представляют официальные общественные организации, администрация и органы власти. Их материальное положение в основном зависит от общих условий в стране и от политики руководства.

Средние слои образуют сотрудники системы власти и управления среднего уровня, директора и заведующие обычных предприятий и учреждений, преподаватели высших учебных заведений, деятели культуры, научные работники, короче говоря – основная масса служащих и начальников среднего уровня иерархии, а также творческая и интеллектуальная часть населения. К этим слоям относятся также многочисленные деятели спорта и других непроеизводительных профессий. Эти слои самые разнообразные по составу. Их положение является двойственным. В одних отношениях они тяготеют к высшим слоям. Многие их представители обслуживают высшие слои, имеют с ними контакты и переходят в них. Для некоторой их части это вообще есть лишь этап на пути в высшие сферы. В других отношениях и в других частях они близки к низшим слоям, разделяют их судьбу, зависят от произвола властей. Они поставляют наиболее активных апологетов режима. В них входят работники идеологии и пропаганды, сотрудники партийного аппарата, карательных органов. Вместе с тем, эти слои являются основой новых веяний в стране, прогрессивных и даже порою оппозиционных умонастроений. Они имеют самый высокий образовательный и культурный уровень. В них входит самая деловая и творческая часть населения. В них гораздо больше возможностей для неофициальных объединений, чем в низших слоях. И одновременно они в гораздо большей степени подвержены контролю властей, поскольку в них входит самая активная и бдительная часть власти. Представители средних слоев являются проводниками политики высшей власти. Вместе с тем, именно средние слои являются основной базой всякой более или менее серьезной оппозиции. Они суть самая живая ткань общества.

Гражданское общество. Анализ социальной структуры населения показывает, что лишь высшие слои образуют некое подобие социального класса в традиционном смысле, т. е. сравнительно однородное объединение людей, связанных единством интересов, образом жизнедеятельности и привилегированным положением. Основная же масса населения пред-

ставляет собою раздробленное скопление индивидов различных категорий, по самим условиям жизни не склонных к образованию больших и устойчивых неофициальных объединений. Господствующие же слои принимают меры к тому, чтобы не допустить возникновение неподконтрольных объединений в низших и средних слоях. Принцип «разделяй и властвуй» здесь имеет чрезвычайно благоприятные условия в самих основах жизни людей. Нужна целая историческая эпоха социальной борьбы, чтобы созрели идеи и условия объединения широких слоев населения для защиты своих интересов. Мы находимся в самом начале этой эпохи.

Исходя из такого рода соображений, мы отказываемся от идеи создания организации типа политической партии, претендующей на то, чтобы представлять интересы какого-то «класса» общества. Никакого такого класса просто нет и не может быть в самой природе коммунизма. Коммунизм действительно есть общество бесклассовое в марксистском смысле слова. И это делает социальную борьбу при коммунизме особенно затруднительной.

Мы видим выход из такого положения в деятельности по созданию в нашей стране неклассового гражданского общества, т. е. независимой от властей и устойчивой среды из представителей различных слоев населения, своего рода неофициального подобщества со своим образом жизни, со своими вкусами и взглядами, со своими критериями оценки явлений культуры и событий жизни, со своим отношением к официальной идеологии, к власти и вообще ко всем явлениям, входящим в круг их интересов, со своими внутренними связями и отношениями. Мы уверены в том, что лишь при условии возникновения такого гражданского подобщества в нашей стране может сложиться массовая, устойчивая, преемственная и прогрессирующая оппозиция, способная защитить себя от репрессий со стороны властей и оказывать заметное влияние на весь образ жизни советского общества.

Выдвигая идею гражданского общества в качестве условия и формы социальной борьбы, мы не просто высказываем благое пожелание. Тенденция к образованию такой среды обнаружилась заметным образом уже в послесталинские годы, когда представители различных слоев проявили солидарность в деле десталинизации страны, причем солидарность, независимую от органов власти. В брежневские годы дисси-

дентское движение поддерживалось в довольно широких кругах населения. Без этой поддержки оно не достигло бы такого размаха.

Гражданское общество в описанном выше смысле не есть всего лишь продукт энтузиазма одиночек и стечения обстоятельств. Оно имеет основания в самих базисных условиях коммунизма. Мы усматриваем эти основания в следующем. В нашей стране уже сложилось и систематически воспроизводится довольно большое число образованных и профессионально подготовленных людей, которые являются постоянными служащими государства, имеют гарантированную работу. Условия их труда сравнительно легкие. У них остается много сил и времени на свободную интеллектуальную жизнь. Для многих из них профессиональная деятельность есть их жизненное призвание. Она вынуждает их на размышления и на поведение, выходящие за рамки официально дозволенных и поощряемых. Им гарантирована по крайней мере минимальная заработная плата. Они независимы друг от друга материально. Поскольку они довольствуются достигнутым положением на иерархической лестнице социальных позиций, они и в социальном отношении оказываются взаимно независимыми. Благодаря этому складывается сравнительно свободная и некарьеристическая общность людей, имеющих высокий образовательный уровень, свободное время и склонность размышлять на социальные темы. Более того, в этой среде развивается озабоченность положением в стране и желание стать активными участниками исторического процесса.

Многие из этих людей не могут в полную меру развить и использовать свои способности и навыки, а за свою деятельность получают вознаграждение, которое ими воспринимается как несправедливое. Они суть наиболее творческие и деловые члены общества. Их социальный статус не соответствует их самосознанию и жизненным претензиям. Это, естественно, порождает у них недовольство своим положением. В силу их роли в обществе это недовольство принимает форму критического отношения к самому социальному строю и к системе управления общества.

К этой категории граждан относится также большое число молодых людей, начинающих свою трудовую и творческую деятельность. Они отдают обществу все свои свежие силы и способности, получая за это самое мизерное вознагражде-

ние. Они в начале жизненного пути находятся в самом низу социальной иерархии, получая вознаграждение соответственно их положению, а не соответственно их потенциальным способностям и реальной отдаче сил обществу.

Эта категория членов коммунистического общества является относительно немногочисленной с точки зрения их числа в социальных группах, в которых они работают. Но в масштабах страны в абсолютном выражении она представляет весьма значительное явление. Она увеличивается численно с каждым годом. Роль ее в практической жизни страны становится все более серьезной.

Эти люди не превращаются автоматически в оппозиционеров. Они суть лишь потенциальная база для оппозиции. Нужно время и сложный исторический процесс, чтобы какая-то часть из них осознала свое фактическое положение и его несправедливость, почувствовала в себе силы бороться против нее, начала вырабатывать формы сознания и поведения, адекватные своему состоянию и ведущие к конфликту с правящими слоями общества. Мы видим задачу энтузиастов социальной оппозиции в том, чтобы ускорить этот естественный и неизбежный процесс и придать ему определенную направленность, а именно: направленность на образование гражданского общества в рассмотренном выше смысле.

Гражданское общество не должно стать организацией. Это есть особого рода ткань из представителей различных слоев и профессий, по самому способу жизни имеющих возможности и вынуждающихся на такой шаг. Будучи аморфным и неорганизованным, гражданское общество является неуязвимым для ударов со стороны властей. Представители его могут вести нормальный образ жизни, быть хорошими работниками и членами коллективов. Их принадлежность к гражданскому обществу не должна вредить их положению, а со временем должна стать средством защиты и успеха.

Наивно рассчитывать на то, что гражданское общество будет складываться повсеместно. В деревнях, мелких поселках и провинциальных городах для него просто нет места. Оно есть прежде всего феномен столичный и в местах, находящихся в сфере влияния столицы. В России естественно ожидать его возникновение в Москве и в сфере ее влияния. Возникнув и упрочившись в Москве, оно может оказать влияние

на всю страну, послужит примером для других мест, окажет поддержку аналогичным тенденциям в провинции.

Гражданское общество должно стать базой и питательной средой для социальной оппозиции, необходимым условием превращения ее из дела немногочисленных энтузиастов в более или менее массовое движение со всеми его атрибутами — организационными формами, программой, тактикой. Лишь через гражданское общество социальная оппозиция будет в состоянии оказать заметное влияние на образ жизни в нашей стране и на развитие социальной борьбы. Мы убеждены в том, что не социальная гармония различных слоев населения и не социальный мир есть главный путь прогресса в нашей стране, а социальная борьба. Мы намерены делать все зависящее от нас, чтобы пробуждать и стимулировать эту борьбу.

Наше дело. Прежде чем гражданское общество сыграет ту роль, о которой говорилось выше, оно должно сформироваться в духе определенных идей, а не любых. Мы, энтузиасты социальной оппозиции, считаем главной формой нашей деятельности разработку этих идей и пропаганду их в России. Ядром ее должна стать всесторонняя критика нашего общества, опирающаяся на его научное понимание, т. е. научная критика коммунизма. Мы намерены все явления советского образа жизни подвергать рассмотрению с той точки зрения, с какой они суть следствия коммунизма. Мы намерены акцентировать внимание не на преходящих недостатках жизни страны, которые в принципе могут быть устранены усилиями властей, а на таких свойствах общества, которые суть проявления его объективных закономерностей как общества коммунистического, от которых не способна избавить никакая власть и никакие реформы сверху. Мы видим задачу научной критики коммунизма в том, чтобы вскрыть причины непреходящих зол реальной жизни людей в нашей стране в самом социальном строе, а не в ошибках вождей, не в политике властей, не в неблагоприятных исторических условиях, не в плохих качествах людей. Поэтому мы не рассчитываем на такое милостивое отношение со стороны властей, какое сейчас можно наблюдать в отношении некоторых диссидентов, ставших лакеями Горбачева, и фрондирующих деятелей искусства, оппозиционность которых всегда была и будет ложной и эгоистичной. Нам предстоит проделать эту работу вопреки запретам

властей, на свой страх и риск, главным образом нелегально. Мы даже не намерены требовать легализации нашей деятельности, помня лживость и ненадежность всяких обещаний и решений властей насчет свободы слова.

Разработка научного понимания коммунизма и превращение этого понимания в оружие критики есть тяжелая работа, требующая многолетних усилий, способностей, самоотверженности, терпения. Для этого мало знать факты жизни общества и иметь какой-то опыт жизни в нем. Для этого нужно специальное образование, овладение особой техникой исследования, доступ к достоверным сведениям в широких масштабах. Задачу эту не решишь усилиями дилетантов и людей, по тем или иным причинам вставших на путь оппозиции. Одного критического отношения к реальности коммунизма еще далеко не достаточно для понимания того, почему реальность такова. Не решишь эту задачу и за счет того, что сделано и делается в этом направлении на Западе, хотя число людей, занятых Советским Союзом, здесь исчисляется многими десятками тысяч.

Менталитет западных людей формируется под влиянием привычного образа жизни, существенно отличающегося от образа жизни советских людей, системы образования, средств массовой культуры и средств массовой информации. Все это порождает весьма негибкий (недиалектический), фрагментарный и хаотичный способ мышления, склонный к сенсациям и к успокоительным примитивным псевдообъяснениям. Представления о советском обществе привносятся в западное общество прежде всего журналистами, дипломатами и туристами, которые видят в советской жизни лишь поверхностные явления, да и то в той мере, в какой это разрешено и в какой это требуется данными условиями в средствах массовой информации на Западе и политической ситуацией. Специалисты-советологи немногим превосходят дилетантизм журналистов и дипломатов, а чаще даже уступают им. Они судят даже об очевидных явлениях советской жизни в той системе понятий и представлений, какую они имеют в качестве людей западных, заинтересованных не столько в истине, сколько в самоутверждении за счет советской темы.

На пути научного подхода к советскому обществу стоит такое препятствие, как масса людей на Западе, уже вовлеченных так или иначе в советскую проблематику. Эта армия

«специалистов» занимает все ключевые позиции, от которых зависит сама возможность объективно-научного понимания советского общества и оценка всего происходящего там. Она влияет на общественное мнение Запада, на политиков, на средства массовой информации. У этих людей уже сложилось свое понимание социальных явлений и исторического процесса. На иное понимание они просто уже не способны. Наоборот, они прилагали и будут прилагать усилия к тому, чтобы помешать научному исследованию советского общества, видя в нем (в исследовании) угрозу своему положению. И они имеют для этого колоссальные возможности. Фактически они выполняли, выполняют и будут выполнять роль, аналогичную той, какую в Советском Союзе выполняет идеологический надзор.

Учитывая сказанное выше, мы считаем, что задача научной критики коммунизма должна быть решена в России собственными силами. В России имеется достаточно много профессионально образованных и способных людей, которые могут посвятить свою жизнь творческой деятельности в этой сфере науки. Мы видим нашу задачу в том, чтобы стимулировать эту их деятельность. Для этого мы намерены приложить усилия к организации пропаганды результатов их исследований таким образом, чтобы эти результаты стали широко известны независимо от государственных средств печати. Социальной оппозиции предстоит покончить с дилетантизмом в сфере социального мышления, поднять дело оппозиционной пропаганды на профессиональный уровень, соответствующий интеллектуальному уровню потенциального и в будущем актуального гражданского общества. На этом пути нам надо быть готовыми к тому, что нам будет чинить препятствия масса людей и учреждений, до сих пор державших в своих руках средства оппозиционной пропаганды. Они уже превратились в вольных или невольных помощников советской власти в деле препятствования появлению в России устойчивой и преемственной оппозиции такого рода, какой может стать оппозиция социальная.

Мы не намерены ограничиваться научной критикой коммунизма. Мы считаем ее лишь идейной основой нашей пропагандистской работы. Мы намерены отбирать и пропагандировать произведения художественной литературы и публицистики, а также исторические и иные исследования, так или иначе

связанные с проблемами социальными. Но не любые, а лишь такие, которые соответствуют характеру наших идей. Такого рода произведения появились в прошлые годы и наверняка будут появляться в будущем. Мы в этом отношении намерены продолжать лучшие традиции «самиздата» и «тамиздата». Современные средства коммуникации и распространения идей позволяют продвинуться в этом значительно дальше наших предшественников. Эта форма оппозиционной деятельности уже доказала свою эффективность.

Что касается позитивных идей преобразования общества, мы отвергаем всякие утопические и непродуманные проекты на этот счет. Мы помним о величайшем уроке истории, когда стремление к самым светлым идеалам привело к самым мрачным последствиям в нашей стране. Проекты преобразований, хорошо выглядящие на словах, далеко не всегда хороши в реальности. Мы не имеем в своем распоряжении никаких образцов, достойных подражания. Лозунги демократических свобод, прав человека, свободных профсоюзов, рабочего самоуправления, частной инициативы, децентрализации, многопартийности, выборов из нескольких кандидатов и т. п., выдвигавшиеся в последние десятилетия с целью неких коренных преобразований в коммунистических странах, были удобны для шумихи в западных средствах массовой информации, но оказались лишенными самого элементарного здравого смысла. Горбачевское руководство, включив их в свою демагогию и допустив на деле кое-что из таких требований, с полной очевидностью обнаружило их бессмысленность в качестве требований оппозиции. Эти лозунги были заимствованы на Западе или навязаны Западом конъюнктурно настроенным диссидентам. Они не имели серьезных оснований в советских условиях и превратились в чисто политические пустышки. Эти лозунги требовали каких-то преобразований общества, причем незамедлительных. При этом полностью игнорировались объективные возможности для преобразований, их неконтролируемые последствия и время, необходимое для них. Эволюционные процессы, требующие исторического времени, мыслились как вневременные акции, как по волшебству молниеносно приносящие желаемый результат.

Мы не отвергаем идеи прав человека и демократических свобод. Но мы к этой проблеме подходим иначе, чем участники правозащитного движения. Мы считаем, что права не

даруются сверху властями, а завоевываются в длительной исторической борьбе, причем не просто в виде некоего распоряжения начальства, а в виде создания в самих условиях жизни феноменов, которые лишь закрепляются законодательно. Коммунистическое общество есть общество неправоное в строгом смысле слова. Здесь монополистом в истолковании и исполнении юридических норм является всеильное государство. Здесь на бумаге могут быть декларированы самые прекрасные права человека и демократические свободы. Но на деле они игнорируются или истолковываются так, что в реальности от них ничего не остается. Поэтому мы считаем своим долгом не апеллировать к властям с требованием принять законы относительно прав человека и демократических свобод, не требования соблюдать эти законы, а разоблачение неправо-вой сущности коммунизма. Мы поддерживаем такие действия людей, на которые они не спрашивают разрешения властей, благодаря которым в практику жизни явочным порядком входят феномены, отвечающие интересам масс населения. Строительство правового общества надо начинать с фундамента, а не с крыши. Права человека и демократические свободы не суть нечто такое, что с рождения положено людям от природы. Это – формы организации общественной жизни, добытые в результате длительной эволюции общества лишь определенного типа, а не любого. Бездумный перенос их в чуждую им среду коммунизма порождает лишь самообман и разочарования. В нашей стране нужно еще завоевать более фундаментальные условия человеческого существования, на основе которых со временем, возможно, встанет вопрос о их законодательном признании и закреплении.

Мы считаем, что в современных условиях нашей страны разработка научного понимания коммунизма, критика явлений советской жизни с позиций этого понимания и пропаганда наших идей есть дело неизмеримо более важное, чем выдумывание практически невыполнимых программ и попытки создания конъюнктурных организаций, имитирующих прошлые образцы или подражающих западным образцам. Социологическое образование и просвещение широких слоев советского населения есть абсолютно необходимое условие прогресса нашей страны в социальном отношении. Эта задача является неизмеримо более сложной и трудной, чем любые другие формы оппозиционной борьбы, хотя в словесном выражении

это и выглядит вроде бы проще всего. На этом пути мы будем иметь против себя сверхмощный аппарат образования, воспитания и идеологической обработки населения, сверхмощные государственные средства массовой информации, всю сферу культуры и косность многомиллионных масс населения.

Мы не предлагаем никакой альтернативы коммунизму, считая любую альтернативу такого рода в наше время утопией или просто безответственной болтовней. Мы не считаем западные страны образцом общественного устройства, какое мы могли бы рекомендовать советским людям. Блага западных стран далеко не абсолютны. И далеко не все граждане имеют возможность воспользоваться ими практически. Одними демократическими свободами сыт не будешь. Чтобы насладиться материальным изобилием, нужны деньги. А чтобы заработать деньги, человек должен спуститься в преисподнюю западного рая, которая ничуть не лучше советской. За блага западной демократии тоже приходится платить немалую цену. Да и существовали они не вечно. В борьбе за них были принесены огромные жертвы. Мы намерены ориентировать сознание наших соотечественников именно на неизбежность исторической борьбы за лучшие условия жизни, а не на ожидание их в качестве дара свыше и, тем более, со стороны Запада. Советскому народу предстоит не просто позаимствовать какие-то социальные образцы на Западе и перенести их в готовом виде на свою почву, но начать новую эпоху исторического творчества. Это будет эпоха проб и ошибок, иллюзий и разочарований, успехов и поражений. Жизненные блага, подобные западным (подобные, но не те же самые), будут завоеваны как результат истории, причем на основе тех достижений, которые уже стали привычными. А ведь гарантии удовлетворения минимальных потребностей (работа, образование, медицинское обслуживание и т. д.) стоят того, чтобы за них сражаться. Ирония истории состоит в том, что сами советские власти стали насаждать в стране второстепенные западнообразные явления, дабы как-то оправдать покушение на достижения семидесятилетней советской истории. Наша страна все еще находится в начале нового исторического этапа. Ей еще только предстоит выстрадать идеалы будущего. Мы видим одну из наших задач в том, чтобы разрушать возникшие в последние десятилетия иллюзии, будто Запад есть тот рай земной, к которому следует стремиться. Эти иллюзии

деморализуют советских людей, отвлекают их внимание от борьбы за реальные жизненные ценности и от объективного познания своего собственного общества.

В обстановке смуты, идейного хаоса и растерянности, наступившей в нашей стране в последние годы, всякого рода конъюнктурщики и ловкачи навязывают массам населения новую ложь относительно сущности нашего общества, его прошлого и путей к лучшей жизни. Мы намерены противопоставить этому мутному словоблудию и бессовестному бесовству позицию объективности и реалистичности. На спекуляциях за счет кратковременной политической конъюнктуры серьезную оппозиционную традицию создать невозможно.

В отношении организационных форм мы точно так же предлагаем начинать с естественного начала, уже апробированного в прошедшие десятилетия, а именно: с создания небольших неофициальных групп из лично знакомых людей, связанных общими интересами к проблемам мировоззрения, теории общества, социальной истории, эволюции социальных идей, социальной борьбы, коммунизма, советского общества и его истории. Деятельность таких групп должна определяться стремлением к образованию, независимому от официальной идеологии и подконтрольной ей науки, к самостоятельному исследованию в этих сферах, к обсуждению узанного и познанного, к распространению полученных сведений и результатов в своем окружении. Иначе говоря, эти группы должны сделать предмет своей деятельности все то, что входит в сферу государственной идеологии и общественных наук, но независимо от них, с иной ориентацией, с иным способом понимания. Результатом этого должно явиться создание оппозиционного мировоззрения, которое послужит основой идейного объединения стихийно возникающих оппозиционных групп. Именно идейное единство должно стать исходным пунктом будущей массовой социальной оппозиции.

Мы, таким образом, настаиваем не на случайном скоплении людей, по тем или иным причинам ставших на путь протеста против отдельных явлений советской жизни, а на идейном объединении обычных граждан, причем на высоком уровне образованности, понимания и убежденности. Мы настаиваем не на бесформенном и негативном инакомыслии, а на вполне определенном и вполне позитивном единомыслии во взглядах на мир, на познание, на общество, на коммунизм, на ситуацию

в нашей стране и ее перспективы. Социальная оппозиция должна породить единое идейное движение, по своему интеллектуальному и творческому уровню соответствующее образованной части человечества конца двадцатого века. Это движение должно привлечь к себе внимание гражданского общества, а через него – широких кругов населения страны. Надо начинать с овладения умами людей и на этой основе – их душами и чувствами. Как они потом будут вести себя в качестве граждан, зараженных оппозиционной идеологией, покажет время.

Отношение к Западу. Мы принципиально иначе, чем диссиденты, подходим к оценке роли Запада в советском оппозиционном движении. Было бы несправедливо игнорировать то, что Запад сыграл огромную роль в создании оппозиционной вспышки в Советском Союзе в хрущевские и брежневские годы. И в будущем «тлетворное влияние» Запада здесь будет ощущаться. Но было бы преступно закрывать глаза на негативные стороны влияния Запада на советскую оппозицию. Поощряя, например, советскую эмиграцию, Запад действовал в удивительном согласии с советскими властями. Он добился того, что многие диссиденты покинули страну, и это стало одной из причин деградации движения. Угождая умонастроениям на Западе, многие бывшие диссиденты встали на путь сотрудничества с советскими властями. Последние даже стали смотреть на советских эмигрантов как на свои форпосты в пока еще мирном вторжении в западные страны.

Запад руководствовался и будет руководствоваться впредь своими представлениями о советском обществе, своими критериями оценки общественных явлений и своими интересами. Запад поощрял в советской оппозиции лишь то, что отвечало его понятиям, вкусам, целям, а отнюдь не то, что отвечало потребностям и возможностям внутренней социальной эволюции самого советского общества. Запад навязал многим тысячам советских людей такое понимание советского социального строя, истории страны и целей социальной борьбы, какие совершенно не адекватны условиям жизни и интересам советских людей. Это привело к дезориентации сознания оппозиции и сочувствующих ей кругов населения, к измельчению социальной борьбы вообще, к замутнению идейной ситуации. Вот почему освобождение от всего того, что Запад стре-

мится навязать советской оппозиции, не считаясь с внутренними закономерностями коммунистического общества и потребностями его граждан, является одной из важных установок социальной оппозиции. В нынешних условиях, когда западные средства массовой информации стали почти единодушно проводниками горбачевской политики, а влиятельные силы Запада, ранее поддерживавшие оппозиционную критику советского режима, фактически предали это дело, освобождение от западной опеки становится абсолютно необходимым условием создания нормальной отечественной, а не импортной оппозиции.

Социальная оппозиция должна существовать не для того, чтобы давать материал для западных средств массовой информации и каких-то людей и организаций на Западе, эксплуатирующих советскую тематику в своих корыстных целях, а для своих собственных целей. Она сначала должна выработать свои собственные качества, соответствующие ее положению в ее собственном обществе, утвердиться в этих качествах как постоянно действующий фактор советской жизни. И лишь на этой основе она должна использовать возможности, какие ей может предоставить Запад. Не социальная оппозиция для Запада, а Запад для социальной оппозиции!

Социальная оппозиция, очевидно, не может при такой установке рассчитывать на сенсации и поддержку на Западе, какие выпали на долю диссидентов. В этом, конечно, есть свои минусы. Но есть и плюсы. В социальную оппозицию будут вовлекаться люди не из соображений личной выгоды за счет оппозиции, а в силу глубоких убеждений, бескорыстно и с готовностью пойти на жертвы. Моральная чистота оппозиции является препятствием в достижении скорых и показных успехов, достаиваемых внимания прессы, но зато она окупится стoriцей в исторической перспективе.

Послесловие. Этот манифест касается только самых общих и фундаментальных принципов социальной оппозиции. Я не касался в нем многих других проблем, таких, например, как отношение к другим формам оппозиционного движения, средства и методы пропаганды, связь с оппозиционными движениями в других странах. Я думаю, что сейчас представляется возможность обсудить все эти вопросы на приличном

теоретическом уровне, без особой спешки и без вовлечения в дискуссию лиц, не заинтересованных во внесении в оппозиционное движение беспощадной ясности и определенности.

Мюнхен, январь 1989.

РУССКАЯ МЫСЛЬ

Главный редактор
Ирина И л о в а й с к а я - А л ь б е р т и

LA PENSEE RUSSE
217 rue Fb. St. Honoré, 75008 Paris, France
тел. 42 25 56 81, 42 25 57 94
телекс 64 98 13 Pensrus

Крупнейшая русская еженедельная газета
в свободном мире

Информация о событиях в Советском Союзе, в
странах коммунистического лагеря, в странах
свободного и Третьего мира

Тексты авторов из СССР – самиздатские и напи-
санные специально для газеты

Аналитические статьи по политике и экономике,
литература, мемуары, статьи и заметки по лите-
ратуре и искусству

Об условиях подписки справляться в редакции

ИЗДАТЬ ТРУДЫ Д. М. ПАНИНА

С 1976 по 1980 г. ежеквартальный журнал «Выбор», созданный ассоциацией «Друзья Димитрия Панина», распространял его идеи и идеи его единомышленников: швейцарского журналиста Д. Пинто, французской писательницы С. Лабен, пастора Ж. Хофмана, польского писателя Ю. Мацкевича, русского журналиста В. Чернявского и других. Димитрий Панин изложил в этом журнале свою критику марксизма, способ проведения революции в умах, концепцию общества независимых, критику атеизма.

Параллельно выходит его философская работа «Теория густот», где сформулирован открытый им закон движения вещей.

В 1983 г. вышла его работа «Созидатели и разрушители».

С 1979 г. он работал над объяснением природы явлений классической и релятивистской механик и незадолго до смерти закончил последнюю, четвертую часть своей «Механики на квантовом уровне». Труд его увенчался открытием по конструкции легкого лазера, которое он не успел изложить на бумаге: остались лишь расчеты и краткие записи.

Димитрий Панин был всегда во всех ситуациях человеком мужественным, решительным, бескомпромиссным, глубоко верующим, настоящим рыцарем без страха и упрека. Увы, мир не прислушался к его свидетельству.

Благородство души Димитрия Панина отражалось и в его внешнем облике.

Остались рукописи социологических, философских, научных работ, наговоренные кассеты – мысли о России, ее писателях, религии. Наш общий долг донести их до читателя, и я призываю всех людей доброй воли помочь их изданию.

*Франсуа Росинье, председатель общества
«Друзья Димитрия Панина» (Тулон)*

Пожертвования на издание рукописей Димитрия Панина следует отправлять в нашу ассоциацию (Les Amis de Dimitri Panine – ADP) по адресу:

ADP, BP 79, 75762 Paris Cedex 16.

Восточноевропейский диалог

Роман З и м а н д

МЕРТВЫЙ ДОМ ЖИВЫХ ЛЮДЕЙ

Посвящается Барбаре Станош и
Лешеку Колаковскому

Настоящий текст имеет две истории – частную и общественную. Первая – это история ненаписанной книги о «Записках из Мертвого дома», книги, которая началась с введения и им же и закончилась. Основной тезис задуманного мной исследования «Записок» – тезис о делении литературных описаний тюрьмы на видение «изнутри» и «снаружи» или на описания в категориях техники общежития и в категориях мартиролога – я представил в заметках, относящихся к «базильянским» сценам III части «Дзядов». Читатель может найти их в материалах симпозиума «Стиль романтического повествования» (Warszawa, PIW, 1986). Такова частная история. Она приводится здесь только для того, чтобы объяснить читателю, откуда в очерке «Мертвый дом живых людей» фрагменты, предполагающие наличие какого-то продолжения. Такого продолжения не существует.

Общественная история этого предисловия, касающегося «Введения», выглядит таким образом. Я написал его в первом квартале 1983 г. и через два месяца зачитал на конференции по теории литературы в Димашеве. Это исследование должно было войти в состав сборника, который готовили Януш Славинский и Ежи Земка. По их замыслу, сборник должен был выйти в соответствующей серии Института литературных исследований при «Оссолинеум». Я не очень верил, что издательские хлопоты моих коллег закончатся успехом, но, покашли переговоры, взять текст назад было бы неприлично.

Летом этого года оба профессора, поняв бессмысленность дальнейших стараний, отказались от своей затеи, а сборник, так и не возникнув, распался. Таким образом, я мог теперь

свободно распоряжаться текстом «Мертвого дома живых людей».

Признаюсь, что мне надоело ждать, а это автоматически исключало попытки публикации «Мертвого дома живых людей» официальными, так сказать, путями. Почему же я не мог подождать еще несколько лет? В конце концов, если анализ «Введения» из «Записок из Мертвого дома» Достоевского хорош, то когда он выйдет в свет – через 5, 7 или 10 лет после написания, – большого значения не имеет. Это, конечно, правда, но здесь надлежит поставить одно ограничение.

Существует мнение, что гуманитарные науки – это область знания, в которой нет накопления. В такой общей формулировке это суждение неверно. В гуманитарных науках сравнительно немного окончательных или единственно верных решений. Выводы по многим важным вопросам не раз пересматриваются. Зато идеи, интерпретации бывают либо оригинальными, либо нет. Пять лет тому назад мне казалось, что – несмотря на огромное количество литературы о Достоевском – мой вариант прочтения «Введения» скорее всего нов. Надеюсь, что с тех пор аналогичная идея никому не пришла в голову. Хотя наверняка и не знаю.

Почему я позволил себе посвятить этот очерк Лешеку Колаковскому и Барбаре Станош, которая была среди инициаторов публикации, носящей теперь название «Присутствие»*, – об этом я не рассказываю никогда, поскольку надеюсь, что не только в ранней, но и в поздней старости не поддамся соблазну писания воспоминаний.

Вышеприведенное пояснение одновременно дает представление об условиях, в которых развиваются гуманитарные науки в ПНР. Мы пишем в стол, только не в собственный.

Р. З.

Ноябрь 1987

Нет, пожалуй, историка литературы среди занимающихся... Нет, начнем с названия, а вернее – с польского перевода названия: «Воспоминания из дома мертвых». А в оригинале – «Записки из Мертвого дома». Допустима ли замена «записок» на «воспоминания»? Полагаю, что нет. Опустим даже тот

* Сборник статей к 60-летию Л. Колаковского – П е р.

факт, что русское название – на что указывает Шкловский – относит книгу Достоевского к целому ряду современных ей текстов, имеющих в названии слово «записки», среди которых и знаменитые «Записки охотника» Тургенева». Это в конце концов мало касается современного читателя и тем более – не русского. Более важным представляется то, что «Записки из Мертвого дома» не е я в л я ю т с я воспоминаниями. Совершенно ясно, что это не воспоминания Достоевского, но это и не «воспоминания» Горянчикова. Во «Введении» автор, а точнее – «издатель», как бы удваивая вымысленность текста, рассказывает, что в бумагах покойного нашел «описание, хотя и бессвязное, десятилетней каторжной жизни, вынесенной Александром Петровичем». «Издатель» отмечает, что сам Горянчиков озаглавил свое описание каторги «Сцены из Мертвого дома» и что он публикует «на пробу» выбранные им главы. В. А. Туниманов считает, что таким образом писатель как бы предвещает читателя, что цензура может прервать публикацию «Записок». Интерпретация, по-моему, в высшей степени вольная. Всё – в том числе и то, что писатель назвал свое произведение «повестью», – указывает, что Достоевский не х о т е л, чтобы оно трактовалось как воспоминания. А так как легко возникало предположение, что это именно воспоминания, то и были применены различные приемы, подчеркивающие вымысленность «Записок». Поэтому «Воспоминания» в польском названии совсем не к месту. Настолько же неудачным представляется и перевод второй части названия – «дом мертвых». Если бы Достоевский хотел назвать острог «домом мертвых» – а ничто ему не мешало, – то и написал бы «Записки из Дома мертвых». Следует поверить писателю и предположить, что он знал, что делает, называя каторгу «мертвым домом». Ссылки на французский или английский переводы не могут служить достаточным оправданием, разве что допустить, что французские или английские переводчики лучше, чем Достоевский, знали, как должна называться его повесть. А поскольку такого предположения мы принять не можем, то в дальнейшем будем говорить о «Записках из Мертвого дома».

Итак, нет, пожалуй, историка литературы среди занимающихся «Записками из Мертвого дома», который не приводил бы рассказ о сомнениях главы петербургского цензурного комитета барона М. В. Медема, встревожившегося после

прочтения начала повести: как бы «люди нравственно не развитые, которых от совершения преступления удерживает единственно суровость наказания», не пришли к выводу, что каторга не так уж страшна. История эта, сопровождаемая обычно ироничным комментарием типа: ха-ха, глупый цензор, – должна служить доказательством цензурных трудностей, с которыми сталкивался писатель, публикуя «Записки». Трудности действительно были, однако не такие серьезные, какие могут представиться, когда мы слышим выражение «царская цензура». Они касались главы «Товарищи» – я подозреваю, что, в основном, из-за отношения к «польским делам». В 1862 г. эта глава была изъята из майского номера «Времени». Редакция добилась разрешения на ее публикацию в декабрьском номере того же года. «Реабилитация», выражаясь сегодняшним языком, пришла слишком поздно и не коснулась первого отдельного издания «Записок».

Вернемся, однако, на минуту к несчастному барону Медему. Утверждают, что источником его сомнений была обычная цензурская тупость. Возможно – ведь принято думать, что цензор должен быть глуп. Правду сказать, о бароне Медеме мы знаем немного. Он происходил из немецкой курляндской аристократии, был участником кампании 1813–14 гг., генералом от артиллерии, автором руководства по артиллерийской тактике. В 1838–40 гг. вместе с Сенковским редактировал «Библиотечку для военных». В 1848 г. перешел – как написала бы «Трибуна люду» – на работу в цензуру. Эти биографические факты ни о чем не свидетельствуют. Медем мог быть тупым чиновником, но вовсе не обязательно. Нам известно, что в те времена по крайней мере один русский цензор был человеком достаточно интеллигентным, начитанным и хорошим хроникером – я имею в виду Никитенко. Итак, предположим, что источником комично сформулированных сомнений главы петербургского цензурного комитета не была генеральская тупость. В таком случае, что же? Мы ведь не знаем, как выглядела каторга «на самом деле». Литературные и нелитературные рассказы о каторге начали появляться в России только после смерти Николая I. «Записки» были одним из первых, если не первым рассказом об этом «потустороннем» мире. Но, не имея сведений о каторге, барон Медем мог все же иметь стереотипное, литературное представление о тюрьме. Если он был человеком хотя бы средней начитанности, то, вероятно,

помнил какие-то отдельные эпизоды из готических романов, повестей Эжена Сю, «Графа Монте-Кристо», может быть, просматривал так называемые «Мемуары парижского палача». Можем предположить, что знал и «Последний день приговоренного к смерти» Виктора Гюго. Вспомним и о поэзии: барон скорее всего слышал что-то о «Шильонском узнике» (знаменитый перевод Жуковского) и должен был хоть раз в жизни прочесть «Узника» и «Письмо в Сибирь» Пушкина. Итак, барон, которого мы здесь попытались вообразить, имел какое-то представление о том, как должно было выглядеть литературное произведение, повествующее о тюрьме. Общей же чертой всех вышеперечисленных и настолько все-таки разных повестей и стихов являлось то, что образ тюрьмы сводился к нескольким символическим аксессуарам и чувствам: темница, решетки, оковы, тачки, ужас, страдания, тоска по воле, ненависть к тюремщикам.

И вот барон Медем получает для цензорской оценки текст, в котором каторга – особенно в сравнении с его стереотипными представлениями – просто кипит жизнью, многообразием чувств, богатством конкретных деталей. Барон должен вынести решение об очерках или статьях (так вначале назывались первые главы), из которых явствует, что в тюрьме люди смеются, пьют водку, занимаются торговлей и любовью. Мог ведь он встревожиться не только как усердный цензор, но и как человек, которому – если можно так выразиться – наступили на литературный стереотип.

Сделано ли это предположение только из духа противоречия? Да. Но не только. Ведь известно, что первой реакцией Пушкина на «Мою тюрьму» Сильвио Пеллико было подозрение, что автор воспоминаний, в которых так мало ненависти, – неискренен. Не исключено, что в основе такой реакции Пушкина тоже лежал стереотип, о котором и идет речь. Назовем его пока романтическим стереотипом тюрьмы и каторги и сразу же укажем, что это определение неточно, так как в основе данных стереотипов – не только не к о т о р ы е романтические тексты, но прежде всего – прочтение этих текстов, и что, в общем, все это связано со сложным комплексом познавательных, эмоциональных и эстетических проблем, которые в нашем исследовании повести Достоевского мы будем затрагивать еще не раз. Независимо от этих оговорок, бесспорным является то, что «Записки» вступают в спор с романтизмом, о чем речь пойдет дальше.

С другой стороны, когда Достоевский писал и публиковал «Записки», существовал и еще один стереотипный образ каторги, а именно – тюремно-каторжный фольклор. Свидетельства о нем есть и в самом тексте повести – это «известные песни». Достоевский приводит три таких песни. Две – юмористические и одна, о которой повествователь говорит, что она была заунывная, «с приторными и довольно безграмотными словами» (110–111). В издание «Записок», на которое мы ссылаемся, включена также так называемая «Сибирская тетрадь» Достоевского, в которой содержатся 486 записанных писателем выражений и кратких диалогов, связанных с каторжным фольклором. Часть из них была использована в повести. Однако, вообще говоря, в «Записках из Мертвого дома» – за исключением прекрасного рассказа «Акушкин муж» – народный образ тюрьмы-каторги не встречается. Это связано с тем – факт для нашего исследования крайне важный, – что повесть создает собственный образ «русского народа», к тому же, по замыслу писателя, этот образ должен был составить главную художественно-убедительную ценность повести.

Вернемся, однако, к романтизму и начнем с самого начала, то есть с «Введения».

I

«Введение» – текст очень странный. В нем 88 предложений, или – как любят считать англо-американские литературоведы – 9750 печатных знаков. Самое длинное предложение состоит из 62 слов, самое короткое – из 2. Самое длинное: «В одном из таких веселых и довольных собою городков с самым милейшим населением, воспоминание о котором останется неизгладимым в моем сердце, встретил я Александра Петровича Горянчикова, поселенца, родившегося в России дворянином и помещиком, потом сделавшегося ссыльнокаторжным второго разряда за убийство жены своей и, по истечении определенного ему законом десятилетнего термина каторги, смиренно и неслышно доживавшего свой век в городке К. поселенцем». Самое короткое: «Икра удивительна».

Не будет большим преувеличением сказать, что между этими предложениями растянута удивительная сеть информации. Рассматривая «Введение» с точки зрения сообщаемой

читателю информации, мы можем разделить эти 88 предложений на 5 групп.

Первые 19 сообщают нам о достоинстве жизни в маленьких городках далеких сибирских краев. На первый взгляд, мы имеем здесь дело с чистой воды иронией, которая начинается уже с первых слов: «В отдаленных краях Сибири...». Дело в том, что в ст. 20 уголовного кодекса Российской Империи указывалось несколько видов ссылки, в том числе: «Ссылка на поселение в наиболее отдаленные края Сибири», а также «ссылка на поселение в не столь отдаленные края Сибири». Таким образом, в русском языке XIX века такие выражения, как «отдаленные края» и «края не столь отдаленные» имели особое значение, что использовал не только Достоевский, но и Салтыков-Щедрин, а также, вероятно, и другие писатели. Далее ирония продолжается. Ибо трудно как-либо иначе объяснить такие фразы, как: «Климат превосходный» или «Барышни цветут розами и нравственны до последней крайности». Или утверждение, что «умеющие разрешать загадку жизни почти всегда остаются в Сибири и с наслаждением в ней укореняются», а те чиновники, которые этим умением не обладают, скучают и стремятся как можно быстрее вернуться восвояси. Все это писал Достоевский – ф е л ь е т о н и с т, автор «Зубоскала» (1845) и «Петербургской летописи» (1847). Но и фельетонист Д о с т о е в с к и й, писатель, знающий, что несколько капель правды придают шутке еще больше остроты. Поэтому мы узнаем правдивые сведения о хлебосольстве сибирских купцов, о высоких урожаях, но также – и об «удивительной икре».

Закончив описание прелестной жизни в маленьких сибирских городках, автор («издатель») рисует портрет бывшего ссыльнокаторжного поселенца Александра Петровича Горянчикова, с которым он познакомился в городе К. Пользуясь терминологией кино, можно сказать, что этот портрет дается средним планом – 16 предложений – и крупным – 29 предложений. Общее впечатление: страшный нелюдим, чужак; по мнению почетных членов города – молчун, человек чрезвычайно ученый, живущий, к тому же, безукоризненно. Сегодняшнему читателю – во всяком случае, автору этих строк – в описании поведения Горянчикова бросается в глаза одно предложение: «Если вы с ним заговаривали, то он смотрел на вас чрезвычайно пристально и внимательно, с стро-

гой вежливостью, выслушивал каждое слово ваше, как будто в него вдумываясь, как будто вы вопросом вашим задали ему задачу или хотите выпытать у него какую-нибудь тайну, и, наконец, отвечал ясно и коротко, но до того взвешивая каждое слово, что вам вдруг становилось отчего-то неловко и вы наконец сами радовались окончанию разговора». Так ведут себя люди, за плечами у которых долгое следствие и разговоры с тюремным начальством, когда любое неосторожно оброненное слово может повлечь суровое наказание. Но это впечатление нашего современника. Читатель же XIX века, нужно полагать, не останавливал особо внимания на этой фразе. Царская Россия была «тюрьмой народов», но следствие и каторга были знакомы – если вспомнить Польшу – ничтожно малому количеству людей, охваченных самодержавной опекой Его Императорского Величества. Приведенную выше фразу Достоевский написал – если можно так выразиться – не для своих современников, а для нас...

Четвертая часть «Введения» – 15 предложений – сообщает нам о смерти Горянчикова. Мы узнаем также, что, вопреки сложившемуся в городе мнению, бывший каторжник читал немного, что он был очень привязан к десятилетней внучке своей квартирной хозяйки, что целыми ночами ходил по комнате и разговаривал сам с собой; «не писал ли?» – подготавливает нас автор. Ключевым в этой части «Введения» являются три последние фразы. Автор-издатель спрашивает маленькую Катю, помнит ли она своего учителя. «Она посмотрела на меня молча, отвернулась к стенке и заплакала. Стало быть, мог же этот человек хоть когда-нибудь заставить любить себя». Эти фразы имеют значение не в контексте «Введения» или самих «Записок», но в контексте всего того, что мы знаем о Достоевском безотносительно к «Запискам». Можно сказать, что отношение взрослых к детям и детей к взрослым имеет в творчестве Достоевского, как и вообще для самого писателя, ключевое значение. Это замечали уже его современники – вспомним хотя бы известную в свое время речь знаменитого адвоката А. Ф. Кони. Одни связывают это с биографией Достоевского, в частности, с историей мнимого изнасилования несовершеннолетней девочки. Другие объясняют влиянием Евангелия. Мне кажется, что оба объяснения не выдерживают критики. Случай изнасилования несовершеннолетней может – и даже должен постольку, поскольку это

«произошло», – интересоваться биографа. Как немного занимавшийся этой темой, могу сказать только, что эти утверждения не имеют достаточных оснований: они опираются на слухи, которые распускал Страхов, ссылаясь на Висковатого, – и уже с учетом этих слухов – на однозначную интерпретацию записи в дневниках писателя, записи настолько неясной, что об однозначном ее толковании и речи быть не может. В биографическом исследовании историю об изнасиловании несовершеннолетней я бы рассматривал как неправдоподобную. И не использовал бы ее даже в добросовестно написанном биографическом романе. А при исследовании творчества писателя и вообще не подпустил бы ее на более или менее близкое расстояние.

Что же касается Евангелия – здесь имеются в виду прежде всего главы 18 и 19 от Матфея, глава 10 от Марка и глава 18 от Луки, – то это всего лишь ставит перед нами другой вопрос. Почему из всего богатства Евангелия Достоевский выбрал именно эти фрагменты? Гораздо правдоподобнее выглядит другое объяснение: будучи писателем, особо остро реагирующим как на несправедливость, так и на любовь к детям, и одновременно религиозным автором (довольно своеобразным, добавим; а иногда и просто приводящим в изумление как верующих, так и неверующих заявлением, что знает Библию), Достоевский вполне естественным образом связывал свою писательскую навязчивую идею с текстом, имеющим для него фундаментальное значение, – Евангелием. Само обращение к образу ребенка как литературный прием было свойственно не только ему, но и другим писателям XIX века – например, Диккенсу или Мицкевичу. Эти приемы, впрочем, имеют в нашей культуре вполне определенные функции убеждения. Английский русист Рональд Хиггинс не без основания замечает, что один из самых постоянных мотивов творчества Достоевского, глумление над детьми, связан с тем вниманием, которое писатель уделял теме потенциального зла человеческой природы, «так как имел убеждение, с которым трудно не согласиться: не может быть ничего хуже жестокого отношения к детям». В случае Горянчикова действовал обратный принцип. Мнение «отцов города» могло быть и ложным, но привязанность и слезы десятилетней Кати должны однозначно свидетельствовать в пользу покойного.

И наконец последний абзац, последние 10 предложений «Введения». «Издатель» забирает оставшиеся после Горян-

чикова бумаги и среди них находит объемистую тетрадку, испи-
санную мелким почерком, текст был не закончен, может быть,
заброшен и забыт самим автором. «Это было описание, хотя и
бессвязное, десятилетней каторжной жизни, вынесенной Алек-
сандром Петровичем. Местами это описание прерывалось
какою-то другою повестью, какими-то странными, ужасными
воспоминаниями, набросанными неровно, судорожно, как
будто по какому-то принуждению. Я несколько раз перечиты-
вал эти отрывки и почти убедился, что они писаны в сумасше-
ствии. Но каторжные записки – «Сцены из Мертвого дома», –
как называет он их сам где-то в своей рукописи, показались мне
не совсем безынтересными. Совершенно новый мир, до сих пор
неведомый, странность иных фактов, некоторые особенные
заметки о погибшем народе увлекли меня, и я прочел кое-что с
любопытством. Разумеется, я могу ошибаться. На пробу выби-
раю сначала две-три главы; пусть судит публика...»

«В „Доме мертвых“, – пишет Р. Шибыльский, – Достоев-
ский использовал старый прием XVIII века – найденную руко-
пись». Предлагаемая нами интерпретация требует дополнения
этого утверждения. Приему «найденной рукописи», за кото-
рым следует прием «предисловия издателя», к тому времени,
когда Достоевский писал «Записки», было уже 150 лет. В его
истории можно выделить по крайней мере три периода, три
способа его функционирования. Сначала этот прием, так же,
как и связанное с ним предисловие, служили свидетельст-
вом достоверности фабулы, облагораживали «низкий» жанр,
которым являлся роман. Но уже к середине XVIII века прием
утратил новизну – наплыв «найденных рукописей» привел к
тому, что все это, как и предисловие, стало считаться фор-
мальностью и перестало иметь какое-либо значение. Прием
начинает как бы представлять пародию на себя самого, но все
же сохраняется; его перенимает готический роман, затем и
романтическая повесть. «Найденная рукопись» первой поло-
вины XVIII века, так же, как и романтическая «найденная
рукопись», могут служить примером «продолжения и отрица-
ния». В этом легко убедиться, читая предисловия «издателей»,
предпосланные многочисленным «Историям...», или «Вос-
поминаниям...», или даже «Герою нашего времени». Сумми-
руя – а следовательно, и упрощая, – можно сказать, что в слу-
чае повестей и романов XVIII века предисловие служит свиде-
тельством достоверности текста, «деромантизируя» его и

представляя как правдивую историю; «облагораживание» достигается здесь с помощью приема – не единственного впрочем, – состоящего во внушении, что данный текст не есть произведение искусства. А в «Герое нашего времени» расширенное предисловие, как бы романтически играя с основным текстом, представляет его именно как произведение искусства, следовательно – как отрицание правдивости или же как правду высшего порядка.

«Введение» Достоевского относится прежде всего к романтическому варианту «найденной рукописи». Представляемый «издателем» автор должен быть охарактеризован как фигура романтическая: живущий на окраине города бывший каторжник, нелюдим, чужак, убийца, по которому плачет невинный – по определению – ребенок... Чего еще можно требовать от романтического автора «найденной рукописи»? Разве только, чтобы герой умер от скоротечной чахотки и был бы непризнанным гением. И что же «издатель» обнаруживает в бумагах? Описание каторги, прерывающееся нервными записями каких-то ужасных воспоминаний, написанных – по мнению нашедшего – как будто в сумасшествии.

Леонид Гроссман мимоходом, не останавливаясь на этом подробно, замечает, что «сумасшедшая» часть рукописи могла представлять собой первое объявление об «истории Рогожина и Настасьи Филипповны». Это предположение неубедительно. Более, чем через 100 лет после появления «Записок» Владимир Буковский рассказывает, что один из его товарищей по заключению в ленинградской «психушке», по имени Костя, сначала убил свою жену, потом пытался зарезаться. На левой стороне груди у него был широкий багровый шрам. Костя измучил автора своими рассказами о жене, о том, как она ему изменяла и как он за ней следил. И не было никакой возможности понять, что в его рассказах правда, а что бред. Можно предположить, что в каждой тюрьме и в каждом лагере имеются какие-нибудь полупомешанные женоубийцы. В качестве предположения можно допустить, что и Достоевский в омском остроге встретил такого же «Костю» и что упоминание о «сумасшедшей» части рукописи Горяничкова является отголоском этой встречи. Оставим, однако, отвлеченные допущения и займемся текстом «Введения».

На первый взгляд, мы имеем дело с классическим романтическим вступлением – можно предположить, к романти-

ческому описанию острога. Вероятно, что значительная часть читающих «Введение» этого и ожидала. Однако такое однозначно романтическое прочтение «Введения» противоречит тому, что мы знаем о «Записках». Ибо что бы мы ни говорили об их отношении к романтизму – а об этом речь еще впереди, – это все же явно повесть не романтическая. Перед нами, таким образом, стоит альтернатива: либо Достоевский написал предисловие, которое никак не относится к самой повести, либо «Введение» не является однозначно романтическим текстом.

Первое предположение вовсе не обязательно абсурдно. В конце концов, могло получиться так, что авторское предисловие «написалось» в одном ключе, а сама повесть – в другом. Так резко вопрос, правда, никто не формулирует. Но у исследователей затруднения в толковании «Введения»: Виктор Шкловский, например, считает, что контраст между вульгарностью фельетонного стиля «Введения» и тоном самой повести является сознательным приемом. Целью этого резкого перехода от фельетона к серьезности и трагичности могло быть – насколько мы понимаем – намерение поразить читателя. Это предположение можно было бы допустить, тем более, что Достоевский сильных эффектов не чурался, но дело в том, что фельетонным стилем написан только первый абзац «Введения». Шкловский говорит, что содержащаяся во «Введении» информация о жизни Горянчикова в К. должна служить ироническим отрицанием последних слов повести; начало и финал повести, по его мнению, говорят о сломанном человеке. «Расковали мертвеца». Чтобы прийти к такому выводу, Шкловский проводит две – недопустимых, на мой взгляд, – операции. Во-первых, он предлагает нам забыть о том, что двумя страницами раньше назвал «вульгарной фельетонистикой» «Введение». Во-вторых, он хочет, чтобы мы необыкновенно умело построенное окончание главы «Госпиталь» – о чем речь еще впереди – отнесли к судьбе рассказчика.

Я пишу это не для того, чтобы упрекнуть Шкловского, но чтобы показать, что даже такой опытный исследователь оказался в затруднительном положении, пытаясь объяснить стилевое расхождение между предисловием «издателя» и текстом повести. А между тем, у него не возникает никаких проблем при анализе предисловия и текста «Героя нашего времени». Но тут дело, конечно, в том, что все произведение Лермонтова однозначно романтично.

О сложности стоящей здесь проблемы пишет и В. Туниманов. Он указывает, что начиная с первой главы и на протяжении всей книги Достоевский намеренно перечеркивает биографию настоящего автора «Сцен из Мертвого дома», как бы забывает о нем. И напоминает, что в литературе на эту тему издавна сложилось так, что образ повествователя является полностью вымышленным, что Горянчиков полностью вытесняется Достоевским.

Внимательный читатель повести Достоевского мог бы – не без некоторой ехидности – заметить, что дело обстоит прямо противоположным образом. Что Александр Петрович Горянчиков и Федор Михайлович Достоевский отбывали наказание скорее всего в двух разных острогах. Именно на каторге Горянчикова царил особый общий тон. «Этот общий тон составлялся снаружи из какого-то особенного, собственного достоинства, которым был проникнут чуть не каждый обитатель острога. Точно в самом деле звание каторжного, решеного, составляло какой-нибудь чин, да еще и почетный. Ни признаков стыда и раскаяния! Впрочем, было и какое-то наружное смирение. (...) Все это были только слова. Вряд ли хоть один из них сознавался внутренне в своей беззаконности». А в остроге Достоевского, описанном на 13 лет позже (в «Дневнике писателя»), ни один из каторжников не переставал считать себя преступником. И ни один из них, по мнению писателя, не избежал долгих внутренних страданий, так сильно очищающих и укрепляющих.

Но в сторону злону. Вернемся к тезису о том, что в повести рассказчик Горянчиков оказался совершенно вытеснен писателем Достоевским. Такой взгляд на вещи значит, что персонаж, появившийся во «Введении», а следовательно, и само «Введение» должны считаться чем-то несущественным – вероятно, ошибкой автора. Ведь трудно сделать иной вывод из послышки, что предисловие никак не относится к тексту повести или же этим текстом было «отторгнуто». Повторяем, что чисто теоретически такая ситуация возможна, хотя, по правде говоря, для исследователя не интересна. Писатель написал введение для того, чтобы создать образ рассказчика, вслед за чем написал повесть, откуда этот персонаж был вытеснен. И всё.

Так ли обстоит дело с «Записками из Мертвого дома»? Нет, попросту нет. Образ рассказчика Горянчикова играет

ключевую роль в «Записках». Достоевский именно доверил свою повесть каторжнику, н е б ы в ш е м у политическим преступником. И человек, который описывает нам «Мертвый дом» вместе с его обитателями, последовательно старается не быть «государственным преступником». Так по меньшей мере в одном – а по моему мнению, в ключевом – пункте вступление и сама повесть составляют единое целое.

При таком утверждении возникает другой вопрос: не обстоит ли дело так, что «Введение» не является таким уж романтическим текстом, как это кажется при нормальном чтении? (Нормальным чтением я называю занятие отчасти развлекательное и во многом определенное подсознанием читателя, а шире – его культурными навыками.) В рамках нормального чтения Горянчиков – чужак, нелюдим, преследуемый кошмарами; этот персонаж, отличающийся от счастливых обитателей городка, представляется романтическим героем. Однако поведение героя «Введения» можно объяснить и в других категориях: этот человек болен послетюремным психозом. Современная наука о тюремных заведениях склоняется к мнению, что само пребывание в тюрьме дольше пяти лет может привести к психическим травмам. А Горянчиков провел на каторге (которую, к тому же, не следует путать с тюрьмой) не пять, а десять лет. Поэтому можно сказать, что описание поведения Горянчикова, описание конкретного случая послетюремного психоза, является одним из опережающих науку открытий литературы, схожим с «психоаналитическими открытиями» Стендаля. Против такой интерпретации поведения Горянчикова можно выдвинуть возражение: следов психоза в тексте «Записок» нигде не содержится. Наоборот, он написан психически совершенно здоровым человеком. На это возражение можно дать два дополняющих друг друга ответа.

Во-первых, «нормальность» или «ненормальность» рассказчика является литературным приемом. С небольшой дозой преувеличения можно сказать, что Достоевский пользуется этим приемом по принципу: чем ненормальнее ситуация, о которой идет речь, тем нормальнее, а по сути – наивнее становится рассказ о ней. Пример тому – «Записки из Мертвого дома» или «Бесы».

В «Записках» «наивность» повествования объясняется тем, что оно касается первого пребывания Горянчикова в остроге, то есть такого периода, когда любой новоприбывший

смотрит на этот особый мир наивно уже в силу самой ситуации. Может быть, эта «наивность» в какой-то мере идет и от «издателя». Ведь именно он сообщает нам, что найденные записки покойного были «бессвязным» описанием пережитого Горяничковым. Тем самым он уведомляет нас о том, что «связность» и «нормальность» текста «Записок» – результат стараний «издателя».

Наша попытка разъяснить поведение Горяничкова (послетюремный психоз) не снимает вопроса о романтичности или неромантичности произведения, но переносит его в другую плоскость. Не то, чтобы Достоевский осознанно стремился к совершению научных открытий – не этим он занимался. Он просто знал, что некоторые люди выходят из тюрьмы «иными». А поскольку «инакость», отличие ассоциировались для него с комплексом романтических приемов, то мы и находим мизантропа, дом на краю городка, таинственные кошмары в бессвязной рукописи. Пользуясь любимым термином Леви-Стросса, можно сказать, что он описал свое открытие «кустарным» методом. Это утверждение хотя и правдиво, но, по моему, недостаточно. Поскольку связь неромантического предисловия «издателя» с романтизмом не ограничивается «кустарной» сферой. Так же, как в романтических произведениях, «Введение» подчеркивает, что текст есть результат усилий издателя, продукт о т б о р а, а следовательно, принадлежит к сфере фикции, искусства, вымысла. О том, что Достоевскому было важно, чтобы «Записки» не читались как е г о в о с п о м и н а н и я, пишут «все». Поэтому данную проблему мы можем оставить.

В целом, мой взгляд можно сформулировать так. Главная функция «Введения» – ввести в роман рассказчика, который, будучи бывшим каторжником, не был бы при этом политическим преступником. За несколькими исключениями, Достоевский придерживается этой посылки. Повествование рассказчика в «Записках» н е я в л я е т с я рассказом политзаключенного. Создавая образ рассказчика, писатель основывался на собственном знании о том, что долголетнее пребывание на каторге может привести к длительным психическим расстройствам. Горяничков-рассказчик «болен» послетюремным психозом, о чем может свидетельствовать его поведение, а особенно манера слушать собеседника и отвечать на вопросы. Свое психологическое открытие послетюремного психоза

писатель оформил с помощью первых попавшихся приемов романтического происхождения. Отсюда иллюзорное, но пространенное впечатление, что мы имеем дело с романтическим введением к «найденной рукописи», которая сама по себе не романтична. Отсюда же все хлопоты интерпретаторов. Отсюда абсурдная концепция о том, что Достоевский вытеснил Горянчикова, предполагающая – наверняка безотчетно, – что онтологические статусы писателя и созданных им персонажей идентичны и в любом случае взаимозаменяемы.

«Введение» – очень насыщенный текст, построенный на нескольких оппозициях. На контрасте фельетонных издевок над красотами и достоинствами Сибири и трагичной фигуры поселенца. На контрасте типично романтических средств описания «странности» – и того, что описывается, т. е. случая послетюремного психоза. На необычном или даже странном статусе текста. «Введение» выполняет две, казалось бы, противоречивых функции. Во-первых, оно утверждает, что повествование, с которым должен познакомиться читатель, – результат отбора, а стало быть, вымысел, искусство. Такова романтическая функция «Введения». Одновременно оно уведомляет нас, что эта выдумка открывает читателю новый, незнакомый ему мир, мир «Мертвого дома». А правдивость этого открытия подтверждается тем, что его изложил некто, побывавший там. Это, как известно, является функцией «издательского» предисловия XVIII века.

При анализе все это наверняка кажется вульгарным и плоским. Но это неизбежная цена анализа, расчленения целостности, игры в другую игру, нежели писание или «нормальное» чтение повести.

II

Почему же то, что рассказчик «Записок из Мертвого дома» обыкновенный убийца, а не политический преступник, может иметь такую важность для формы повести?

Можно без риска возложить все на счет цензуры. Достоевский имел основания предполагать или даже быть почти уверенным, что ни одного слова о петрашевцах «не пропустят». Кстати, может быть, и «пропустили» бы, учитывая, что первое сообщение о деле петрашевцев появилось в 1862 г. в альма-

нахе «Полярная Звезда». Но об этом в 1859–1860 гг. писатель знать не мог. Тем не менее, хотя эта гипотеза вполне правдоподобна, главной я считаю другую причину. (А вообще с цензурой XIX века писатели справлялись с удивительной легкостью.) Я думаю, что политичность или внеполитичность были важны для Достоевского по меньшей мере по двум серьезным причинам.

Как известно, «Мертвый дом» является первым произведением Достоевского, в котором писатель ставит ключевую для своего видения мира проблему разрыва, пропасти, отделяющий «народ» от «дворянства» или, скорее, от «просвещенных слоев». Чтобы показать эту пропасть убедительно, в чистом виде, писатель должен был отбросить дополнительные компоненты в противостоянии «народ – дворянство». И чтобы подчеркнуть – на примере каторги, – что единство, в котором должны жить русские, трагически разорвано, ему нужно было продемонстрировать, что все жители каторги равны как преступники. Поэтому Горянчиков должен был быть преступником уголовным, автором «банального» преступления – женоубийства в состоянии аффекта, ничем с этой точки зрения не отличаться от крестьян, мещан и солдат, заполняющих страницы повести. Если бы рассказчик «Записок из Мертвого дома» был «государственным политическим преступником», каковым был сам Достоевский, то могло оказаться бы, что «народ» сторонится его не только потому, что он дворянин, но и потому, что осужден он был за действия, которые, в лучшем случае, кажутся «народу» удивительными и непонятными. А это, собственно говоря, не только могло бы, но и д о л ж н о бы было обнаружиться. В этом убеждает нас хотя бы фрагмент первого письма, написанного Достоевским по выходе с каторги брату Михаилу: «Понятия об нашем преступлении они (обычные каторжники. – Р. З.) не имели. Мы об этом молчали сами, и потому друг друга не понимали, так что нам пришлось выдержатъ всё мщенье и преследование, которым они живут и дышат, к дворянскому сословию».

Письма писателей бывают двух родов: обычные, а также написанные с мыслью о потомках и посмертных изданиях собраний сочинений. В каждом из этих случаев необходим особый подход к анализу писем, что само по себе может стать интересной темой для размышлений. Мы не можем заниматься здесь серьезно этой проблемой. Но об одном мы

должны сказать. В обоих типах писем исследователь зачастую сталкивается с неясными, неоднозначными фрагментами. Но неоднозначности это разные. В обычных письмах они непреднамеренны и объясняются тысячей случайных причин. А в письмах, написанных с мыслью о потомках, некоторые неясности могут быть результатом сознательных действий отправителя. Я считаю, что процитированное письмо от 22. 2. 1854 принадлежит к ряду обычных.

Приведенный выше фрагмент неясен в двух местах. Как понимать первую фразу? Значит ли «не имели понятия» – «не знали» или «знали, но не могли понять»? Можно наверняка утверждать, что на каторге соседи знают, «кто за что сидит», а уж особенно – в случае политических преступников. Это видно хотя бы по тому, что с ними обращаются не так, как с уголовниками, о чем однозначно свидетельствует глава «Товарищи», а также воспоминания многих бывших каторжников.

Ну, а если каторга знала, за что были осуждены Достоевский и Дуров («мы» включает и Дурова), то почему же все молчали «на эту тему»? По разным причинам, но скорее всего, чтобы не быть заподозренными в «подстрекательстве», а также потому, что – смотри выше – крестьяне и мещане были не в состоянии понять, чего «барчукам» было нужно. И наконец, как понимать «нам пришлось выдержать»? Какое отношение выражено словом «пришлось»? Это, конечно, сильное допущение, но мы можем, тем не менее, выразить мысль Достоевского так: уголовники были не в состоянии понять, в чем состояло наше преступление, мы же – опасаясь возможного доноса, но не только по этой причине – не могли им объяснить, в чем дело. Поэтому мы не понимали друг друга, вследствие чего мы были обречены на издевательства с их стороны.

Не нужно особой историко-социологической интуиции, чтобы представить себе, что уголовные преступники, этот «народ» в кандалах, склонны были смотреть на политических как на безбожников и цареубийц, то есть как на людей, которые хотят разрушить две основы того единственного мира, который этот «народ» знал и был в состоянии вообразить. Если эта догадка правильна, то можно предположить, что постоянное, а порою и истеричное подчеркивание религиозности «народа» и его привязанности к царю, с чем мы встречаемся в «Дневнике писателя», имеет истоки в мучительном

опыте, вынесенном с каторги. Однако о «Дневнике» мы пишем в другом месте – возвратимся к «Запискам».

Итак – оставляя в стороне соображения цензурные, – то, что рассказчик в повести – не «политический», важно для формы романа по двум причинам. Во-первых, это позволяет представить конфликт «дворянство – народ» в чистом виде, оставив в стороне противоборство «политические – уголовники». Во-вторых, это способствует такому пониманию и представлению каторги, в котором нет места для политической проблематики. И снова можно было бы все объяснить цензурными соображениями. В остроге, описанном в «Записках», политические беседы могли вестись прежде всего с поляками. А здесь цензура на самом деле была крайне категорична. И, тем не менее, я считаю, что цензурные соображения были не самыми важными. Достоевский, по-моему, просто не хотел вводить политику в мир «Мертвого дома». Ведь не делал он этого и позже, когда цензура стала мягче, а положение самого пистаеля – гораздо прочнее. В этом он ничем не отличался от других крупных писателей XIX века. Век этот, правда, создал политический роман – Дизраэли, Тrollop, – но тут же отодвинул его на один из второстепенных путей литературного развития. Почему так вышло и почему политический роман, за исключением нескольких мрачных утопий, так и не выбрался на торный путь – вопрос слишком серьезный, чтобы им здесь заниматься. Ограничимся утверждением, что главной, существенной, а не цензурной причиной, по которой Достоевский не стал вводить политики в «Записки», было то, что подобный выбор соответствовал доминирующим в тогдашней прозе способам воссоздания мира. Вторая причина также проста: в период работы над «Мертвым домом» у Достоевского не было определенных политических воззрений, если не учитывать убеждения в фатальной разделенности русских на «народ» и «дворянство». И именно необходимость показать это разделение и прославить «народ» требовала исключения политики из мира «Мертвого дома». Достоевский делает это вполне сознательно, хотя и необыкновенно тонко.

Начнем с момента, равно касающегося как повести, так и биографии самого писателя. Исследователи биографии писателя задаются вопросом: какой конфликт Достоевского с петрашевцем Дуровым, товарищем по процессу, этапам и каторге, обусловил тот факт, что Горянчиков в «Записках

из Мертвого дома» всего лишь только несколько раз, не называя ни фамилии, ни инициалов, упоминает о товарище по неволе, одновременно с ним прибывшем в острог. Что касается отношений Достоевского и Дурова, то здесь я ничего не могу добавить к тому, что указано во многих работах – биографических или исследующих «Записки из Мертвого дома». Известно только, что дело не совсем ясное: вероятно, поссорились, но отношения все же сохраняли. Если, однако, посмотреть на это с точки зрения внеполитичной поэтики «Записок», то можно прийти к заключению, что при написании повести Достоевский имел три возможных варианта. Он мог заставить женоубийцу Горянчикова прибыть в острог одного. Мог дать ему товарища или товарищей по этапу с вымышленными биографиями. Мог наконец мимоходом вспомнить один или несколько раз об этом сокаторжнике. Но уж явно не мог Горянчиков прибыть в острог вместе с политическим.

Из внимательного чтения «Записок» явствует, что рассказчик говорил о политике с двумя людьми и, более того, имел какие-то политические взгляды. Речь идет о каторжниках-поляках: Б-кий (Юзеф Богуславский) и М-кий (Александр Мирецкий).

Приведем соответствующие фрагменты.

В течение двух лет рассказчик работает почти всегда с Б-ким. «Мы с ним болтали; говорили об наших надеждах, убеждениях. Славный был он человек; но убеждения его иногда были очень странные, исключительные. (...) Б-кий с болью принимал каждое возражение и с едкостью отвечал мне. Впрочем, во многом, может быть, он был и правее меня, не знаю; но мы наконец расстались, и это было мне очень больно: мы уже много разделили вместе».

М-кий в остроге оказался значительно раньше, чем рассказчик. Когда Горянчиков только прибыл, он «многим интересовался из того, что в эти два года случилось на свете и об чем он не имел понятия, сидя в остроге; расспрашивал меня, слушал, волновался. Но под конец с годами все это как-то стало в нем сосредоточиваться внутри, на сердце. Угли покрывались золою». После освобождения, то есть перейдя на статус поселенца, М-кий нашел себе работу в городе. Сначала он часто приходил в острог и «когда только мог, сообщал нам разные новости. Преимущественно политические очень интересовали его».

Эти недолгие отношения имеют одну особенность: там, где запросто говорится политике, – там рассказчик помещен «вовне». Это М-кого интересовали вести с воли, это М-кий приносит в острог интересующие его политические новости. Горяччиков рассказывает потому, что об этом его просят. Слушает потому, что М-кий рассказывает. Иначе обстоит дело в случае разговоров с Б-ким. Тут мы видим споры, обмен мнениями. Но с чем конкретно были связаны надежды обоих собеседников, о чем они высказывали свои мнения – об этом мы можем иметь только догадки, да и то весьма туманные.

Боязнъ вмешательства цензуры? Наверняка. Об этом свидетельствует письмо брату Михаилу, написанное в Твери 9 октября 1859 г. Стоит привести здесь целиком фрагмент этого письма, касающийся «Записок из Мертвого дома», остановить на время поток аргументации и вернуться к делам более важным, чем цензура.

«Эти „Записки из Мертвого дома“ приняли теперь, в голове моей, план полный и определенный. Это будет книжка листов в 6 или 7 печатных. Личность моя исчезнет. Это записки неизвестного; но за интерес я ручаюсь. Там будет и серьезное, и мрачное, и юмористическое, и народный разговор с особенным каторжным оттенком (...), и изображение личностей, никогда не *слыханных* в литературе, и трогательное, и, наконец, главное – мое имя». И чуть дальше: «Но может быть ужасное несчастье: запретят. (Я убежден, что напишу совершенно, в высшей степени цензурно.) Если запретят, тогда все можно разбить на статьи и напечатать в журналах отрывками».

Увлекательно и заслуживает обширного комментария, который я представляю здесь по пунктам.

Во-первых, кажущееся противоречие между предположением, что личность писателя полностью исчезнет, и утверждением, что самым важным будет то, что появится «мое имя». Смысл этого таков: личность писателя будет отсутствовать в повести, поскольку это будут записки какого-то неизвестного, – вместе с тем, фамилия появится на титульном листе. Это очень важно, поскольку с помощью «Записок» Достоевский должен возвратиться на российскую литературную сцену, более того, это должно быть возвращение «со щитом», читатель должен быть захвачен чем-то ему неизвестным и в высшей степени волнующим. Несмотря на присутствие в по-

вести «высоких материй», план «Записок» является планом – как бы мы сказали сегодня – бестселлера.

Во-вторых, в момент написания письма Достоевский имел в голове если не фабулу «Записок», то их эмоциональную рецептуру. И последовательно, мастерски реализовал ее.

В-третьих, боязнь цензуры. Да, боялся. Боялся, что цензура сделает невозможным его ослепительный «возврат на сцену». Отсюда и забота о том, чтобы написать «в высшей степени цензурно». (А раз удалось ему написать несомненный шедевр, то опустим все – за исключением одного – возникающие здесь различные замечания. Это единственное замечание такое: царская цензура была лишь в небольшой степени идеологической; а следовательно, писатель, вступающий в игру с цензурой, – если только он не был польским патриотом, а Достоевский как раз им не был, – имел гораздо большие шансы, чем... Ну, чем известно когда.)

Таким образом, мы вернулись к возможному влиянию страха перед цензурой на форму «Записок», в особенности же к тому, что именно этими соображениями могло быть вызвано отсутствие в повести политической линии.

Страх перед карандашом цензора – наверняка. Однако я думаю, что на форму «Записок» повлиял еще и другой внелитературный фактор, гораздо более благородный. А именно – известный тюремный принцип: не писать ничего такого, что могло бы повредить другим, особенно все еще лишенным свободы. Принципы эти последовательно соблюдает в своих воспоминаниях Пеллико, который объясняет шутливо, что как «обиженный любовник» решил о политике не вспоминать. Не знаю, читал ли Достоевский «Мою тюрьму» – вероятно, читал, – ведь читал он очень много, а книга была нашумевшая. Ну, а если и не читал, то принцип, о котором идет речь, настолько очевиден, что до него можно прийти и не читая никаких тюремных воспоминаний.

Как бы то ни было, соображения, о которых я пишу, в особенности второе, можно считать вполне достаточными; но, тем не менее, я утверждаю: тот факт, что писатель в отношении политики прибегал только к легким намекам, имеет свои истоки в самой литературной материи повести. Представим, что вместо неясного упоминания мы имеем дело с обширным, на двух-трех страницах описанием споров рассказчика с Б-ким. Это тут же изменило бы перспективу

взглядов Горянчикова на «Мертвый дом». И не только потому, что что-то было бы добавлено, но прежде всего потому, что все это нельзя бы было описать так, как это было описано. Мир «Записок из Мертвого дома» закрыт для политической тематики. Если бы писатель ввел в повесть политические мотивы, то познавательные, конструктивные, моральные и другие аспекты этого мира пришлось бы изменить. И вовсе не обязательно эти перемены были бы к лучшему.

Здесь мы сталкиваемся с ситуацией, в которой биография писателя сливается с его творением, хотя и не совсем так, как обычно представляют себе позитивисты и фрейдисты. Достоевский был политическим преступником и знал, что именно так – как политического и бывшего каторжника – его воспринимают не только власти, но и, что важнее, элита его потенциальных читателей. Следовательно, если он должен был написать повесть о каторге глазами каторжника и если проблематика этой повести не должна была затрагивать политических аспектов пусть лишь одной пенитенциарной системы – оставляя в стороне цензурные соображения, – то ему нужно было создать рассказчика, который попал на каторгу по совершенно другим, чем сам Достоевский, причинам. Биография писателя навязывала выбор рассказчика, жизненный путь которого был бы как можно менее похож на жизненный путь автора. О том, что здесь продуманная литературная концепция, свидетельствует и следующий факт. Когда речь шла о его собственной биографии, Достоевский – к тому же, поздний Достоевский – стремился, чтобы четко и однозначно было указано, что он был осужден за участие в деле петрашевцев, и было бы объяснено, что это за дело.

Я уже говорил о том, что свой принцип Достоевский последовательно применял на всем протяжении «Записок из Мертвого дома». Тем не менее, в трех местах в образ рассказчика вторгается биография писателя – политического преступника.

Пятая глава второй части, «Летняя пора», кончается описанием инспекции острога. Генерал, полковники, таинственный штатский. «Молча обошел генерал казармы, заглянул и на кухню, кажется, попробовал щей. Ему указали на меня: так и так, дескать, из дворян.

– А! – отвечал генерал. – А как он теперь ведет себя?

– Покамест удовлетворительно, ваше превосходительство, – отвечали ему».

Рассуждая здраво, не было никакого повода показывать генералу-ревизору какого-то женоубийцу, пусть и лишнего дворянства. Сценка эта имеет смысл, если предположить, что посещавший омскую каторгу генерал Шлиппенбах знал, что там отбывает наказание петрашевец, автор «Бедных людей». То есть смысл появляется, если предположить, что в образ Горяничкова «вторгся» след политико-литературной биографии Достоевского.

Вполне аналогичную ситуацию мы находим и в главе «Товарищи». Работой каторжников руководили – не непосредственно, конечно, – военные инженеры. Один из них поручил рассказчику и польскому заключенному Б-кому переписывать что-то в канцелярии. Продолжалось это недолго, три месяца, затем вследствие доноса Горяничков и Б-кий были возвращены на обычные каторжные работы. Оба встретили это с облегчением, так как работа в канцелярии успела им надоесть. (Заметим в скобках, что для героев Шаламова или Боровского перевод на лагерные общие работы мог означать смертный приговор.) Абзац, в котором описывается эта история, начинается со следующих слов: «...нам не делали и не смели делать никакой поблажки, никакого облегчения перед прочими арестантами в работе». Здесь мы вновь имеем дело со случаем вторжения биографии Достоевского в создаваемое жизнеописание Горяничкова.

И наконец третье соображение: рассказчик «Записок» не может точно вспомнить числа каторжников-дворян, так как автоматически считает всех государственных преступников дворянами – это было, конечно, очень часто, но не всегда.

Пишу об этом не потому, что хочу дать волю своему педантизму: были дети у леди Макбет или не было? Я совсем не намереваюсь ловить великого писателя на мелких «погрешностях». Если на протяжении без малого 250 страниц повести автор, сознательно изымая из текста ключевой пункт своей биографии, всего три раза на нем спотыкается, то можно говорить о глубоко продуманной и необычайно последовательно реализованной концепции рассказчика.

Повторяю: аполитичность рассказчика «Записок» была важна для Достоевского по нескольким причинам.

Во-первых, из соображений цензуры. Эта причина была хоть и существенной, но, на мой взгляд, не самой важной. Я не верю, что можно написать шедевр, постоянно думая о цензуре.

Во-вторых, вследствие влияния особого парадокса. Стремясь показать драматизм оппозиции «народ – дворянство», Достоевский должен был уравнивать рассказчика с «народом» в основном для каторги вопросе: если можно так выразиться, должен был осудить его за уголовное преступление. Заметим, что в современной литературе применение такого приема было бы невозможно. Ни у Шаламова, ни у Солженицына, ни у Марченко, ни у Буковского. И это несмотря на то, что двое первых описывают иной этап истории ГУЛАГа, чем двое последних, и на то, что Марченко отбывал свой первый срок не по политическому делу.

В-третьих, Достоевский хотел доверить повествование рассказчику, далекому от политики, потому что, в соответствии с «обычаями» серьезной художественной прозы XIX века, не намеревался писать политический роман. Более того. Если Бальзак и Стендаль в некоторых своих романах, осторожно дозируя, допускали все же политическую тематику, то Достоевский практически полностью изъяснял политику из своей повести о каторге. Это должна была быть повесть об остроге и одновременно о величии народа – такого, каким писатель хотел его видеть и каким хотел показать. Для этого политика не была ему нужна. Одновременно он доказал, что для шедевра о ц а р с к о й каторге политический элемент является лишним, если не пагубным. По сути, эстетический спор с «Современником» и Добролюбовым Достоевский разрешил не смертельно скучной статьей «Г-н -бов и вопрос об искусстве» (без малого два печатных листа!), а работой – одновременно – над «Записками из Мертвого дома».

Добавим, что период 50–60-х годов не очень способствовал внесению политических элементов в искусство. Это был период ругани всех со всеми: Герцена с Чернышевским, Тургенева с Добролюбовым, славянофилов с Катковым, Каткова со всеми, всех с Катковым и славянофилами. Чудесное время для писания ...«Мандаринов»*.

* Роман «с ключами» Симоны де Бовуар. – П е р.

Творчество – дело индивидуума. Его отношения с общественной атмосферой эпохи чрезвычайно сложны. И, тем не менее, из внесения политической проблематики в художественную прозу или стихи в те годы не выходило ничего хорошего: «Что делать?», ода Некрасова Муравьеву, писанина Лескова. А ведь Некрасов бывал и настоящим поэтом, а Лесков явно принадлежит к самым крупным прозаикам XIX века.

Таково вступление, в основном – о предисловии.

Январь–март 1983.

Перевод с польского Р. Беляева

ЗИМАНД Роман – родился в 1926 году. Работает в Институте литературных исследований Польской Академии наук. Автор пяти книг, в том числе двух, напечатанных в эмигрантских издательствах, а также статей и эссе, в последние годы публиковавшихся главным образом на страницах неподцензурных изданий.

Запад – Восток

Витторио Страда

СТАЛИНИЗМ КАК ЕВРОПЕЙСКОЕ ЯВЛЕНИЕ

Среди последних ленинских документов не все привлекли внимание, которого заслуживают. Два из них особенно интересны, чтобы не сказать курьезны. 17 марта 1921 года Ленин отвечает на письмо высшего партийного функционера Адольфа Иоффе, который, как следует из этого ответа, приписал Ленину видоизменение принципа, которого придерживался Людовик XIV: «государство – это я». По мнению Иоффе, Ленин мог бы сказать: «Цека – это я». Ленинская реакция на отнесение к нему формулы абсолютизма в современном варианте бесподобна: он не только отвергает это обвинение, напомнив, что не раз оказывался в меньшинстве, но и приписывает такое утверждение своего корреспондента «состоянию большого нервного раздражения и переутомления». А затем, высказавшись весьма положительно о дипломатической и политической деятельности Иоффе, советует ему «серьезно отдохнуть», чтобы «вылечиться вполне».

Эти ленинские строки можно воспринимать как свидетельство скромности и невозмутимости: товарищу, считающему, что он отождествляет себя с руководящим органом партии, Ленин отвечает без раздражения, даже недоуменно, хотя и советует ему восстановить явно расстроенное психическое здоровье, ставя тем самым на одну доску критическое несогласие и душевную болезнь. Подобного нельзя себе представить со Сталиным или с кем-нибудь из его окружения. Но, если ограничиться такой назидательной интерпретацией, теряется истинный смысл обмена мнениями между Лениным и Иоффе. На самом-то деле, прав был Иоффе. Хотя Ленину и случалось иногда оставаться в меньшинстве в дискуссиях в ЦК, отождествление Государства с Партией, Партии с Центральным комитетом, а этого последнего с его высшим руководителем – свершившийся факт. Как же тогда объяснить ленинский

ответ? Может быть, он лицемерил, как лицемерят те, кто, обладая огромной абсолютной властью, заявляет, что они-де не более чем простые исполнители или помощники. Разумеется, это не позиция Ленина, который, будучи способен, как увидим, на самое беспардонное двуличие в политике, лично не был лжецом. Дело в том, что Ленин положил начало совершенно новой форме власти, не имеющей ничего общего с традиционным абсолютизмом, потому что он не просто отождествлял себя с институтом (партией или ЦК), но через посредство этих институтов воплощал развитие мировой истории, достигшее эпохальной революционной стадии. Именно в этой убежденности сила Ленина, который не был диктатором в традиционном смысле и не может быть приравнен к таким диктаторам нового типа, как Гитлер и Муссолини. И дело не только в интеллектуальном масштабе: это разные исторические типы двух не имевших прецедента форм власти, которые не всегда правомерно будут объединять в дальнейшем под категорией тоталитаризма. Однако у диктатур фашистского типа, хотя и не лишенных культурного базиса, не было заранее выработанной последовательной теории, которая бы обосновывала и легитимировала их, в то время как власть, установленная в России Лениным, извлекала силу из марксизма – системы идей, рожденной в центре европейской культуры. Исходя из марксизма, Ленин мог бы сказать не: «Цека – это я», – но: «История – это партия», поскольку это-то и есть тот «Архимедов рычаг», который, опираясь на марксистскую науку, переворачивает Россию и весь мир, как он сам когда-то писал в своем «Что делать?». Одним словом, постулируется своего рода предопределенная гармония между партией и историей. А то, что цепочка отождествлений по восходящей – от класса к авангарду, а от партии к Центральному комитету – ведет к отождествлению последнего с ним самим, не имело никакого отношения к ленинскому честолобию, в котором не было ничего личного, так как оно растворялось в некоей объективной историко-космической силе: в Ленине самосознание этой силы достигало высшей точки, он был выражением ее действия и одновременно управлял ею.

То, что отождествление, о котором говорил Иоффе, произошло, Ленин открыто признавал в своем последнем письменном документе – Письме съезду, известном как «завещание»: здесь проблема наследования Я, отождествлявшие-

муся с ЦК, в высшей степени беспокоит его, и он пытается определить наиболее подходящего наследника, исходя из психологического склада личности, так как ему кажется, что начатое им дело, пусть и не целиком, но зависит и от этого. Пользуясь прототипом иоффеvской формулы, а именно: формулы монархического абсолютизма, – мы должны сказать, что в конце 1917 года в России пришла к власти династия, которой нет прецедентов в истории – не монархическая, основанная на божественном праве, но идеократическая, основанная на праве историческом, которое в свою очередь опиралось на идеологию (марксистскую), провозгласившую, что она разрешила загадку истории и полностью постигла существо ее развития, включая и будущее. Для этой новой династии, генеалогия которой восходит к Марксу, проблема преемственности оказывалась особенно сложной. Но форма власти и источник ее сакральности уже были зафиксированы. Заметим, что как проблема преемственности, так и проблема обоснования являются специфически коммунистическими, так как другие современные формы тотальной власти, не обладавшие такой прочностью и постоянством, выливались в диктатуру одного вождя и заканчивались вместе с ним. Советская тоталитарная система является единственной, о которой можно сказать, что ей присуще подлинное историческое развитие, и я бы сказал, что это – единственная в полном смысле тоталитарная система, то есть единственная моноидеологическая и монопартийная система, основанная на массовой мобилизации и вдохновляющаяся универсальным призванием.

Второй ленинский текст, на котором я кратко остановлюсь, не менее показателен, чем письмо к Иоффе. Речь идет о письме от 20 февраля 1922 г. к Дмитрию Курскому, наркому юстиции с 1918 по 1928 гг. Курский, как и Ленин, имел юридическое образование и в своей переписке оба говорят как юристы. В упомянутом письме к Курскому, представляющем среди других исключительный интерес, поражает преамбула, где сообщается о копиях, направленных Молотову, Цюрупе, Рыкову и Енукидзе, и отчеркнуты слова: «*С особой просьбой: не размножать, только показывать под расписку, не дать разболтать, не проболтать перед врагами*». Чем вызвано такое настойчивое стремление держать в секрете письмо, которое полностью опубликовали только в 1964 году? А тем, что здесь, в отличие от частного письма к Иоффе, Ленин отдает четкие

и твердые директивы, и еще тем, что эти директивы резко расходятся с официальной политикой, вследствие чего, как он сам говорит в другом месте этого письма, снова подчеркивая его секретность, «врагам показывать нашу стратегию глупо». Директив в принципе две, и касаются они провозглашенного за год до этого, по окончании гражданской войны и в результате краха «военного коммунизма», нэпа. Первая директива, высказывавшаяся в других письмах к Курскому, касается усиления репрессий против тех, кого Ленин называет «политическими врагами» и «агентами буржуазии», «в особенности», подчеркивает он, «меньшевиков и эсеров». В дополнениях к проекту нового уголовного кодекса, направленных Курскому несколько месяцев спустя, Ленин требовал расширить применение смертной казни за «пропаганду или агитацию, объективно содействующие буржуазии». В письме же от 20 февраля, где тоже настаивается на широком применении расстрела, он заявляет о необходимости организации «ряда образцовых (по скорости и силе репрессии) процессов», заставляя оказывать «воздействие на нарсудей и членов ревтрибуналов через партию» опять-таки в смысле «усиления репрессии». Что касается нэпа, то Ленин выражается четко: «мы признали и будем признавать лишь *государственный* капитализм, а государство – это мы, мы, сознательные рабочие, мы, коммунисты». Из-под этого «мы» пробивается перефразированная Иоффе формула абсолютизма. Заключение, к которому приходит Ленин, четко определено: «Поэтому ни к чёрту не годными коммунистами надо признать тех коммунистов, кои не поняли своей задачи ограничить, обуздать, контролировать, ловить на месте преступления, карать внушительно *всякий капитализм, выходящий за рамки государственного капитализма, как МЫ* понимаем понятие и задачи государства». Следовательно, необходимо «применять не *corpus juris romani* к „гражданским правоотношениям“, а *наше* революционное правосознание»; необходимо «через партию шельмовать и выгонять тех членов ревтрибуналов и нарсудей, кои не учатся тому и не хотят понять этого». Теперь понятно, почему в постскрипуме Ленин еще раз настоятельно требует секретности: «ни малейшего упоминания в печати о моем письме быть не должно».

Как и письмо к Иоффе, это ленинское послание ясно. Это уже не последовательное отождествление пирамиды власти с

более узкой олигархией, опирающейся на универсальную доктрину исторического развития, а двойная политика, экзотерическая и эзотерическая, официальная и секретная. И здесь мы не имеем дела с явлением, так сказать, психологического порядка, хотя и встречаем в многочисленных ленинских письмах призывы к скрытности и обману в отношениях с «политическими врагами»: двуличие рождается от несокрушимой уверенности в том, что он действует в качестве орудия исторического процесса в его высшей революционной стадии, орудия не слепого, но сознательного, ибо те, кто приобщен к свету марксизма, а особенно те, кто подобно Ленину, сумел в итоге преобразовать его в действие, имеет интеллектуальное право и даже нравственную обязанность не обнародовать правды («стратегия», о которой говорил Ленин в письме к Курскому), если это способствует победе над «врагами» в великой универсальной войне, причем когда – и главным образом – этими врагами являются меньшевики, то есть социалисты. Что же касается конкретного вопроса, к которому применяется эта ментальная схема, а именно нэпа, он предстает нам в своем истинном свете, то есть так, как виделся Ленину, а с ним и другим большевикам (кроме «ни к чёрту не годных коммунистов»). Можно поэтому сказать, что общепринятая интерпретационная схема, по которой движение советской истории происходит маятникообразно от «военного коммунизма» к нэпу, должна бы быть заменена такой, которая больше отвечает реальности: это все тот же «военный коммунизм», допускающий внутри себя, по мере надобности, нэповские переделки, под контролем той «стратегии», в которую Ленин считал «глупым» посвящать «врагов», переоценивая, пожалуй, умственные способности многих из них.

До сих пор я не говорил о Сталине, только однажды мимоходом заметив, что по типу личности он отличался от Ленина. Это может показаться странным в тексте о сталинизме, хотя имя Сталина должно было возникнуть по ассоциации, пока я излагал свои размышления по поводу этих ленинских текстов, которые, при всей их необычности, составляют одно целое с системой его взглядов, системой, динамичность которой равносильна ее органической стройности. Непохожие как личности, Ленин и Сталин обладали общим наследием принципов и ценностей, воплощенных в действиях и институтах, как уже видно из наших кратких вступительных замечаний. Однако,

прежде чем говорить о «сталинизме» и пользоваться этим понятием, необходимо проверить его правомерность и значение. Существует полемическое пользование понятием сталинизма внутри коммунизма, начало чему положил Троцкий в формуле «преданной революции»: постулируется изначальный подлинный коммунизм, выражение которого – большевистская революция, а Ленин и вместе с ним Троцкий – его представители. Но затем произошло «термидорианское» перерождение (процесс которого Троцкий пытается по-своему объяснить), выдвинувшее «посредственную» фигуру Сталина, который одновременно и результат, и носитель перерождения. Заслуга такого антисталинизма в том, что в свое время, при безраздельном господстве Сталина, он составлял вызов тирану, основываясь, однако, на понимании марксистской и ленинской «ортодоксии», диаметрально противоположном сталинскому, но не менее неприемлемом политически и интеллектуально. При этом и исторически антисталинизм Троцкого, продемонстрировав одно время свое превосходство в качестве оружия против грубой фальсификации партийной коммунистической историографии, в свою очередь грешил ложной идеализацией первой фазы революции, снимая с нее всякую ответственность за дальнейшее и парализуя критический анализ идей и действий Ленина и, разумеется, самого Троцкого. Впрочем, нелепо ожидать иного от такого революционера, как Троцкий, к тому же мужественно вступившего в жестокую неравную борьбу со своим соперником и противником Сталиным.

Понятием сталинизм пользуются также временно и тактически, в пограничной сфере между коммунизмом и не-коммунизмом, независимо от коннотации последнего – демократически-социалистической или демократически-либеральной. К нему прибегают те, кто изменился внутри коммунизма в связи с его частичной официальной самокритикой, начавшейся в 1956 году, и, питая надежды на внутреннюю эволюцию системы, вышел за ее пределы и стоит на анти тоталитарных метакоммунистических позициях. В этом случае сталинизм становится понятием, позволяющим критику коммунизма в первом приближении, которая, последовательно развиваясь, преобразует самое понятие сталинизма в метафору целой системы или в тактический прием для ее глобальной критики. Критика Сталина выливается таким образом в критику Ленина и

Маркса или же в иносказательную критику их обоих. На первом этапе официального антисталинизма изнутри специфических ситуаций, характерных для стран с коммунистическим режимом, такое использование понятия сталинизма оправдано. Но на более зрелом этапе, особенно в ситуации свободы, это бесполезно и лицемерно. В Советском Союзе теперешний официальный антисталинизм, имея положительное значение в сравнении с недавним умственным застоём, одновременно порождает новую ленинистскую мифологию и уже давно преодолён наиболее передовой частью «инакомыслящих» в изгнании или в подполье в направлении последовательного антитоталитаризма, который распространяется, разумеется, и на Ленина и в значительной степени на Маркса. Показательно с этой точки зрения творчество Василия Гроссмана, не говоря уже о Солженицыне.

Наконец, есть историко-критическое использование понятия сталинизма, не отвергающее двух первых и признающее их относительную роль и значение, но отказывающееся превращать Сталина в козла отпущения режима, костяк которого сложился и получил органическое развитие в сталинское время. В таком случае речь идет о том, чтобы выявить специфичность сталинского периода, а также причины его утверждения и кризиса, но уже изнутри того единого феномена, каким является советский и мировой коммунизм. Это порождает ряд исследовательских проблем, по своей сложности не уступающих сложности общего объекта исследования – коммунизма и марксизма, не как мишени для избитых нападок, а как коренных моментов истории, которая касается всех, и в первую очередь Европы. В самом деле, именно в Европе образовались новые социально-политические реальности, получившие название тоталитарных, и коммунизм является их первым и наиболее живучим вариантом, при этом этико-политически наиболее масштабным и значительным. Коммунизм – не вневременная сущность, он коренится в истории и в истории найдет свой конец. Именно перед европейской историей, в контексте мировой, мы должны ставить вопросы и о сталинизме, видя в нем не необъяснимое уродство, а болезнь, со своей этиологией и, возможно, своей терапией, понимая не буквально эти медицинские метафоры, так как в истории единственные отсутствующие симптомы – это симптомы полного здоровья и нет врача, которому не требовалось бы лечения.

Проблемы, встающие в связи с историко-критическим использованием понятия сталинизма как момента анализа коммунистического феномена, слишком многочисленны, чтобы называть их здесь, рискуя, по недостатку времени, свести все к голому перечню. Я ограничусь рассмотрением проблем, которые, на мой взгляд, являются центральными как индикаторы исторического исследования и стимуляторы интеллектуального размышления. Каково место ленинизма, а затем сталинизма в истории рабочего движения? Каково отношение между рабочим движением и марксизмом в его до- и послеленинской форме? В чем смысл сначала специфического русского национального, а затем советского опыта в европейской истории? Какова связь между такими непохожими воплощениями систематического и активного отрицания либеральной демократии и демократического социализма, как большевизм или коммунизм, с одной стороны, и фашизм и нацизм, с другой? В чем отличие форм тотальной власти от традиционных форм абсолютизма и авторитаризма? Как развивался советский коммунизм и в каком направлении может пойти его развитие, со всеми его ответвлениями и видоизменениями, в истории истекающего столетия? Как можно видеть, это такие вопросы, на которые было бы смешно требовать ответа в короткой статье и которые долго будут оставаться открытыми для исследователей. Но без коррективов, возникающих в результате этих вопросов, и самая история сталинизма, требующая доступа к архивным источникам, а также свободы для исследующего сознания, была бы неадекватна масштабу своего объекта, масштабу не только преступному, если считать, что десятилетиями миллионы людей из всей Европы, включая многих интеллектуалов, были горячими сталинистами и в Сталине поклонялись трем идолам, еще и сегодня не сброшенным с алтарей: идолу революции, коммунистической партии и марксизма-ленинизма. Во имя Сталина умирали и убивали, лгали и верили, страдали и мучили. Такого длительного и универсального поклонения не знал даже Гитлер. И самое поразительное, что культ Сталина, как завершение трех выше названных культов, не был, по крайней мере по видимости, плодом иррациональных сил, питавших гитлеризм, а был порожден программным рационализмом, который Лукач превознес в своей знаменитой книге в противовес темным побуждениям в фашизме, ведущим к «разрушению разума». Но

рационализм, доведенный до пароксизма в марксизме-ленинизме сталинского периода, был в некотором роде магией и основывался на мистическом приобщении части к целому: класса – к партии, партии – к вождю, а этих иерархических образований – к Истории. Сталинизм только выявлял потайную душу марксизма как световой контррелигии, как прямой радикальной оппозиции христианскому буржуазному обществу во имя особой научности, которой предстоит осуществиться в гармонически построенном обществе благодаря познанным механизмам исторического развития. В ожидании финальной утопии и для ее подготовки была создана самая совершенная идеологическая машина и отработана самая строгая технология власти, исходя из задуманного и осуществленного Лениным и усиленного Сталиным проекта. И по сей день эти структуры сохраняют огромную власть и мощь, несмотря на умножающиеся признаки старения. Распалась только финальная утопическая идиллия.

Положение, что сталинизм, в вышеупомянутом историческом смысле, – явление европейское, исключает обычную интерпретацию его как чисто русского или, как принято говорить, восточного явления. Нет надобности возвращаться к критике противопоставления «западного марксизма» «восточному», в силу которого первый – якобы «критический», а второй – «догматический». Достаточно вспомнить, что и до 1917 года, когда была возможность для его развития в условиях относительной свободы, русский «восточный» марксизм был «критическим» до такой степени, что разветвился на ряд творческих направлений, в то время как для европейского «западного» марксизма до 1917 года, а главным образом после этой даты, когда он развивался не академически, а в политических формах, был характерен догматизм. На самом деле, встает не один вопрос исторического и теоретического характера: почему Россия, а не Европа оказалась благодатной почвой для революционного развития марксизма? Почему марксизм в том виде, который принял в России, покорил Европу не только физически – там, где это имело место, но и распространил на нее свою политико-интеллектуальную гегемонию? В каком отношении находятся Россия и Европа, иначе говоря, какое отношение между Россией как специфической частью Европы и остальной европейской цивилизацией? Ясно, что история нашего столетия развивалась в точке пересечения России с

марксизмом и что такие важнейшие поворотные исторические моменты, как фашизм и нацизм, представляют собой ответную реакцию на эпицентр российской марксистской революции. Эта революция не только питалась возникшими в Европе идеями, она также прямой результат великого европейского кризиса, трагическим исходным проявлением которого была Первая мировая война. Осмысление российского опыта означает переосмысление опыта европейского, имея в виду, что уже в XVIII веке Европа была обращена к своему континентальному востоку и именно здесь во времена Петра I положила начало процессу европеизации, который впоследствии продолжила и на других континентах. Для России европеизация имела особую значимость, так как она принадлежала к Европе не только географически. Но и в этом случае, как с Америкой, европеизация породила очень непохожую цивилизацию. И парадоксально, что именно кульминация революционного движения в октябре 1917 года привела к углублению различий, одновременно придав России, превратившейся в советскую, необыкновенный заряд энергии, направленной на остальной мир. Двойственное отношение Маркса к капитализму: просветительское восхищение им и романтическая неприязнь – породило в России популистскую утопию ускоренного и беспрепятственного пути к коммунитарной модернизации, отличной от индивидуалистической западной. Но эта «русская мечта», по-новому разделявшаяся Лениным, обошлась куда дороже, чем модернизация Запада, и привела Россию к исторически тупиковому состоянию, которого не компенсировать непомерно возросшей имперской мощью. На обломках первоначального интернационалистского проекта образовался новый тип власти, для которой Россия была лишь материалом, так же, как и ее культура, подвергнутая отбору и манипуляциям и ставшая при Сталине, вкупе с марксизмом-ленинизмом, компонентом господствующей идеологии.

Интерпретация сталинизма как чисто русского явления, как промежутка, вызванного российской «отсталостью», не только исторически ложна и противоречива, но и служит тому, чтобы приуменьшить масштабы явления и ограничить ответственность за него. Достаточно, однако, напомнить о таком эмпирическом факте, как триумф сталинизма на Западе и рискованность сопротивления ему. В самом деле, сталинизм – дитя марксистской революции, дитя, не совсем похожее

на отца, как бывает по закону исторической филiaiции, носящему название «гетерогенез целей» и заключающемся в том, что человеческие деяния порождают результаты, не совпадающие с поставленными целями. Закону, звучащему вызовом марксизму, уверенному, что он научно объяснил историю и может управлять ею, сознательно и революционно организуя ее. Конечно, этим мы вовсе не отрицаем, что сталинизм – дитя, законное или незаконное, марксизма или, лучше сказать, состоит в родстве с ним, так как прямой его отец – ленинизм. Можно бы воспользоваться более близким Марксу понятием – гегелевской «хитростью разума», но, не будучи посвященными в провиденциальные начертания Истории, трудно угадать, какие тайные цели поставил себе Разум, действуя через Сталина. Разве что стремился довести до логического апогея коммунистический эксперимент, чтобы исчерпать его, оставив его громоздкие останки как задание будущей истории. Сталинизм – высшая стадия марксизма, осуществленная в определенных конкретно-исторических условиях*.

С коммунистической точки зрения, аргумент российской «отсталости», служащий для выработки проекта «иногo» коммунизма, при сохранении ленинизма, вызывает некоторое логическое замешательство, так как это ставит под вопрос самоё революцию, из которой коммунизм вырос: ведь Ленин в таком случае ошибался, рискнув на эксперимент в недоразвитой стране при нежелании остального мира быть втянутым в это предприятие, как многими было предсказано. Значит, были правы все противники Ленина, от либералов до меньшевиков, которые, впрочем, не дожидаясь 1917 года, поняли, когда в начале века прочитали «Что делать?», что идеи, высказанные в этой книге, могут привести в случае их осуществле-

* Некоторые советские идеологи утверждают сегодня, что Сталин был душевнобольным, объясняя этим его политику. В действительности такое «объяснение» не только упрощает дело, но и переводит проблему в иную плоскость и даже усложняет ее решение: поскольку «сумасшествие» Сталина проявляло себя в монолитности определенной идеополитической системы и увлекло гигантские массы, необходимо объяснить коллективную паранойю марксизма и коммунизма, уже потенциально присущую деятельности Ленина. В таком случае следовало бы говорить о паранойе марксистского коммунизма, разумеется, не в клиническом смысле, а в плане культурно-исторической метафоры.

ния к чему-то очень похожему на то, что мы называем сегодня «сталинизмом», хотя ленинские критики и не могли заранее предвидеть всей его чудовищности. История сталинизма, являющаяся не чем иным, как историей Советского Союза и коммунистического движения определенного периода, – это не история механического перехода от абстрактного ленинизма к его последствиям, но осуществление в рамках определенного национального и интернационального контекста потенций, широко и недвусмысленно проявивших себя уже с момента захвата власти в России большевиками и создания мировой коммунистической организации. История сталинизма – это, конечно, и история сопротивления ему, как тех, у кого были поползновения противостоять ему, признавая его основные идеи, так и тех, кто героически отвергал его во имя общегражданских или религиозных, либеральных или социалистических, национальных или общечеловеческих ценностей. Это история, большую часть которой предстоит еще написать.

Аргумент исключительно российского характера сталинизма, а значит, и ленинизма, на мой взгляд, не могут защищать также и не-коммунисты, причем не только из элементарного уважения к истории идей, устанавливающей западную основу русских революционных интеллектуальных схем (гегельянство, марксизм, якобинство и т. д.), но и потому, что исторический анализ выявляет преобладание прерывности над преемственностью в русском историческом развитии до и после революции. Даже когда Сталин мыслил свою власть в терминах царствования Ивана Грозного, очевидно, что единственное зерно истины в этой аналогии заключается в абсолютизме власти и жестокости ее осуществления, в то время как остается незатронутой радикальная идеологическая и институциональная новизна специфичной формы тоталитарного абсолютизма, который достиг своей кульминации в Сталине и к тому же, в отличие от местного царя шестнадцатого века, нашел адептов во всем мире и, благодаря доктрине, которая давала ему обоснование и легитимацию, претендовал на то, чтобы распространить систему по всей планете. И так называемый «русский национализм» сталинской эпохи был искусственным идеологическим созданием, амальгамой темных элементов русского прошлого и марксизма-ленинизма, мешаниной, просуществовавшей ровно столько, сколько от нее понадобилось, чтобы сыграть доверенную ей роль. Вопрос в

другом: почему марксистские революции активизировали в различных национальных ареалах исторические элементы, враждебные либеральной и социалистической демократии, усилив авторитарные традиции в якобинском варианте? Здесь открывается обширное поле для исследования марксистского утопизма и сциентизма, который оказывается пригодным для таких регрессивных проявлений, всегда, конечно, рядящихся в демократическую прогрессивность нового типа. Великий ленинский синтез марксизма не ограничился пределами России, но, пройдя через сталинскую стадию, завоевал значительную часть мира, причем на Западе не меньше, чем на Востоке, явив модель революционной организации одновременно военной и массовой, не имеющей себе равных в истории современных политических партий. Создалась своего рода Супер-партия, а на ее основе, после ее победы, и своего рода Супер-государство, находящее свое обоснование и выражение не просто в харизме вождя, который, конечно, не вечен, но в харизме доктрины, которая, претендуя на универсальность, целиком охватывает жизнь общества, прибегая то к жестким, то к гибким приемам.

Роль, которую в определенный период прошлого могли сыграть марксистские идеи в истории рабочего движения, сообщив ему мощную сциентическую уверенность в положительном исходе тяжелой, жестокой борьбы и вооружив концептуальным аппаратом для объяснения общества, коренным образом изменилась после 1917 года, когда образовался новый центр власти, главным моментом которой явился сталинизм. По сравнению с огосударствленным, превращенным в институт системы марксизмом, рабочее движение превратилось по преимуществу в орудие, подчинив свои реальные интересы интересам бюрократической Супер-партии. Уже давно задача рабочего движения состоит в выработке нового профсоюзного и вместе с тем политического сознания, имея в виду отрицательный результат – с точки зрения демократии и социализма – семидесяти лет коммунистической истории и признав за собою не мифическую роль универсального класса-избавителя, а рациональную силу конкретного общественного класса, активно действующего в мире, не допускающем веры в упрощенные окончательные решения. Такую ситуацию я называю пост-марксистской, в которой Марксу отводится место одного из крупнейших социальных мыслителей XIX века, без припи-

сывания системе его взглядов особого привилегированного статуса, на который он притязал и который получил в нашем столетии, но который превратил его в идеологическое орудие нового класса, обладающего ничем не ограниченной властью.

Освобождение от утопических заблуждений, оказавшихся предпосылкой тотального господства сталинского типа, вовсе не означает, что исчез всякий интеллектуально-этический порыв. Как раз он может укрепиться вне утопических иллюзий – понимаемый как ответственность перед живущими и будущими поколениями в критическом уважении к прошлым поколениям. Нужно бороться за гегемонию новой ментальности, которая может сложиться на основе разных культурных традиций, гегемонию демократическую, предполагающую постоянное многообразие тенденций, и которой нельзя добиться во имя тотальных идеологий. Новая ментальность будущего имеет диалогическую природу, так как диалог – драгоценный плод, который европейская культура может предложить человечеству, после того как дала вкусить и от ядовитого плода нетерпимости. Посюсторонние религии, мирские контррелигии менее всего гарантируют обещаемое ими спасение. Подлинная религиозная вера не имеет ничего общего со своими суррогатами и пародиями на себя, которые часто оказываются и ее гонителями.

В данный исторический момент сталинизм снова становится объектом критики в стране и в движении, его породивших, принимая форму самокритики, не доходящей, однако, до корней и даже создающей новую неоленинистскую мифологию. И поэтому бесосновательно и опасно называть пост-тоталитарной сегодняшнюю советскую систему, как это иногда делается. Справедливо определять ее как поздне-тоталитарную, так как при всей симптоматической неуверенности и ослаблении давления остается совсем незатронутой тоталитарная структура институтов на уровне власти и идеологии. Критика и самокритика сталинизма должны открыть новые возможности для сознания и демократического и социалистического действия. Любая попытка затормозить и ограничить процесс освобождения вызвана остаточным сталинизмом, который якобы подвергается разоблачению. Если же, вопреки утверждению Маркса, мир не переделывается раз и навсегда благодаря решительной чудодейственной революции, а беспрестанно преобразуется посредством множественных эволюций

и революций, тогда задача заключается в том, чтобы свободно понимать и объяснять все более усложняющийся мир, в котором мы живем: это первое условие того, чтобы можно было продолжать жить в нем.

Издательством «Поиски» переиздана книга
незаслуженно забытого
крупнейшего российского ученого-экономиста

Б.Д.Бруцкуса

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Теоретические мысли по поводу русского опыта

С предисловием, комментариями и послесловием

В.Сорокина и Д.Штурман,

статьей лауреата Нобелевской премии

по экономике **Ф.А.Хайека**

В начале 1920-х гг., когда на Западе голословно рассуждали о «великом социалистическом эксперименте», закрывая глаза на трагическую подсоветскую действительность, Б.Д.Бруцкус, проследив первые шаги советской государственной экономики, осветил ее фундаментальные черты и предсказал дальнейшую судьбу страны и народа, попавших в тоталитарную ловушку. В течение истекших десятилетий его прогнозы подтверждались неоднократно — и не только на примере СССР.

Сегодня, когда советское руководство пытается (в который раз!) заставить подвластную ему экономику стать по-рыночному продуктивной, меняя и перестраивая только формы ее монопартократической централизации, эта старая, но не устаревшая книга приобрела новую актуальность.

Заказы направляйте по адресам:

Victor Sorokine — 5, bd. de la Gare,

**94470 Boissy-St.-Léger, FRANCE, и S.Tictin, Greenspan Str., 12/6,
Misrakh Talpiot 422, Jerusalem 93802, ISRAEL.**

*Главному редактору журнала «Культура»
Ежи Гедройцу*

Дорогой и глубокоуважаемый г-н Гедройц!
Дорогие друзья — редакторы, авторы,
читатели журнала!

Сердечно поздравляем с выходом пятисотого (№5/500, май 1989) номера «Культуры».

О великой роли «Культуры» в развитии политического самосознания в Польше, в формировании гражданского общества, в поддержке независимой польской культуры на родине и за границей, в сближении между народами коммунистических стран (прежде всего поляками, с одной стороны, русскими, украинцами, белорусами, литовцами — с другой) сказано уже так много, в том числе и на страницах «Континента», что сейчас, в нынешний сложный исторический момент, хочется сказать одно: «Культура» пережила уже не одну «оттепель», и, какова бы ни была степень разрешенной свободы на родине — более того, какова бы ни была степень свободы, отвоеванной обществом, «Культура» всегда сохраняла свое место важнейшего форума польской общественно-политической мысли. Журнал и его редактор никогда не боялись идти против течения, вступать в полемику даже с признанными независимыми авторитетами — и последняя правота, можно сказать, всегда оставалась за «Культурой».

С Вами, г-н Гедройц, с Юзефом Чапским и Густавом Герлингом-Грудзинским нас связывает еще и присутствие «Культуры» у колыбели «Континента», участие вас троих в его редколлегии с момента создания нашего журнала. Мы верим, что это 15-летнее плодотворное сотрудничество будет продолжаться и впредь.

«КОНТИНЕНТ»

Факты и свидетельства

Кастусь А к у л а

КТО УБИЛ ЯНКУ КУПАЛУ?

В разгар Второй мировой войны, 28 июня 1942 года, где-то после девяти часов вечера, в Москве, с десятого (или девятого) этажа одноименной гостиницы, упал в пролет лестницы и разбился насмерть Янка Купала. Весть об этом поразила всех, кто узнал об этом. Среди них были очень влиятельные люди; они готовились буквально днями праздновать 60-летие народного поэта Белоруссии, которого уже давно величали и «народным пророком»: роль его в белорусском национальном возрождении (и особенно в белорусской литературе) была совершенно исключительной.

Этот человек в день своей смерти был абсолютно здоров; ни о каком самоубийстве не говорил; напротив, сам готовился к своему юбилею. Он не употреблял крепких спиртных напитков. Говоря словами Адама Мицкевича, «он страдал о миллионах» – особенно тех, кто в годину войны истекали кровью в Белоруссии, в борьбе против немецких оккупантов. Об этом свидетельствует хотя бы его обращение к «народным мстителям»:

Партизаны, партизаны!
Белорусские сыны!
За кандаљничии раны
бейте так врагов поганых,
чтобы сгинули они!

Этот призыв доходил до «белорусских сынов». В зонах партизанского движения слова Купалы имели больший авторитет, нежели грозные воззвания самого «отца народов».

«Трагическая смерть» Купалы – так определили инцидент в гостинице «Москва». Но был ли это просто инцидент? Не было ли это сознательно запланированное убийство? Те, кто знали что-то или догадывались о чем-то, держали язык за зубами. Помню, что до меня – солдата британской армии,

воевавшей в Италии – человека, который воспитался на поэзии Купалы, весть о его смерти дошла лишь в 1945 году, т. е. после окончания войны. Ныне прошло много времени, выросли два новых поколения, а «трагическая смерть» народного поэта Белоруссии все еще окутана завесой перестраховочного молчания. Однако кое-что из тайного становится явным, поскольку отозвались некоторые свидетели минувших событий.

Для русскоязычного читателя (особенно молодого читателя) Купала, который некогда был широко известен в Советском Союзе и в целом мире, может быть мало знаком. Необходимо поэтому, хотя бы в общих чертах, сказать о жизни человека, который – говоря словами другого поэта – «посетил сей мир в его минуты роковые». А сам он был участником и даже вдохновителем белорусов на великие свершения тех «роковых лет». Только познав его вполне, можно (не располагая сообщениями ни советско-сталинских, ни позднейших властей) прийти к разгадке зловещей тайны его «трагической смерти».

Купала (Ян Даминикавич Луцевич) родился в имении Вязынка, около Радашкавич (что вблизи Минска), в 1882 году, в семье бедного арендатора. Согласно «Белорусской Советской Энциклопедии» (см.: т. 6, стр. 199, Минск, 1972), Купала был «классиком белорусской литературы. Вместе с Я. Коласом он – один из основателей новой белорусской литературы и белорусского литературного языка. Народный поэт БССР (1925 г.), академик АН БССР (1928 г.) и АН УССР (1929 г.). После окончания нар. училища занимался на общеобразовательных курсах Черняева в Петербурге (1909–1913 гг.), а также в нар. университете им. А. Л. Шанявского в Москве (1915 г.).»

Начал писать в 1904 году. В 1905 году, после отмены запрета на белорусскую печать, в Вильно начала выходить (в 1906 г.) недельная газета «Наша Нива», которая сгруппировала вокруг себя все передовые национальные силы, стремившиеся к возрождению белорусского народа. Купала длительное время и регулярно сотрудничал в газете, а в 1914–15 годах был ее редактором.

Сын бедняка-крестьянина, Купала прекрасно понимал безвыходное социальное положение белорусского крестьянства, его безграмотность, – понимал вообще весь характер

«Северо-Западного края». Некогда этот народ стоял во главе управления Великого Княжества Литовского. Польские паны и российские администраторы загнали его в безвыходный тупик. Задача социального и национального просвещения поглощала все, не слишком-то большие, силы передовой национальной интеллигенции. Культурное возрождение Беларуси, находившейся под российской оккупацией, началось в середине XIX века. Такие гиганты, как В. Дунин-Марцинкевич и Францишек Богушевич (если говорить о главнейших представителях) вспахали первую целину, обрабатывая фольклор, создавая произведения на социальные темы. Кастусь Калиновский, который сотрудничал не только с Варшавой, но и с первыми русскими революционерами, стал во главе руководства антимосковского восстания в Литве и Белоруссии. Он издавал на белорусском языке первую нелегальную газету «Мужицкая Правда» (в 1862–63 гг. вышло семь ее номеров). Восстание было подавлено; Калиновский в марте 1864 г. повешен в Вильне. Хотя вешатель Муравьев разграбил Белоруссию, хотя тысячи лучших сынов и дочерей ее были высланы царскими властями в Сибирь (с конфискацией их имущества), национальное возрождение не прекратилось. Наибольшим препятствием на его пути было запрещение царским правительством белорусской печати, длившееся до 1905 года.

Через «Нашу Ниву» в Вильно, через петербургское издание «Заглянет солнце и в наше оконце» слова нового пророка белорусской литературы Янки Купалы доходили до широких масс. Материал на социально-национальные темы черпал он в чрезвычайно богатом фольклоре. Подневольный белорусский народ, лишенный своих школ, культурных учреждений, печати, защищал свой язык, сохраняя фольклорное богатство под убогими крестьянскими крышами, лелея свои христианские традиции, народные песни. Такому гениальному мастеру, каким был Янка Купала, было достаточно лишь прикоснуться к сырцу народного творчества, чтобы тут же отшлифовать его, переплавив в монументальные творения поэзии и драматургии. Неудивительно, что творчество самого Купалы, словно неуправляемый огонь, зажигало все, жаждущие духовной пищи, страдающие, изнеможенные сердца.

В раннем стихотворении «А кто там идет?», переведенном на русский язык Максимом Горьким, Купала говорит о мечте крестьянского народа:

А чего ж, чего захотелось им,
Презираемым веком – им, слепым, глухим?
– Людьми зваться!

В защите этих «презираемых веком» Купала кидает вызов
вельможам с берегов Невы:

Вы – выродки с Невы кровавой,
Когда ж прозренье к вам придет?..
За что стоптали мою славу?
За что взвели на эшафот?

Купала понимал, что мало разбудить «презираемых, слепых и глухих». Необходимо вернуть им человеческое достоинство, а это можно сделать, лишь воспевая их некогда славное, но обесчещенное соседями прошлое. Социальный и национальный элементы переплетены в его произведениях. Купала обращается к подневольному народу, будит его, поет ему, побуждая, чтобы он встал в полный рост на борьбу «за правду, за счастье, за лучшую долю». А в стихотворении «Царю неба и земли» Поэт даже Бога упрекает за то, что Он

отдал на казнь и годным, и негодным
всё, что святым является для нас.

В стихотворении «Молодая Беларусь» Купала закликает:

Поднимайся ж, о соколов славных семья,
Над крестами отцов, над невзгодами;
Занимай, Беларусь молодая моя,
Славы трон меж другими народами!

Все критики-специалисты по творчеству Купалы отмечают его исключительную роль в белорусской литературе. Конечно, он имел предшественников, но иного масштаба, нежели он сам или его соратник Якуб Колас. Доктор Ст. Станкевич в своей книге «Янка Купала. К столетию со дня рождения» (Нью-Йорк, 1982) справедливо пишет:

«В белорусской литературной критике и купаловедении не было и не могло быть никого, кто, говоря о Янке Купале и его творчестве, не подчеркнул бы этой судьбоносной его,

осознанной самим поэтом, национально-гражданственной и литературной роли».

И народ слышал своего великого сына. Неудивительно, что в «роковые годы» голос поэта звучал мужественно и уверенно. Стихотворение «На сход» (скрытое затем советской властью под цензурой) написано 29 октября 1918 года. Его стоит процитировать полностью:

На сход, на всенародный, грозный, бурный сход
Иди, ограбленный, закованный народ!

Все, как один, как равные, идите!
Обиды, слезы, кровь на суд свой принесите!

Поведайте про все страдания и раны,
Про смертные кресты, могильные курганы.

И о раскопанных могилах не забудь,
Где рвут стервятники усопшим предкам грудь.

Тебя вгоняли в пот паны и короли,
Тебя пытались гнать с твоей родной земли.

Тебя раскованные мучают рабы,
Ты изнемог под гнетами борьбы.

Отчизну твою режут на куски,
С детьми ты гибнешь от палаческой руки. —

Отдать всё то под суд, на всенародный сход,
Иди, ограбленный, закованный народ!

Купала с первого же момента отрицательно отнесся к большевистской контрреволюции в Петрограде. В период между 1918-м и 1922-м годами он написал свои важнейшие произведения, в которых скликал народ на «великий сход», а в стихотворении «Перед будущим» он бичевал бездейственность, равнодушие; предостерегал, что можно легко упустить тот исторический момент, когда требуется добыть для народа волю. Он призывал к решительной, смелой борьбе за эту цель.

В декабре 1917 года в Минске собрался Всебелорусский Съезд, на котором 1872 делегата со всех районов и войсковых частей Белоруссии обсуждали политическую будущность страны. В результате этих дискуссий была избрана Рада Белорусской Народной Республики, которая 25 марта 1918 года провозгласила Белорусскую Народную Республику в ее этно-графических границах. Было организовано правительство БНР.

В ходе борьбы против оккупантов с востока и с запада правительство БНР в том же 1918 году было вынуждено эвакуироваться в Ковно. Оттуда оно старалось руководить борьбой против новой красной империи, а также против традиционных захватчиков белорусских земель из Варшавы.

Понимая все это, Купала призывал в своих произведениях к сплочению всех национальных сил, чтобы не упустить исторический момент и чтобы окончательно освободиться от российского господства. В этом смысле весьма характерно его стихотворение «Восстань, народа нашего пророк!»

В конце 1922 года Купала написал выдающееся сатирическое произведение в драматической форме – пьесу «Здесьние». Оно обличало и высмеивало оккупантов того времени – немцев, поляков, русских, равно как и советских горлопанов нового образца... Эта пьеса только один раз появилась на сцене минского театра в 1926 году и на следующий же день была снята. Вообще, многие произведения Купалы были запрещены в разные годы цензурой СССР и были спрятаны вплоть до нынешнего времени. Купала не шел ни на какие компромиссы с большевистскими оккупантами. Недаром верный большевистской идеологии поэт Демьян Бедный посвятил Купале следующие строки:

Изменил поэт народу,
Заплясал панам в угоду,
Да в угоду...

Янки посвист соловьиный
Превратился в шип змеиный.
Да в змеиный...

В своем небольшом сборнике стихов, изданном в 1925 году, Купала говорит:

...Я пролетарий. Это так!
Еще вчера раб невезучий,
Сегодня я земли маяк
И над царями царь могучий!

Мне батьковщиной целый свет,
В родимый край я не вернусь...
Но только... – не забыть всех бед:
И снятся сны про Беларусь!

Уже в конце 1929 года резко меняется политика Москвы в отношении Белоруссии. Целью оккупационных властей становится полный разгром национальных кадров белорусского народа. Москве требуется рабское подчинение всех национальных республик московскому центру. В Белоруссии начались массовые аресты, допросы представителей интеллигенции; дошла очередь и до Купалы – от него потребовали «перекладываться». Купалу вызывают на допросы, арестовывают. Поэт решается на самоубийство, используя метод харакири (ножом вспаривает себе живот). Только благодаря усилиям жены Купалы удалось спасти его жизнь...

В минской газете «Литература и Мастацтва» от 2 декабря 1988 года Георгий Колас в статье «...И затоскует потомок» вспоминает об эпизоде с попыткой самоубийства Купалы:

«Мне не забыть услышанное давным-давно от У. И. Стальмашонка, Народного Художника БССР (пишу с его слов, переспросив его ныне, 8 октября 1988 г.):

„В конце пятидесятих годов (в пятьдесят восьмом?) в мою крохотную мастерскую на улице Некрасова – уже не помню с кем – однажды заглянула тетя Владзя (жена Купалы. – К. А.). Затараторила, зашумела, поглядела-похвалила и предложила мне написать картину для музея на сюжет Купаловой поэмы «Она и я»...

А отец потом дома рассказывал: Купалу положили в 1-ю клиническую и отдельную палату. Положили под Новый год, в декабре, в тридцатом, – с ножевым ранением в животе (И. М. Стальмашонек был уже тогда видным в республике хирургом. – Г. К.). Около палаты круглосуточно дежурили часовые из ОГПУ; без их разрешения доктор не мог войти в палату. Пролёжал Купала месяца два; рана загноилась, заживала плохо и медленно; Купала был очень удручен. Наконец явился некий

чин, также в форме и с пакетом. Он объявил Купале: следствие по его делу закончилось, все обвинения отпали, ничего не подтвердилось. «Вы свободны». Потом развернул пакет: «Для вас!.. И просим извинить за неприятности». В пакете были конфеты, папиросы, что-то еще...

Купала даже не посмотрел на все это.

Накрылся одеялом с головой.

Его заколотило.

Долго колотило.

И рана кровоточила долго“».

Она и не могла не кровоточить на больничной койке – хотя бы от чтения дубинной критики, вроде статьи И. Гурского «Классовая борьба и искусство» в «Молодняке» (журнал молодых пролетарских писателей. – К. А.), где на пьесу Купалы «Здешние» был наклеен ярлык... «политического пасквиля, выдержанного в махрово националистических тонах, направленного против нас» (1931, № 1)...

Самоубийство Купалы было бы нежелательно для большевиков. Поэту временно дали возможность помолчать почти на протяжении двух лет. И контроль над ним еще более усилился.

«Всё, написанное после попытки самоубийства в 1930 году, мизерно количественно и беспомощно с точки зрения искусства». (Ст. Станкевич. «Спадчына», Мюнхен, 1955 г.)

Купала не принадлежал к коммунистической партии, и эта самая партия никогда не простила ему попытки самоубийства, которой он «смешал карты» в подготавливавшейся органами НКВД провокации: процессу над будто бы существовавшей в БССР, законспирированной нацдэмовской организации, намеревавшейся отделить советскую Белорусь от «старшего брата». В этой «игре» и примеривали Купалу к соответствующей роли, однако абсолютная честность и достоинство народного поэта свели эти попытки к нулю.

Насчет «трагической смерти» Купалы в Москве появилось лишь короткое сообщение в газетах. Однако ни тогда, ни после не было проведено юридического расследования о том, почему же совершенно здоровый человек, собирающийся праздновать свое шестидесятилетие, вдруг кинулся в пролет лестницы. Посему мы вынуждены опираться на те данные, которые постепенно начинают выявляться. Пусть хотя бы в

стадии догадок, но тем самым удовлетворяется людская потребность в знании истины.

Минский еженедельник «Литература и Мастацтво» (орган Министерства Культуры и Правления Союза Писателей БССР) в двух очередных номерах (33–34 за 19 и 26 августа 1988 г.) поместил статью известного белорусского писателя Б. Сачанки, в которой тот, основываясь на воспоминаниях свидетелей, старается рассказать, что же на самом деле случилось и как умер поэт. Вкратце позволим себе некоторые выдержки из статьи Сачанки.

«Действительно, на десятом (по некоторым сведениям – на девятом) этаже гостиницы „Москва“, в номере, где жил М. Лыньков, который тогда являлся Председателем правления Союза Писателей БССР, Янку Купалу ожидали. Там собрались белорусские писатели, проживавшие в то время в столице нашей Родины. Был там накрыт и стол – всякая закуска и выпивка. Но Янка Купала ни к закуске, ни к выпивке не притронулся. Крепких напитков он уже давно не употреблял. К тому же к нему в гостиницу должна была вот-вот прийти корреспондентка газеты „Известия“. Купала – лишь для того, чтобы его не упрашивали – раза два пригубил бокал с шампанским. К. Крапива (писатель-драматург. – К. А.), который был в то время вместе с другими белорусскими писателями в номере гостиницы, писал: „Последний раз я видел Я. Купалу опять же у Михася Лынькова за час до его трагической смерти. Кроме нас троих, в номере было еще человек пять наших общих знакомых. На короткое время я отлучился в город, а когда вернулся в гостиницу, меня, как громом, поразило известие: Янка Купала погиб“.

О том, что происходило в комнате, где находился Янка Купала, М. Лыньков и еще «человек пять общих знакомых», за время, пока отсутствовал К. Крапива, можно судить по воспоминаниям П. Глебки (писатель, академик. – К. А.), которыми он делился, выступая на одном из вечеров в городе Борисове 19 июня 1962 года... Согласно рассказу П. Глебки, он зашел в номер Лынькова часов в девять-десять вечера. В номере было многолюдно и шумно, так что когда зазвенел телефон, то М. Лыньков, подняв трубку, должен был голосом перекрыть общий разговор, сказав, что он ничего не слышит. Он попросил шумливых гостей выйти на балкон и закрыть за собою двери. Вместе с другими на балкон вышел и Глебка.

Когда же он вернулся в комнату, Купалы там не было. Минут через десять-пятнадцать, как утверждает П. Глебка, вновь зазвенел телефон и была сообщена страшная весть про гибель Купалы... Имеются свидетельства немного другого оттенка: М. Лыньков попросил гостей выйти на балкон и закрыть двери потому, что разговор по телефону был очень важным и он не хотел, чтобы кто-нибудь его слышал. Как только двери закрылись, М. Лыньков передал телефонную трубку Я. Купале. Взяв трубку, тот выслушал, что ему говорили; ничего не сказал сам и поспешно покинул номер – вышел на лестничную площадку.

Там, на лестничной площадке десятого (девятого?) этажа гостиницы «Москва» и произошло то, что привело к смерти самого выдающегося поэта Белоруссии. Анализируя и сопоставляя различные факты и версии, следует сразу же отбросить неоправданное предположение насчет самоубийства Купалы. У поэта не было никаких причин для этого; он не думал и не говорил о смерти. Купала... назначал встречи с людьми, приглашал на свой юбилей, мечтал о том, как он будет жить и работать после победы, когда вернется на родную землю.

Остаются две другие версии: Купалу столкнули в лестничный пролет (случайно или намеренно?), либо он сам, оступившись, зацепился за что-то, не удержался на ногах и упал вниз.

Какая из этих версий наиболее вероятна? П. Глебка в том самом выступлении в Борисове отвергает всякие предположения о самоубийстве поэта, расценивая смерть Купалы либо как несчастный случай, либо как диверсию. Ссылается он при этом на дежурную по этажу, которая, будто бы, видела, что Я. Купала стоял, опершись на барьерчик лестницы и разговаривал с молодой женщиной... Про женщину, виновную в смерти поэта, говорят и другие люди: ее – эту женщину, которая по какой-то причине столкнула поэта, видели, как она убежала... А. Астрейка (писатель. – К. А.), который почти не разлучался с Купалой в те последние июньские дни, был до конца убежден, что с Купалой расправились бериевцы, которые ходили за ним буквально по пятам: куда он, туда и они. Он встретил их, входя в гостиницу – они выскочили из лифта; едва не сбили его с ног – так торопились убежать, чтобы их никто не задержал. Он запомнил их – трое в кепках... На вопрос, почему он вину за смерть Купалы возлагает на бериевцев, на

чем основывается его убежденность, А. Астрейка ответил: „Купала был недоволен Сталиным и всем тем, что происходило в стране перед войною; он не скрывал этого и говорил не только ему – Астрейке, но и другим, что во всех неудачах в борьбе с фашистами, в том, что Белорусь стонет и истекает кровью под пятою оккупантов, – в этом виноват не кто иной, как вождь. Вероятно, у гостиницы, да и у других мест, где бывал Купала, имелись уши...“

Такого же взгляда на смерть Купалы придерживается и его жена Владислава Францевна, добавляя также, что Купале не простили его попытки самоубийства и того, что он попутал карты в расчетах по подготовке процесса над выдуманной «контрреволюционной нацдэмовской организацией» Союз вызволения Белоруси. Перед юбилеем Купалы – его шестидесятилетием, когда стал вопрос о его вечере и вознаграждении, это вышло наружу.

Весьма подозрительным выглядит и вызов Купалы по телефону... Кто ему звонил? Корреспондентка «Известий»? А, может, кто-нибудь другой? Примерно так же вызывали из гостиницы по телефону Михоэлса, который после войны приезжал в Минск на просмотр одного из спектаклей в купаловском театре. Он вышел из своего номера и больше туда не вернулся: его нашли на улице мертвым. Разве не тот же самый почерк?

Настораживает и атмосфера секретности вокруг этой смерти: минуло столько лет, а ничего официального в печати об этом не появилось. Невольно возникает подозрение, что в этой смерти все и так ясно. Во всяком случае, попытки музея Янки Купалы получить материалы комиссии, которая выясняла обстоятельства смерти поэта, ни к чему не привели: материалы не только не были высланы, но и вообще никому из сотрудников музея не показаны...»

Мы привели выдержки из статьи Сачанки, напечатанной в минской газете «Литература и Мастацтва». До наступления горбачевской «гласности» такую статью не опубликовала бы ни одна советская газета. Но даже сейчас наши литераторы не вполне избавились от страха; последыши Берии сидят при власти – сам Горбачев, как известно, являлся протеже не кого-нибудь, а бывшего главы КГБ. В этих условиях трудно ожидать, чтобы немедленно раскрылась вся правда, связанная с трагической смертью в Москве великого сына многострадальной Белоруссии.

ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ

Это старая история
Но она остается всегда новой.
Г. Гейне

12 октября 1930 года в немецкой прессе появилось заявление:

«3-го сентября советская официальная русская пресса сообщила об аресте ряда выдающихся людей науки, которые поставили все свои силы на службу своей стране. Факты, которые можно доказать, сходятся к тому, что всякая научная деятельность, которая требует для себя в минимальной степени свободы мысли, в Советском Союзе невозможна.

По дальнейшим сообщениям официальной советской прессы от 22 и 25 сентября, другие 48 человек, во главе которых проф. Рязанцев и проф. Каратыгин, расстреляны без судебного разбирательства лишь по постановлению ГПУ.

Нижеподписавшиеся представители науки, техники, литературы и искусства считают долгом своей совести заявить перед общественностью протест против такого образа действий, противоречащего самым элементарным принципам общественной жизни» (Из архива Б. Д. Бруцкуса. Перевод с немецкого).

Имена многих из 86 человек, подписавших заявление, были широко известны во всем культурном мире. Президент Академии наук в Мюнхене Эдуард Шварц, непременный секретарь Прусской академии, великий физик Макс Планк, Альберт Эйнштейн, всемирно знаменитый дирижер Вильгельм Фуртвенглер, писатель Генрих Манн, Якоб Вассерман, Арнольд Цвейг – вот далеко не полный перечень имен. Организатором этой демонстрации был Макс фон Зеринг – крупнейший немецкий экономист, ведущий авторитет в экономике сельского хозяйства, а вдохновителем – русский экономист Борис Давидович Бруцкус, изгнанный из СССР в Германию в ноябре 1922 г. и работавший там с тех пор в Русском научном институте. Зеринг давно проявлял интерес к работам Бруцкуса, поддерживал с ним контакт и даже написал предис-

ловие к одной из его книг. Он придерживался «правых» взглядов, и в гостях у него Бруцкус встречал всех представителей реакционного немецкого общества времен кайзера Вильгельма, включая адмирала Тирпица. Вместе с тем Зеринг был смелым нонконформистом и даже при нацистском режиме продолжал поддерживать связи с Бруцкусом и другими коллегами-евреями.

Протест вызвал некоторый переполох в СССР и – естественно – крупный переполох среди германских просоветчиков. Редакция журнала, издававшегося «гением пропаганды компартии Германии» Вилли Мюнценбергом, созвала по поводу протеста собрание, на которое пригласила всех подписавших. Пришли немногие, которым не дали говорить. М. Зеринг прислал Мюнценбергу письмо, перевод которого был напечатан в русской эмигрантской газете «Руль»:

«Милостивый Государь,

те факты, против которых протестовало воззвание, подписанное также и мною, взяты из официальной советской прессы. Кроме того, и недавно здесь бывший господин Луначарский, с которым я говорил по телефону, не мог их отрицать, хотя он и покушался эти действия защищать. Содержащиеся в „Известиях“ и в „Правде“ признания людей, осужденных политическими органами, работающими в тайне, не могут претендовать поэтому на достоверность. Что же касается оценки совершенно бесспорных фактов, то это зависит от мировоззрения, а здесь какая бы то ни было дискуссия между сторонниками духовной свободы и сторонниками советской власти сулит мало успехов. Поэтому я не воспользуюсь Вашим приглашением» (Из архива Б. Д. Бруцкуса).

Арнольд Цвейг прислал Мюнценбергу и опубликовал в «Вельтбюне» письмо в поддержку своей подписи, которое было прочитано на собрании. Он принимает «как данное, что 48 расстрелянных специалистов были саботажниками против принудительной системы коммунизма». Он не принимает «смешные сказки о методах ГПУ». Вместе с тем он пишет:

«...через 10 лет после окончания гражданской войны, в течение которых никакая враждебная сила не вмешивалась в усилия русского (следовало сказать: советского. – В. К.) государства, отвратительная фразеология военных обозревателей господствует (...) во всех мероприятиях, которые государство применяет для борьбы с саботажниками. Такое государство,

как русское (советское. – В. К.), по-видимому не имеет средств, чтобы за десятилетие достижений, изображаемых как созидательные, завоевать души своих работников, не принадлежащих к господствующему направлению коммунистической партии. Оно, кажется, во-вторых, не может решиться устроить против обвиняемых публичный процесс в присутствии защитников и корреспондентов. Оно, кажется, в-третьих, решилось трудности, которые мировой кризис противопоставляет его смелым планам, устранить тем, что (...) расстреливает своих врагов вместо того, чтобы оставить их жить в ссылке, бессильных вредить, и пристыдить их, когда дело класса, господствующего в России, действительно удастся. (...) в сегодняшней России достаточно 10-летнего заключения или ссылки, чтобы наказать столь тяжкие преступления против строительства общества» (Из архива Б. Д. Бруцкуса. Перевод с немецкого).

Бруцкус немедленно направил Цвейгу письмо с резкой отповедью.

«17 ноября 1930 г.

(...) Я позволю себе противопоставить Вашему мнению свое. Я считаю данным, что обвинения против 48 жертв ГПУ совершенно беспочвенны и что их мнимые признания не имеют ценности.

Я провел жизнь в России, я жил и работал 5 лет при советском режиме, деятельность ЧК и ГПУ для меня не „смешная сказка“, а трезвая действительность, которая мне хорошо знакома по собственному опыту. Только что вышедшие из ОГПУ открытые материалы я очень внимательно изучил в оригинале. Среди расстрелянных находятся также мои коллеги и при этом я хорошо знал в России так называемого вождя саботажников проф. Каратыгина. Я убежден, что в этом вопросе не имеют права голоса такие малые авторитеты, как немецкий писатель, который лишь из вторых рук знает обо всем, что касается советской России и источников. И я не хочу спорить с Вами о соответствующих фактах.

Я позволю себе только как человек человеку поставить Вам, глубокоуважаемый г-н Цвейг, один вопрос: какое у Вас моральное право открыто подтверждать обвинения ОГПУ против своих жертв и тем самым порочить честные имена расстрелянных? Вы ведь определенно знаете о советской России, что и там мертвые молчат и что там никто не посмеет поднять

голоса в защиту чести убитых. Напротив, советская власть имеет средства принудить даже ближайших друзей убитых к выражениям одобрения дел ГПУ.

Вы можете понять, почему мы, внимательно следящие за событиями в советской России, не отваживаемся говорить открыто об этих объявленных убийствах ОГПУ (собственно, это ничтожная доля убийств, о которых ничего не объявлено). Не говоря о том, что иностранцу неприятно впутываться в немецкие политические дискуссии, есть более важная причина, вынуждающая нас к молчанию. В этот момент, когда элита русской интеллигенции томится в тюрьмах ГПУ под такими же тяжелыми обвинениями, каждое наше выступление будет использовано против жертв как доказательство. И это письмо позволяю себе писать только будучи уверен в Вашем такте. Рабство, в котором живут наши 150 миллионов земляков, отбрасывает свою мрачную тень и на нас, живущих в свободном мире.

Тем тяжелее моральная ответственность иностранца, который, наслаждаясь всеми свободами столь часто поносимого Вами «буржуазного» общества, злоупотребляет этой свободой, чтобы в трагический момент, когда обессиленные остатки русской интеллигенции стоят перед приближающимся истреблением, опорочить призыв жертв и тем оправдать деятельность палачей если не по форме, то по содержанию.

Я лично чувствую глубокую боль оттого, что мои западноевропейские соплеменники не проявляют той чуткости и такта, какого можно бы ждать от потомков народа мучеников. Мы, евреи, должны, в частности, думать о том, что, например, в истории тайных судов есть признания наших предков в грехе употребления христианской крови. Цену этим признаниям мы знаем лучше, чем все другие. Достойно сожаления, что в этот раз многие ведущие умы среди евреев так легко были соблазнены красивыми словами. Эта своеобразная установка „прогрессивных“ еврейских интеллигентов по отношению к преступлениям советской власти обесценивает большую историческую борьбу наших предков за их религиозное самоопределение» (Из архива Б. Д. Бруцкуса. Перевод с немецкого).

Мышиная возня поднялась вокруг А. Эйнштейна.

«Однажды в конце 20-х годов группа германских ученых, воспользовавшись одной из судебных ошибок, составила антисоветское воззвание, под которым я обнаружил подпись

Эйнштейна. Когда я показал ему, что случай, о котором шла речь, — только повод для выступления против Советского Союза, он ответил, что не подумал об этом, но подписал по телефонному звонку Планка. Я спросил, считает ли он правильным, что в разгар борьбы нового социального строя с предрассудками старого Эйнштейн оказывается по ту сторону баррикады, в лагере прусского капитализма. Он ответил: „Конечно, нет, я бы не подписал, если бы подумал о последствиях. В будущем не буду участвовать в политических действиях, не посоветовавшись с вами“ (А. Ф. Иоффе. Встреча с физиками. ФМ, М., 1960, стр. 91).

Интересно, что акад. Иоффе говорит о «судебной ошибке», хотя никакого суда на самом деле не было, а репрессированные экономисты реабилитированы лишь в наше время, т. е. «ошибка» была официально признана лишь более, чем через 25 лет после смерти Иоффе. Надо отдать ему должное, он достаточно ловко использовал то, что Эйнштейн ненавидел прусскую военщину и милитаризм, а Зеринг был широко известен правыми взглядами. В остальном аргументация Иоффе сводится, как видим, к тому, что неизбежные «отдельные ошибки» не компрометируют «нового социального строя», преимущества которого принимаются как постулат. «Постулат» основывался на эмоциональных оценках, а не на рациональных доводах и определениях, — т. е. по существу на предрассудках. Эйнштейн довольствовался ими так же, как и Иоффе; «мысли его были далеки от политических проблем» (Иоффе). Иначе создатель теории относительности, сумевший дать четкое физическое определение одновременности, преодолев многовековой предрассудок, будто это понятие априорно дано свыше, конечно, смог бы проанализировать «постулат». Собственно, этого бы и не потребовалось: такой анализ давно был сделан экономистами (Спенсер, Бруцкус, Мизес). Но он не был общепринят и популярен, а научные интересы Эйнштейна были далеки от экономики.

17 сентября 1931 г. в советской газете (ее название на вырезке не указано) было напечатано:

«Корреспондент РОСТА (Российского телеграфного агентства. — В. К.) беседовал с германским профессором Германом Мюнинц, близким научным сотрудником знаменитого ученого Альберта Эйнштейна. В настоящее время проф. Мюнинц занимает кафедру по высшей математике в Ленин-

градском гос. университете. Во время последней поездки в Германию проф. Мюнинц виделся с А. Эйнштейном, который уполномочил его передать обществу СССР заявление, касающееся известного выступления группы европейской интеллигенции против процесса 48 ученых-вредителей, организаторов голода в Советском Союзе. А. Эйнштейн тогда поставил свою подпись под этим протестом.

Вот текст заявления А. Эйнштейна:

„Эту подпись я дал тогда после длительного колебания, доверяя компетентности и честности лиц, просивших ее у меня, и кроме того, я считаю психологически невозможным, чтобы люди, несущие полную ответственность за работу по исполнению важнейших технических задач, намеренно вредили цели, которой они должны были служить. Сегодня я глубоко сожалею, что дал эту подпись потому, что потерял убеждение в верности моих тогдашних взглядов. Я тогда не сознавал достаточно, что в особенных условиях СССР возможны вещи, в условиях для меня обычных совершенно немыслимые“.

По словам проф. Мюнинца, А. Эйнштейн внимательно следит за ходом социалистического строительства в СССР и считает, что Советский Союз добился величайших достижений. „Западная Европа – говорит Эйнштейн – скоро будет вам завидовать“» (Из архива Б. Д. Бруцкуса).

Можно не сомневаться, что Мюнинца командировали в Германию специально, чтобы получить заявление Эйнштейна. Показательно, что в корреспонденции расстрел без суда по постановлению коллегии ГПУ тоже назван «процессом». Заключительный абзац говорит о качестве информации, какой снабжали Эйнштейна. Характерно, что, поверив в «особые условия СССР», он сделал вывод не о порочности советского режима, а о том, что напрасно подписал протест («постулат»!).

14 сентября 1931 г. в немецкой «Нойе монтаг цейтунг» было опубликовано письмо Эйнштейна – ответ на запрос редакции, действительно ли он снял свою подпись под протестом.

«10 сентября 1931 г.

Слух основан на истине. Если я, естественно, не мог убедиться в вине осужденных лиц, то мне кажется теперь, что при господствующих в России отношениях отсюда нельзя считать возможность вины полностью исключенной. Поэтому я счел

вмешательство излишним и необоснованным, тем более, что за протестом могут стоять политические замыслы» (Из архива Б. Д. Бруцкуса. Перевод с немецкого).

В этом письме явные следы аргументов Иоффе. Кроме того, Эйнштейну, живущему на Западе, где суд деполитизирован, не приходит в голову, что ГПУ в своих действиях руководствуется в первую очередь не правовыми, а политическими соображениями и именно в политических целях заинтересовано обвинить невиновных.

На эту публикацию Бруцкус реагировал коротким письмом к Эйнштейну.

«17 сентября 1931 г.

Глубокоуважаемый г-н профессор!

С глубокой болью я узнал из «Н. монт. цейт.» от 14 этого месяца, что для ведущего ученого нашего поколения проф. Альберта Эйнштейна вопрос, можно ли уничтожить человеческую жизнь тайным способом, еще не решен окончательно и бесповоротно» (Из архива Б. Д. Бруцкуса. Перевод с немецкого).

Ему ответила секретарь Эйнштейна Эллен Дюкас.

«30 сентября 1931 г.

Глубокоуважаемый г-н профессор!

Проф. Эйнштейн поручил мне переслать Вам прилагаемую статью из „Руля“ и свой ответ на нее, который может служить ответом и на Ваше письмо» (Из архива Б. Д. Бруцкуса. Перевод с немецкого).

К письму приложен перевод на немецкий язык статьи Г. Ландау «Проблема совести» и копия ответа Эйнштейна на имя И. Бушанского.

«30 сентября 1931 г.

Я получил и внимательно прочел Ваше письмо и статью.

Не может быть и речи о том, что я одобряю, когда людей убивают на основании неконтролируемых процессов. Я вообще противник всякой системы террора и мне никогда не приходило в голову одобрять любые методы, применяемые в России.

С другой стороны, я испытываю глубокое уважение к высоким целям, преследуемым в России, и к высокому идеализму, который дает силу этим начинаниям. Сегодня все больше людей убеждаются не в несправедливости, а в нежизнеспособности существующих хозяйственных систем. В таком

случае удивительно ли, что единственную серьезную попытку приблизить лучшее положение встречаются с большим интересом и симпатией, а также что происходят единичные случаи, которых вовсе нельзя одобрить? Где сказано, что при таких обстоятельствах нет другого способа выразить свое отношение иначе, чем протестом, если происшедшее вызывает неодобрение? Не должно ли это отравить жизнь тем, кто честно отдает свои силы на службе хорошей цели? Не должно ли привести такое высказывание к отравлению международной атмосферы?

Я предоставляю Вам самому ответить себе на эти вопросы» (Из архива Б. Д. Бруцкуса. Перевод с немецкого).

Характерно, что Эйнштейн говорит о «единичных случаях». Но само существование такой организации, как ГПУ, которая может без суда расстреливать людей, говорит о том, что советская власть опирается на «систему террора» и, стало быть, случаи не могут быть единичными. Не одобряя таких методов, Эйнштейн, очевидно, склонен их все же прощать во имя «высоких целей».

Бруцкус ответил подробно.

«1 октября 1931 г.

Глубокоуважаемый г-н профессор!

Из копии Вашего ценного письма к г-ну Бушанскому, которое Ваш секретарь переслал мне по Вашему поручению, я с полным удовлетворением узнал, что Вы совсем не одобряете, когда „людей убивают на основании неконтролируемых процессов“.

К сожалению, дело нельзя считать исчерпанным этим Вашим частным письмом. Ваши высказывания с проф. Мюнинцем опубликованы в советской прессе и должны произвести в России большое впечатление. И в других странах многие газеты напечатали Ваше письмо в „Н. монт. цейт.“ Я надеюсь, Вы не истолкуете дурно, если я позволю себе высказать мнение, что должно что-то появиться, чтобы разъяснить недоразумение, которое вызвали и должны вызвать Ваши последние открытые заявления.

Вы говорите, что в момент, когда Вы подписали протест, Вы были убеждены в невинности расстрелянных; теперь же у Вас появились определенные сомнения. Протест вообще не затрагивает вопроса о невинности или виновности расстрелянных. Протест возражает против того, что люди „расстреляны

без суда лишь по постановлению ГПУ“. Если Вы снимаете свою подпись, то этот Ваш образ действий не может значить ничего другого, как то, что Вы считаете неуместным протестовать против таких фактов.

Вы высказываете в письме в „Н. монт. цейт.“ подозрение, что за протестом могут стоять политические мотивы. Я позволю себе высказать убеждение, что крупные представители немецкой духовной жизни, подписавшие протест, руководствовались только своей совестью и моралью и были далеки от всяких политических мотивов. Их отношение к большевизму тоже совершенно различно.

Я позволю себе, однако, высказать мнение, что Ваши политические симпатии к большевизму в этом чисто гуманном вопросе не должны играть роли. Если Вы даже при таких обстоятельствах не можете освободиться от их влияния, то Ваш прямой долг был предупредить партию, которой Вы симпатизируете, от таких морально недостойных действий.

Почему высказывания о событиях в Греции, Польше, США, Италии не означают „отравления международной атмосферы“, а одно высказывание об ужасном событии в советской России означает такое отравление, остается непонятным.

В заключение прошу Вас поверить мне, глубокоуважаемый г-н профессор, что я отправляю Вам это письмо лишь потому, что Ваше имя мне чрезвычайно дорого» (Из архива Б. Д. Бруцкуса. Перевод с немецкого).

Последняя фраза свидетельствует, что Бруцкус не рассчитывал на ответ, которого действительно так и не последовало.

Приведем еще отрывки из письма Бруцкуса к главному редактору «Израелитише фамилиенблатт» Карлебаху, написанного 20. 1. 1933 г.

«Выдающиеся еврейские интеллектуалы всегда готовы – разумеется, из лучших гуманных побуждений – взять под защиту коммунистов, хотя и совсем не всегда невинных. На террор в России, небывалый со времен средневековья, они закрывают глаза. Осенью 1930 г. под протестом крупных немецких интеллектуалов против бессудного расстрела 48 русских интеллигентов, обвиненных в саботаже, было лишь немного еврейских имен. И самый крупный из этих людей, Альберт Эйнштейн, снял потом свою подпись, потому что русские коммунисты ему симпатичны и его образ мыслей не

позволяет ему протестовать против их действий. „Берлинер тагеблатт“, разумеется, не еврейская газета, но чтобы играть ведущую роль среди еврейских интеллектуалов, несмотря на свою пламенную любовь к демократии и свободе духа систематически занимается тем, что в едва прикрытом виде прославляет террористический режим в России. Так испорчено наше юношество, воспитанное во мнении, будто для хорошей идеи, для коммунизма все дозволено. И из этой психологической испорченности происходят такие уголовные действия, как покушение на Вас. (...) Вы отваживаетесь высказать всю правду. Корреспонденты, сидящие в Москве, не осмеливаются высказать правду, так как боятся, что их вышлют. (...) Вы не отрицаете идеалистических элементов коммунизма. Безусловно, в сердце Сталина вложен некий идеализм, как он был вложен и в сердце Торквемады. Это, вероятно, самое опасное» (Из архива Б. Д. Бруцкуса. Перевод с немецкого).

Никого из действующих лиц уже давно нет в живых. Но история все так же актуальна...

6–10 января 1989 года, Иерусалим

ДОБАВЛЕНИЕ

11 декабря 1930 г. в «Известиях была опубликована статья Горького «Гуманистам», где он заклеил в том числе «профессора Альберта Эйнштейна и господина Генриха Манна»:

«Эти двое, вместе со многими другими гуманистами, недавно подписали протест немецкой «Лиги защиты прав человека» против казни сорока восьми преступников, организаторов пищевого голода в Союзе Советов. (...) Неопишуемая гнусность действий сорока восьми мне хорошо известна, я знаю, что они делали нечто гораздо более преступное и грязное, чем то, что делалось хозяевами боен Чикаго и описано Э. Синклером в его книге «Джунгли». Организаторы пищевого голода, возбудив справедливый гнев трудового народа, против которого они составили свой подлый заговор, были казнены по единодушному требованию рабочих. Я считаю эту казнь вполне законной». (Цитирую по Собранию сочинений в 30 томах, т. 25, стр. 235.)

Неудивительно, что «пролетарский гуманист», проповедующий суд Линча («единодушное требование рабочих»), считает «вполне законным» расстрел без суда. Интереснее, что он лишь понаслышке знаком с документом, подписанным Манном и Эйнштейном. «Лига прав человека» тут решительно ни при чем. Ее протест был опубликован позднее – 1 ноября.

«Кроме нескольких функционеров ГПУ никто в мире не может судить, были ли даны признания 48 расстрелянными и какие обстоятельства их к этому привели. Твердо установлено, что против этих обвиняемых не было формального суда. Ни открытых устных показаний, ни дискуссии обвинителей и защитников, никаких гарантий, созданных человеческим родом на долгом полном страданий пути развития для расследования фактов и взвешивания вины и покаяния, – не было дано 48 расстрелянным. Чем больше число граждан, которых государство в отдельных случаях подвергает тайному одностороннему процессу, тем больше опасность произвола и ошибок, которые должны роковым образом сказаться на обществе. Немецкая Лига прав человека имеет задачей защищать права одиночки также против интересов государства. Она усматривает в действии ГПУ тяжелое нарушение прав человека и заявляет против этого торжественный протест». (Из архива Б. Д. Бруцкуса. Перевод с немецкого.)

Этот протест не имел такого отклика, как демонстрация восьмидесяти шести.

Горький позднее сам включил статью в Собрание сочинений. Этим полностью опровергается легенда, будто, «разговаривая с Ягодой, он обвинил правительство в расстреле невинных людей с намерением свалить на них ответственность за голод»*.

* А. Орлов. Тайная история сталинских преступлений. «Время и мы», 1983, стр. 263.

Истоки

Ольга Б и р ю з о в а

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ»

Игорь Михайлович Доброштан, «простой украинский хлопец», как он себя называет, во время войны – разведчик 31 дивизии Сталинградской ордена Богдана Хмельницкого, ордена Красного Знамени 52 армии, контрразведчик той же армии. «Выполнял особо опасные задания по линии контрразведки в Румынии, Польше, Германии в 1943–1945 гг.» (Зам. начальника ОКРСМЕРШ Линьков В. И.) – из боевой характеристики.

Он был арестован в 1948 году. Решением Особого совещания лишен свободы сроком на 25 лет. В 1955 году руководил восстанием в Воркуте, в котором участвовало более 300 тысяч человек. Тогда же советскому правительству был предъявлен документ. Это было не прошение, не просьба, не петиция. Назывался он гордо и свободно – «Меморандум». Наконец люди не просили того, что им полагалось от Бога – свободы. Они требовали. «Меморандум» – это единственный документ в своем роде. Сейчас, в годы борьбы со сталищиной, которая до сих пор живет в крови народа, «Меморандум» должен выйти из архива и прозвучать.

* *
*

Познакомились во время войны в Полтаве, в немецкой тюрьме. За месяц стали друзьями. Игорь Доброштан и Евгений Кузьмин. После войны ни разу не встречались. Прошло 40 лет. В квартире раздался телефонный звонок, потом прозвучал голос:

- Это квартира Кузьмина?
- Да, – сказал Кузьмин.
- Женья?

– Игорь! – и он узнал друга. Как будто все эти годы ждал услышать этот голос. – Я не видел его 40 лет, но никогда не забывал. Я знал, что Игорь жив. Игорь был не такой человек, которого могли убить.

Давайте послушаем, что говорит друг про своего друга:

– 1942 год. Не просто у немцев, не просто в концлагере, но – в тюрьме. И не в какой-нибудь тюрьме. В немецкой тюрьме. И вот появляется Доброштан. И забываешь, где находишься! Тюрьма – не тюрьма! Подымается чувство собственного достоинства! На фоне этих жестокостей. Сразу – мысли о свободе! О борьбе! О дерзости! Верить начинаешь в собственные силы. Мне было тогда 20 лет. Я был здоров! Два года в армии. Физически тренированный. Мастер спорта. Всеми видами борьбы владел, чуть ли не с элементами бандитизма. У меня был период романтического бесстрашия. Сидел в застенке, пел антифашистские песни на немецком языке! Мне было плевать на все! Пасьянс на картах раскладывал: завтра меня убьют или нет? И – Игорь! Я перед ним – хлюпик. Под его влиянием – бежал. Увел за собой большую группу здоровых ребят. Можно дать какие-то характеристики – но все это будет не то. Силой богатырской он обладал. Но и другие были у нас ребята – богатыри. В нем против них все равно было – чуть больше силы, он был чуть умнее самых умных, чуть смелей, и вот все эти «чуть» складывались в огромный образ. Ему было 19 лет, в полном расцвете сил. Был он и сдержанный, и реактивный. Прекрасно владел немецким. При нем люди, которые должны были потенциально погибнуть – не погибли. Когда не мог помочь – плакал. От бессилия. Я сам это видел.

Брали на расстрел: «Du, Du, Du, Du!» – тычет пальцем, а потом посмотрит – такой у нас ленинградский учитель Мальков был, гноем кашлял, – и тебя, – «Комм!» Вши, клопы, 40 человек в камере. Пот – в глаза. Сейчас бы обычные люди с ума посходили, а мы жили, добивались чего-то: «За мирный труд, на смелый бой». Сидела с нами в тюрьме Клава Кошман. Игорю эта девушка нравилась, он здоровый, а она против него – стройная такая была. Говорили ей: поживет с немецким офицером – выпустят. Она платье свои разорвала в клочья, в знак протеста. Как Игорь тогда бушевал! Он безумный был, хотел, чтобы фашисты его вместе с ней расстреляли.

И вот утром Клаву выводят во двор. Она махнула нам рукой, улыбнулась и пошла. На тот свет. Вот как люди

умирали за родину! И вот что эти гады сделали со страшной!

Доброштан натренировался спасать хороших людей от фашистов, а потом – от нашей сволочи в сталинском застенке. С одной чумой он боролся там, с другой – здесь.

У каждого человека есть кульминация в судьбе. У Доброштана, в его борьбе за жизнь против смерти, против мертвечины – это восстание в Воркуте, это «Меморандум». Меморандум советских рабов – советским подонкам. Мир не знал еще таких людей! С чем можно его сравнить? Спартак поднял восстание рабов, но он никакого меморандума не писал. Это меморандум отчаявшихся рабов, которые на все пошли и победили. Заключение не только его написали, но и довели до высшего партийного руководства. Доброштан обеспечил поддержку этого «Меморандума» от рабов. Как понять значение документа, о существовании которого никто из людей в массе своей не знает!!! «Меморандум» – это мощный толчок снизу. И «мафия» дрогнула! «Мафия» почувствовала этот мощный толчок, «мафия», которая весь народ держала за горло! Меморандум стукнул по голове всем и явился посылом к освобождению миллионов напрасно осужденных людей. В какой степени это повлияло? Никто не скажет – на сколько процентов. Но без него не было бы массового освобождения. Бомба разорвалась! Хрущев освободил тогда 20 миллионов человек.

Правительственная комиссия привезла Доброштана в Москву. С ним разговаривали Пospelов, Руденко. Но если и повернул кто-то историю в сторону справедливости, а бесправное государство в сторону правового, так это не Руденко и не Пospelов. Это заключенные, «Меморандум», Доброштан. И что, ему отплатили добром за добро? Нет! Его упрятали в еще более худший застенок. И как нужно любить свою родину, чтобы пройти гитлеровщину, сталинщину, бериевщину – возвратиться, чтобы опять начать трудиться в этой обескровленной, обесчещенной стране!

Кто он?

Игорь Михайлович Доброштан? Да никто. Ни академик, ни деятель государственный. (Хотя он и обладает фантастической энергией – он имеет два высших и одно незаконченное высшее образование – сидя по тюрьмам – когда он успел это сделать?) Человек всю жизнь боролся за достоинство своего

народа. Бесстрашный человек. Свободный человек! Вот как это называется. Несмотря на цепи, в которых его держали. Мы и забыли, что именно это называется – свободным человеком.

* *
*

Приводят на допрос, следователь сидит ерундой занимается. Ночные допросы – у него тройная зарплата идет.

– Считаешь себя невиновным? Думай! – сидишь, думаешь, смотришь на него, с открытыми глазами спишь.

– Ах, ты спишь! Не спать! Спишь?! В камеру! – приведут в камеру, начинаешь спать.

Открывается кормушка, стук ключа:

– Д, Д, Д, Д, Д, – вызывает тебя, на «Д», фамилию не говорит.

– Доброштан.

– Доброштан! Без вещей! – значит на допрос.

– Спишь? – а у следователя ряжка гладкая, он днем высыпается, – не спать! Ах, ты не будешь признаваться, фашистская сволочь! – как я на него навалюсь за эту «фашистскую сволочь», – родители и Бог здоровьем не обидели – придавил и держу под собой. Тут другой влетает:

– В карцер! 20 суток, – там темно, душно, смрадно, сток нечистот, вонь страшная и вентилятор денно и ночью сильно гудит, не поймешь, что он гонит, только не прохладу, мало июльского жара – дополнительный нагнетает.

Карцеры бывают разные. Хлеба 20 граммов на день, на третьи сутки – «щи» – вода на капусте. На тебя все время «глаз». Но при этом стерильная чистота. Утром открывается дверь – женщина лет 35, в форме, у нее на груди – «Красная Звезда».

«Внутренние дела» получали ордена в тылу: 5 лет служит – «За боевые заслуги», 10 лет – «За отвагу», 15 – орден Красной Звезды, 20 – «Боевого Красного Знамени», 25 – орден Ленина. Это все боевые, офицерские ордена, а дают их за то, что они издеваются над советскими людьми. Издевательство приравнивается к фронту. Смотришь телевизор – сидят в президиуме «герои войны».

Так вот та женщина с «Красной Звездой» дает веник – мести пол. А там – так чисто, белено, ни соринки. Мести нечего. Но веник берешь и метешь, ничего при этом не собираешь, но делаешь дело. В этом уже какое-то помешательство. Сделал – нет мусору – она дает совок. Собираешь то, чего нет, на совок.

Стал совок с «мусором» в ведро опускать, а там, в ведре – хлеб. Кусок старый, весь посиневший от цвели. И тут взгляды наши встретились.

– Вы мне позволите взять этот кусочек хлеба? – говорю.

– Возьмите! – нарушила дисциплину. Что в ней проснулось – мать, женщина? Взял я тот кусок и несколько дней его ел, отламывал по крохам – можно было продержаться некоторое время за счет доброты тюремщика.

Решение Особого совещания было 25 лет лишения свободы по статье 54-1а. Доброштан отказался подписываться под тем, что он – изменник родины.

– Почему? – спросил майор.

– Это все ерунда, – сказал он спокойно.

– Ну, как хочешь, – привели двух понятых, они на обратной стороне приговора поставили свои подписи, как свидетельство о том, что заключенный отказался руку приложить.

У надзирателя, старшины, на груди (среди других наград) значилась медаль «Освобождение Праги». И Доброштан тоже участвовал в этой операции.

– Вот и я фронтовик. Сколько ты думаешь мне дали?

– Пять.

– Двадцать пять!

– Ого!

– Верь мне, я честный человек. Послушай, накорми меня хоть раз до отвала? А?

– Ты биться в камере не будешь?

– Вот тебе крест.

Привел старшина меня в камеру и следом притащил ведро с вареной картошкой и морковью. Жидкое блюдо такое. Ем и ем, ем и ем, больше, кажется, не могу, а я ем и ем. Потом – все, а глаза еще хотят. Раз – на лавку, и через минуту – спал. Это после того, как они мне объявили срок – 25 лет лишения свободы.

Уже на следующий день с этапа хотел бежать. Дело было на Каланчевке в Москве. Одет – в синюю шинель с отор-

ванными пуговицами, фуражку мятую, типа милицейской. Ботинки – без шнурков. Состав был сформирован, в вагон нас приняли четверых и повезли. Куда-то. В Воркуте за Сухобезводным пошла сплошная проволока, сплошные лагерь. И лесоповал. Вагоны, покрашены они были в красный цвет, и назывались краснушки. Из краснушек выгружали, строили, считали, потом следовала команда: «Садись!» – все садились на холодную землю. На каждой краснушке была вышка, от вагона к вагону тянулся телеграфный провод, присоединен он был к машинисту. И вот в такой обстановке я поклялся, что все равно буду бежать.

Нас привезли в Кировскую пересылку. Выгрузили.

– Шаг вправо, шаг влево – считается побег. Ясно?

– Масло! – обычно я им кричал.

– Шагом марш! – двинулись, – чего отстаешь?

Так, как тогда, я смеялся за всю свою жизнь политзаключенного несколько раз. Это был раз первый. Пасмурно, крик, лай собак, босяки, урки, среди «58» – блатные. У этих блатных, у них все было – берут копейку и оттачивают ее как бритву. Среди нас шли женщины, видимо, переселенцы, много женщин, и на плечах у них висели мешки, а у одной в том мешке была фасоль, как выяснилось. Кто-то из блатных – раз – ей по мешку копейкой, и вот фасоль эта посыпалась... Дорога, крытая льдом. Скользко. Из мешка скачет фасоль на дорогу под ноги. И я начинаю смеяться, как сумасшедший. Верхом переживаний для меня это оказалось. Фасоль. Смеялся, как ненормальный, пока не дошли мы до пересыльной зоны.

Там стояли ворота все опутанные проволокой, по бокам – вышки и у входа красный плакат – вертухай нарисован: «Я охраняю мирный труд нашего народа». Это еще не все. Зона, колючая проволока и арка. А над аркой – «Мы живем в эпоху, когда все дороги ведут к коммунизму». Вяч. Молотов. Вот такой коммунизм мы пришли там строить.

* *
*

Лето в Воркуте быстрое, стремительное. И яркое. Яркие цветы, яркие цвета. Яркий свет. Круглые сутки день и солнце.

Оно поднимается от одного края горизонта, чуть не дойдя до другого – отправляется в обратный путь. Как мяч. Успевали все это замечать.

Зима – безжалостная. Один снег. Ветер с Карских ворот. И – ни одного дерева. Это бросается в глаза – что ни одного дерева. Все убого, внешне. Серо как-то совсем.

Лагерь. Встречают новую партию заключенных. На вахте стоит здоровый детина. С номером каторжанина на лбу:

– Ну что? Фашистов привели? Зачем привели? – спрашивает у конвойных. – У нас хватает рабочих рук! Нам не надо вашей работы! – издевается детина. А перед ним – советские офицеры, профессора, учителя. Люди стоят. – Ну ладно! Сейчас доложу!

Приходит начальник, бывший у фашистов командантом лагеря военнопленных:

– Будете стараться работать – похоронят вас в гробах из необструганных досок. А не будете стараться – без гробов. Вот так, – и широким жестом показывает, как нас похоронят. А там, слева, в двух метрах от нас, как дрова, трупы штабелями сложены. Замороженные. Снежком их прикрыло слегка. Мы до того момента, как он нам на наше будущее указал, и не заметили их. И какие худые трупы. Вот это – лагерь.

Профессора, учителя, офицеры начинают работать. Те, кто занимал большие должности, выполняли самую срамную работу, а те, кто поменьше в жизни преуспел – тем находили более легкое занятие. Ленинская гвардия – были ассенизаторами. Основная же масса – это шахта.

Работали на износ, на гибель – ели репу, турнепс, лист капустный, ели с таким достоинством – сидят чинно, спина прямая, осанка, не спешат. А есть так хочется! Не есть, а уничтожать эту репу, турнепс, лист капустный.

Те, кого называли доходягами, им есть уже не хотелось. Они были такие худые, что ягодиц там не было, на себя они переставали быть похожими и себя не помнили. Думали они только о табаке. Они вообще больше ни о чем не могли думать. Увидит курево – трясется, лишь бы затануться, лишь бы один раз затануться. Перед смертью.

* *
*

Была в лагере культурно-воспитательная часть – КВЧ. Руководил ею старший лейтенант Маклецов:

– Хотите быть на легком труде – дневальными по барaku, в медсанчасти? Или – не умеешь шевелить мозгами – упирайся руками? – В КВЧ перевоспитывали людей, читали им лекции о достоинствах советской власти. И был хор. Руководил им протодьякон из Ленинграда Юдин. Он имел сильный бас.

– У кого хороший голос? Кто умеет петь? Кормить станут лучше, – так собирал он этот хор.

И вот человек 10–12, облагодетельствованные Юдиным, обстриженные, бледные, в робах с номерами – щеки красными кругами намалюют – и на сцену. Аккордеонист растягивает свой аккордеон – еле-еле! Сил у него нет. А ноги – подкашиваются. Душа у них не поет, а они ради куска хлеба... Первое, что я там услышал, это:

О Сталине мудром,
Родном и любимом,
Прекрасную песню слагает народ,
– музыка Александрова.

Смотришь, цепенеешь. И ничего не понимаешь! Стоят и прославляют. Кошмар. Неестественно – не могу смириться:

– Ну-ну, давай. Пой ему славу. Ты жив остался – и славу ему поешь! – страшная картина. А я смеюсь. Тут я со времени ареста второй раз смеялся. Не могу остановиться.

Очень администрация хотела, чтобы заключенные славу ему пели. И пели. Боже Ты мой!

Поют эту песню посты и границы,
Поет эту песню советский народ, –

160 песен было о Сталине.

* *
*

– Мой номер заключенного был – 1А 154. На спине вырезали в бушлате вату и – раз – марлицей, как раз чтобы проду-

вало тебя. На марлице – цифры. И на правой ноге – повыше колена.

– 1А 154 по вашему приказанию явился! – но я им этого никогда не говорил! – рассказывает Доброштан. – Они меня ненавидели еще как! Но при этом уважали и боялись. Одно временно. При конвоировании, на этапах. Ходил всегда со скрученными назад руками. Мои лагерные пожитки носили другие заключенные. Конвой идет с собаками и автоматом:

– Шире шаг! Шире шаг! – орет и собака у него лает. Дальше идем – собака уже устала, не лает больше, а он все свое, нарочито: – Шире шаг!

– Сейчас я тебе покажу – шире шаг! – «Шире шаг» мог значить попытку к побегу. При попытке к побегу конвой имел право в заключенного стрелять.

Так в течение 10 лет. За эти десять лет – 1386 дней карцера, бура и штрафных лагерей. На деле Доброштана было пять цветных полос: склонен к побегам, склонен к нападению на конвой, склонен..., склонен...

– Я в душе казак, запорожский казак. Я знаю, что будут в меня стрелять, убивать будут – я все равно не уступлю! Тут – на грани с фанатизмом. Нас, казаков, когда-то поляки сажали на кол, и мы умирали так.

Зимой – в шахту идешь по веревке. В столовую – тоже по веревке. 45 градусов – все равно идешь на работу – только дают тебе маску на лицо. Ночью – все набьются в барак, и, чтобы люди спокойно не отдыхали – проверка. Шмон. С одной стороны барака на другую гонят, считают. Одеться не успеваешь – бушлат накинешь, валенки... Только согрелся, а согреться там трудно – одеяла плохонькие. Проверка. Одного не досчитались – опять считать – ходить по всем баракам. Спать начинаешь – встать! А волосы при этом примерзают. Штанов надеть не успеваешь. Боже мой! И не нужно им на самом деле никакой проверки. По пять, по шесть раз за ночь были эти проверки. А утром рано на работу.

* *
*

– Это была уже не проверка, а прямое издевательство. Ночь. БУР (барак усиленного режима). Нары, печка холод-

ная, уже остывшая, рядом – ящик с углем. На ящике том – тяжелая деревянная крышка.

Надзорслужба лагеря – Семоньков. Эти фамилии хорошо запоминаются. На жизнь. Орден Богдана Хмельницкого у него на груди. Фронтовик:

– Кто смерти не боится? Шаг вперед! – в руках у него пистолет.

«Ну, гад, – думаю. – Я смерти не боюсь!» – шагнул вперед.

Стреляет в меня! Раз! Я увертываюсь. Второй раз!

«Давай, – думаю, – бей, – думаю, – хватит, убивай!»

Стою! Стреляет! Сколько раз они в меня стреляли!!!

А вторая гильза застряла у него в стволе...

Тут я с того угольного ящика крышку хватаю, разворачиваюсь и – как ему... по голове она у него заскользила. Он упал.

* *
*

БУР. Комната надзирателей. Лежит громадная смирительная рубашка черного цвета. Длиннющий подол и рукава по два-три метра. Надзиратели и врач Галевич. Рубашкой можно пользоваться только в присутствии врача. Это крайняя мера наказания. Такому наказанию был недавно у нас подвергнут Чернышев, вор, по прозвищу Поносник. Через стены нам было слышно, как он просил начальника центрального изолятора Воркутлага, палача Мышичкина и надзирателей не надевать на него смирительную рубаху.

– Не губи меня, начальник. Не бери грех на душу. У меня жена, маленькие дети, – рубашкой был поломан позвоночник этому человеку. Комиссия приехала, посмеялась, акт составила, в котором не было ни одного слова правды.

Принцип действия ее таков – надевают робу и бесконечными рукавами закручивают назад руки, ноги сгибают в коленях, стопы тянут подолом к затылку. При этом подол пропускается сзади под руками, чтобы все это сильнее схватилось. Ту же и ту же утягивают подол и рукава. Пока человека не сломают. Обычно жертва умирает. Умирает, как правило, от удушья, от перелома позвоночника. Сначала лопались сухожилия на голенях.

Я как будто знал, что со мной такое произойдет, как будто специально готовился к подобному испытанию – в мои физические упражнения входило кольцо.

Я брыкался, когда на меня натягивали это добро.

Висел вниз животом – тянуло восемь надзирателей – голова была задрана кверху. Несколько раз в течение лагерной жизни я смеялся и несколько раз молился. Я молил Бога, чтобы Он помог мне потерять сознание. И Он мне помог. Я терял сознание. Несколько раз. Когда приходил в себя – видел красные, потные лица, мокрые волосы. У кого-то шапка съехала набок. Я был живой. Тогда они обдали меня водой – рубашка еще крепче схватила тело. Продолжали тянуть, я – просить Бога о том, чтобы мне не приходиться в себя. Они видели, что я все еще жив. Зверели. И тут кто-то крикнул:

– Ах, гад! Бей его! – и они стали бить меня ногами, сапогами в таком спеленутом состоянии. Я почувствовал адский ожог в крестце. Потом на воле мне сделали снимок и врач обнаружил следы этой рубашки на моем позвоночнике.

В камере ребята хотели меня поднять – не смогли – вся спина у меня была большая боль. Я лежал без движения двадцать дней, весь помятый. Врача, на многие просьбы заключенных, мне так и не вызвали, но зато на второй день известили о «Постановлении» – содержании меня в БУРе сроком на 3 месяца. За покушение на жизнь Семонькова. Подписать я этой бумаги не мог физически. Потом, с помощью друзей и неба начал двигаться.

Стало мне легче и решили мы бежать втроем с Васей Вовком, солдатом, и попом Герасимовым. Через попу, он заведовал складом на кухне, собрали продуктов на дорогу. Во время выюги припрятали пожитки в снег, прорезали проволоку под вышкой, смастерили компас. Ночью меня и Васю схватили, бросили в карцер, который стоял на отшибе. Оттуда мы не могли известить людей о том, что этот поп нас заложил. Карцер стоял за зоной, и вот пьяные надзиратели стали нас брать к себе по одиночке и вчетвером, впятером избивать. Били палками, чем попало. Нас избивают – мы кричим. Был у нас там маленький такой Волуевич в камере, он кричал больше всех, когда его вызывали. Потом выяснилось, что били всех, кроме него. Его кормили салом, хлебом. И заставляли имитировать крик. Он признался в том, что – насадка. Был среди надзирателей ссучившийся вор, порвавший с блатным миром, слуга

оперативников. Ходил в серой каракулевой кубанке. Раз дежурил он пьяный, вызывает меня:

– Ну! – наган приставил ко лбу, – прощайся с жизнью. – Как я дал по тому нагану! Он просил, чтобы я никому об этом случае не говорил – носить и применять оружие в зоне было запрещено. После этого посадили меня в отдельную камеру в том же карцере.



Это не первый мой карцер в лагере. Я решил, что – последний. Холодина – я босой. Одежды нет. Ноги голые. Голова голая. Голову кое-как закутал. На мне одна телогрейка. Ноги, чувствую, доходят. Сам весь дохожу. Тогда я телогрейку с себя снял и рукава телогрейки на ноги натянул.

Чего жду? Не знаю! Не могу взбодрить себя. Сил нет никаких. Ни физических, ни душевных. Жить нечем! Засыпать стал – снятся красивые женщины. Не даю себе права такие сны смотреть. Просыпаюсь. Сил нет – опять засыпаю – и у меня поллюция за поллюцией. Все замерзает и я понимаю, что отдаю концы. Сдаюсь. Назавтра не встаю. Заводят в мою кутузку врача – заключенного Блауштейна Григория Соломоновича:

– Погибаю, – говорю ему.

– Что?

– Такие дела, – рассказываю, – помоги, тяжело.

– Первое, – говорит, – не падай духом. Второе, – передал мне порошки, очень сильные. Запах и привкус канифоли у них. Жуть. Пью эти порошки, а сам – еле жив. Голова болит, кушать нечего. А меня морозят! Потом – смотрю – кое-где проталинки маленькие. Мимо карцера – один сумасшедший у нас был – на лошадке трупы возил. На задворках лагеря стояла яма со снегом, и он вниз головой, вверх ногами их в яму, в снег втыкал. Я пошел на первую прогулку и увидел – кое-что стало открываться: рука, одежда какая-то. Оттепель была. Иду дальше. Гляжу – лужица. Что такое? Грязная птичка такая в этой лужице. Не пойму. А это первый воробей прилетел в Воркуту. Так я обрадовался!

* *
*

Приводят меня в «кабинет» за зоной – сидят: старший оперуполномоченный Широков и все тот же капитан Семоньков, начальник надзорной службы. Широков веселый такой. Семоньков играет маленьким коровинским пистолетом.

– Почему меня изолировали? – спрашиваю.

– Ну и что? – а веселость у них особая. – Подохнешь! Мало ли вас поддыхает? Поддыхают и лучше тебя, – говорит Широков.

– Кончайте меня морозить! – он мне на капитана Семонькова указывает.

– Ты стрелял в меня, – поворачиваюсь к нему лицом, – я тебя ударил. Как бы ты поступил на моем месте?

– Какая хитрая! – этот Семоньков улюлюкает.

– А говоришь, что ты фронтовик.

И тут – «ба-бах» – пробил он себе палец – доигрался пистолетиком.

– Врача! – сразу прибежал врач.

– Мы тебя переведем, – говорят, – только ты молчи.

* *
*

Переводят меня с одного лаготделения в другое и пускают там слух, что я – провокатор. Делается это так – оперуполномоченный вызывает своих и дает задание... Чтобы люди поняли... Начинается...

На кухне наливают полчерпака. Не надо, мол, стучать! Народ тут же стоит, смотрит. Со стороны человек подходит, спрашивает:

– Ты кто?

– Я скажу – ты же все равно не поверишь, – и не разберешь, для чего он интересуется тобой – для достоверности или чтобы сделать больно.

– Тут пришло письмо с другой шахты. Вроде, неплохо про тебя там написано?

– Спасибо людям, – чувство благодарности появляется и становится чуть легче. Но все равно кошки на сердце скребут.

Само состояние, что на тебя косо смотрят, очень тяжелое. Заводят в лагерный тупичок – выясняют личность. Смотрю, люди настроены ко мне определенно. Как докажешь, что ты не стукач? Надо что-то делать. Я взволнован, но настроен побоевому. Дело к вечеру. Вечер.

«Ну что? – думаю, – начнем, пожалуй», – и тут я «загулял».

Баракы – все на замок. Проверка.

– Стройся на проверку! – в конце строй не сошелся у них на одного... Раз проверка, второй... утром на работу. А я лежу. Лежу, правда, не просто так, – привели меня в этот барак, положили у окна – руку продуло так, что она не подымается. Чем лечить? Было два камня – на них мочились. Вот я один на печке согрею и прикладываю. Вонь страшная. Но ничем не лечить – еще хуже.

– Вставай! – орет.

– Я – Доброштан!

– Встать! – вокруг меня человек пять.

– Оставь. Христа ради!

– Встать! – Такое редко бывает. Весь барак не спит.

Ждут, что будет.

– Ах, вы, гады! – вскакиваю.

И Володя Маркелов с верхних нар:

– Бей их! – и вот мы вместе с Володей – давай их бить! Да так от души! Так давно во мне это копилось! К ним отношение брезгливое! Но это ЧП в лагере – надзирателей бьют. Вдруг их влетает в барак человек 15.

– Встать! Лечь! Руки вниз! – хватают меня. Хватают Маркелова. Я не оделся, в кальсонах, в рубашке, только на одну ногу успел валенок натянуть. А на дворе снегу – по пуп. Двое меня скрутили, а двое сзади бегут и – под зад мне по очереди, то один, то второй – зло свое избыывают таким образом. И так мы с ними идем метров 50. Те, кто меня ведут, слабей стали держать. И тут я выворачиваюсь из рук тех, кто держит – и на тех, кто сзади! Бить их! На одного навалился – за нос его! Хрящ перекусить! Их много и каждый хочет бить! Я бью того, который снизу, по морде! Схватил его зубами за голову и бью! А они меня бьют. Потом все – устал я. Лежу – больше не двигаюсь. Они меня так и поволокли.

Карцер – сверху лед, снизу лед, а посередине нары. Руки назад – наручники – клац. Ноги – клац. Короткое время про-

ходит – наручники начинают утопать в теле, кисти тяжелеют, пальцы теряют подвижность.

«Ну, – думаю, – теперь ты пропал ни за цапую душу». Еще несколько часов – и все. Заморозят они меня.

На 40-й шахте в БУРе мы уговорили как-то дневального, заключенного, чтобы он добыл и принес нам одну хотя бы пару наручников. Он принес, и мы несколько дней их изучали. Научились открывать. Спичкой.

Вот стою я в том карцере и соображаю – чем бы? Спичек нет. Ничего похожего на спички тоже нет. И увидел я тут доску! Ноги у меня в кандалах, замерзшие – я с трудом к той доске приблизился. Но приблизился! Как же мне отщипнуть палочку? И стал я грызть. Грыз, грыз. И вот держу треугольник во рту. Мне надо передать его себе назад, в руки. Я наклонился, губами положил его на нижние нары. А руки немеют, коченеют, пальцы ничего не чувствуют. Поворачиваюсь спиной и беру каким-то образом щепочку. Еще одна победа! Держу ее – ее не ощущаю!

Когда я был обречен – был спокоен – ни щепочки, никакого хода у меня не было. Теперь на полпути к успеху – дурно мне! Я сильно взволнован. Даже теперь, когда приходится вспоминать этот момент моей жизни, делается дурно. Пальцы еле движутся, и мне надо попасть в маленький зазор в этих наручниках, придавить последний зуб, довольно тонкая работа. Вот, кажется, я попал, давяю и надо не сломать щепку... – Чик – разошелся наручник на одной руке. Этот момент, он мне жизнь спас. До утра я бы там был готовый. А охранники все то время ходят рядом, смотрят в волчок:

– Ну что, фашист, не подох еще? Ничего! До утра подохнешь! Ха-ха-ха! – а я стою уже чистый! Ноги освобождаю. Вот и с ног снял...

– А плевать я на вас хотел! Гады! – итак, у меня две пары наручников – стою, держу их у себя за спиной. Вертухай:

– Как ты там, фашист! – а я ему в ответ:

– Ты сам, гад – фашист! Ты хуже Гитлера! Геринга! Гиммлера! И Геббельса! Вместе взятых! И более того! Потому что ты – плюс ко всему – вонючка по сравнению с ними! – Стою рядом с дверью, чтоб они меня в волчок не видели. Но они заволновались, волчок не открывают, а сразу – ко мне в карцер.

Как я дал им этими наручниками! Одному! Другому! и – наружу! Наручники выбросил в снег – бегу к своему бараку:

– Бей, братцы, гадов! Ломай бараки! – с вышек тут прострел – тр-тр-тр – бегут ко мне! Как волчья стая! Как псы на меня охотились! Бегаю босиком по снегу. А они меня гоняют. А они меня гоняют! Потом – поймали...

– Как же ты наручники, твою мать, открыл?

– С Божьей помощью, – говорю. А как я их открыл? Я и сейчас не знаю. Только так – с Божьей помощью. Как еще?

– У нас такого никогда не было.

– Но у меня такого тоже никогда не было, чтобы у зверей надо было вырывать зубами свою человеческую жизнь и свое честное имя.

Оперуполномоченный влетает в изолятор, надзор лагерной службы – все собираются. Они даже не подозревают, что это я сам открыл наручники.

– Как открыл? – один вопрос их интересует.

– Бог помог, – повторяю, а сам думаю, как мне у них подольше побыть. Замерз, а у них тут тепло. Хоть отогреться.

– Мы тебе ничего не сделаем, только покажи – как открыл.

– Пришел, – говорю, – надзиратель в карцер, – видит, мне плохо, я прошу – открой, и он открыл.

Они о том происшествии никому не доложили, потому что их начальство бы решило там наверху, что все они здесь – шляпы. Дали мне 15 суток карцера. Но тогда уже сразу кто-то пришел из барака, принес мне обувь, одежду. На завтра стало это все известно на других шахтах, по всей Воркуте, еще и преувеличили мои подвиги, как и положено в такой ситуации. И пошло – дух Доброштана. Дух – это значит сила. Дух – так говорили. Стали мне после этого носить из кухни – хлеба лишку. Как только надзиратель в сторону, раздатчик мне – раз в миску – кусок сала. А если он не будет этого делать, будет ему нехорошо. Таковы законы тюремные.

Переломали мне тогда несколько ребер, ребер 12, наверное, – потом на свободе рентген показал. И простыл я. Кашель сотрясает, а кашлять не могу – грудной клетке больно от переломов. Пришли обмотали меня бинтами – еще хуже. И вот я в том карцере опускался на колени – становился раком – кашлять ведь надо, в таком положении кашлял.

Из Воркутлага, во время его существования, было совершено 94 побега и только один остался не ликвидированным. Побег из лагеря это ЧП. Но побег из лагеря это и величайший политический протест. Куда из Воркуты можно бежать?! В 45 градусов мороза? И с чем бежать? С тем реквизитом, который был у заключенных? Но такие мысли приходят после, на свободе.

Тогда... Они сэкономили сахарный песок, чтобы собрать что-либо в дорогу. Им полагалась одна столовая ложка непосредственно в рот. Зимой ложка стала примерзать к языку – не отодрать, песок стали высыпать на бумажку, а с бумажки – не в рот, а потихоньку в пакет. Было поллитра спирту. Беглецы заточили край дюралюминиевой ложки – это стало ножом и оружием.

Игорь Доброштан и Петр Саблин бежали 21 января 1952 г. Начальник Воркутлага генерал Деревянко выступил:

– Пусть ваши шахты завалятся, но поймать беглецов вы обязаны! – Их поймали на станции Абезь.

Петю приказано было убить, чтобы положить потом на показ у проходной лагеря.

– Страшный я был, – говорит Доброштан. – Стреляй в меня! – Как развернулся к тому вохре. Вохра растерялся. А потом поворачивается к Пете:

– Ну, скажи спасибо Доброштану! – и рукояткой нагана рассек ему лицо под глазом. Петя упал.

Нас заключили в кольцо. Охрана. Я вынул из мешка, с которым мы бежали, бинт, опустился перед Петей на колени. Гляжу – жив. Стал за ним ухаживать. На станции все пассажиры на нас глазели, потом пришел поезд, ввели в вагон. До Воркуты мы ехали вместе с людьми.

Бежать испокон веков было святым делом. Каждый по неписанному закону тайги обязан был заключенному чем-нибудь помочь. На ночь перед домом выставлялся кусок хлеба, махорка, одежда. Эта традиция еще теплилась в сталинские времена. Только желающих бежать поубавилось.

В 1-м лаготделении беглецов поместили в штрафной изолятор.

– Два дня спустя повели на opravку и вдруг у меня отказали ноги, – говорит Доброштан, – распротался посреди кори-

дора. Упал, потом лежал месяц неподвижно. Через месяц – допросили. Готовился суд. И вот однажды:

– Саблин, Доброштан, – одели на нас бушлаты, сцепили одним наручником Петю за правую, меня за левую руку. Выглядели мы страшно. Но все казалось мало. Мышечкин очень радовался и суетился. Взял он валявшиеся на земле рваные брюки и повесил мне на шею. При исполнении служебных обязанностей был он рьян и жесток.

– Чтоб не снимал. Беглец! – таким было его напутствие. Нас повели по всему лагерю. Вели как на расстрел. Справа, слева, сзади – по пять человек вохры. Сделалось немного страшно.

Было холодно, ветер дул с Карских ворот. Пурга. Всех людей из барачков выгнали на снег – демонстрировали нас. Конечно, были такие, которые говорили, что из-за нас им теперь режим еще больше усилят. Но в основном благосклонно относились. Нам предстояло пройти 300 метров до вахты, а потом вернуться обратно.

– Петя! – говорю, – голову выше! Мы ничего с тобой плохого не сделали! Каждый из заключенных должен был так поступить!

– Не разговаривать! – конвой орет.

Но я сказал:

– Выше голову! – и сам стал на голову выше. И Петя вырос. Мы шли! Как мы шли! Одна рука была свободна, и я поприветствовал ею людей.

– Здравствуйте, – говорили мы, вокруг были знакомые, и нам стали отвечать. – Здравствуйте!

Нас хотела администрация опозорить, но получилась обратная картина. Мы – шли! Я торжествовал! Разве расскажешь? Гораздо величественней это было!

К обеду нас вернули в изолятор.

Потом должен был быть показательный суд в лагере.

Чекист, начальник лагеря, капитан Воронин осведомился: – Как вы будете вести себя?

– Как обычно ведут себя на суде политзаключенные.

Воронин был опытным оперативником, он сделал выводы из нашего заявления и не стал устраивать светопредставление в зоне. Суд состоялся в клубе МВД г. Воркуты, куда набилось вохры и офицеров человек 70.

Это меня воодушевило. Настроение было приподнятое. В такие моменты будто укол кто мне делал, и я сразу преобразался. Экстремальная ситуация – вот моя стихия.

– Ладно, спрашивайте, – я буду отвечать, – говорю. – А ты, секретарь, пиши. Пусть хоть один раз в протоколе вашего судилища будет записана правда! Зачуханные, больные, худые, мы с Петей командовали на том суде.

– После революции в семье революционера родился сын, – я провел параллель между двумя ситуациями, – сначала отец сидел в царских тюрьмах, а теперь сижу я. То, что было с царским правительством, будет и с вами. Сталинско-бериевское государство разлетится в прах! Поднимется мускулистая рука заключенных, разрушатся казармы! Порвется колючая проволока!

Чувствовалось, что они были поражены нашим поведением.

А закончил я свою речь так:

– Вы можете меня убить, но вы меня никогда не переделаете!

Дали слово Пете. Он маленький был такой парень, на голову ниже меня, но до того хороший:

– Доброштан все правильно сказал. Мне нечего больше добавить. Но и убавить тоже нечего.

Дали нам 10 лет сроку и еще год изолятора. Побег из лагеря в то время (1952 год) не считался побегом, но – саботажем. Бежит – значит не хочет человек работать. Такой закон издал Калинин в 1943 военном году. Посадили меня в изолятор, а в изоляторе – в карцер. Вот как они надо мной издевались, во главе со старшим лейтенантом Мышечкиным, начальником централа!

* *
*

Однажды пришла в центральный изолятор свита.

– Встать! Руки по швам! – то был сам генерал Деревянко, начальник всего Воркутлага с адъютантом. Адъютант держал блокнот – писать чаяния заключенных. Дошел Деревянко до меня:

– Ну, как, Доброштан, дела?

– Дела изоляторные.

– Есть вопросы?

– Один вопрос. Почему меня наказали дважды. Десять лет и еще изолятор? Два наказания не должно быть по закону.

– Закон – это мы. Я – тут закон. А если откровенно – у меня в Воркуте много тысяч сидит, но таких, как ты, человек 25. Если они в лагерных условиях, я просыпаюсь ночью и думаю, не случилось ли там чего? А когда вы в изоляторе – у меня этой мысли ночью нет. Так что сидеть будешь.

– Что можно сказать всесильному владыке? Спасибо за откровенность.

При Деревянко привезли в Воркуту большой, до неба, памятник Сталину. Он состоял из кусков. Ставить памятник можно было только, верхнюю плиту подцепив за шею. Начальство все разбежалось. Бежал Деревянко, чтобы не видеть, как будет его возводить. Иоську за шею? Дело сделали на рассвете.

Завтра этап, завтра соберут бунтарей со всего Советского Союза всех вместе, погрузят в вагон, потом на какую-нибудь списанную баржу и отправят в «Магадан»... И Доброштана тоже ждал этот путь. И был этот путь последним. На тот свет...

Что делать? Надо было срочно раздобыть молока. Хоть каплю! Но в лагере его не нашлось. Тут же работали вольнонаемные и вот, на счастье, выяснилось, что у одного из них был ребенок и, на счастье, в бутылочке с соской сегодня осталось немного молока, как раз столько, сколько надо. Вот это молоко и спасло Доброштана. Друзья-заключенные стали делать ему молочные уколы – вводить чужеродный белок. Сахар, махорка и аспирин. И опять – молоко. Сахар, махорка, аспирин. Поднялась предельно высокая температура, температура к утру была под сорок. В таком состоянии заключенного конвойные войска не берут. И никто им не указ. Так он остался в лагере. Так остался жив. Избежал еще одной смерти. На баржу грузили бунтарей – выводили ее в море и там затапливали. Периодически делались такие вещи.

Через год вышел я из центрального изолятора. Место мое в бараке было верхние нары. В первый же день взял пилу – больше писать было не на чем – залез наверх и сижу – пишу ровными печатными буквами, чтобы не было никакого почерка. Руки жиром смазал – отпечатков пальцев не оставлять.

«Бандит и крыса Берия и подобные ему подонки пьют народную кровь».

Сочинял воззвание. А за воззвание – только смерть. И вот – снова себе эту смерть зарабатываю. Утром выпустили, я еще не пообедал. И до обеда уже написал три экземпляра. Клял Берию и Сталина. Призывал не работать, саботировать.

– Ни одной тонны угля, ни одного гвоздя в гробстрой.

– Взрывайте, ломайте!

Пророчил: «Гады уже бегут, как крысы с корабля, который вот-вот должен затонуть»!

И подписался я тогда уже «Комитет действия смелых».

Этот комитет потом поднял восстание на Воркуте.

Тогда его еще не было вовсе. Я был один. Но это очень важно, чтобы завелся в подобных условиях один-два таких человека, как я.

Заходит в барак надзиратель:

– Что, Доброштан, делаешь?

– Пишу письмо домой.

– Дай почитать.

– Не дам. На то цензура есть, – оперативники не были тупые, они были хитрые, но им и в голову не приходило, что человек в первый же день после изолятора станет такое делать. Я действовал против них так, как они того не ожидали.

И ведь повесили те плакаты! Это сделал Петя Чечельницкий. Плакат висел: на вахте, по дороге на шахту, над столовой, то есть, там, где было более всего народу.

Гробстрой – называлась мирная стройка. Заключение «строили» город – Воркуту. Был вырыт котел под фундамент здания – работяги откликнулись на призыв – побросали в него тачки, деревянные чурки, и залили цементом.



В 1953 году на Воркуте было восстание. Лагерное начальство сумело убедить правительственную комиссию и лично генерала Масленникова в том, что восстали враги народа. Краснопогонники устроили на 29-й шахте кровавое воскресенье. Танки стреляли по беззащитным людям. Потом нквдешники фотографировали...

Они вытаскивали трупы за территорию лагеря и складывали композицию, они развешивали убитых на колючей проволоке, имитируя нападение. Им надо было отчитаться. И они «отчитались»: «заключенные нападали на них группами: одна группа, другая группа... за что были расстреляны». По слухам, погибло человек 30.

Всех, кто участвовал в восстании, свезли во Владимирский централ. Доброштан сидел в изоляторе на 7-й шахте, но каким-то образом тоже попал в число восставших. Ну, а если бы он не сидел?

– Во Владимире был шмон – все у нас забрали и дали прекрасную одежду! Полосатые брюки, полосатый пиджак и ермолку – полосатую – настоящие политзаклученные, как в Освенциме или в Бухенвальде. Ой! Мы обрадовались!

– Сколько надо было духу иметь, чтобы вот так к жизни относиться. Убить дух – вот чего они добивались! Убить дух, а потом что хотят, то и делают с тобой. Но это им не удалось!

Дух убивали всем, чем угодно. Камера, куда поместили заключенных, вся сплошь поросла плесенью. Но люди были уже не те, чтоб унывать от обстановки. Парень-шутник прикрепил у себя в уголке вырезанную из газеты карикатуру на Эйзенхауэра, каждый день вставал на колени и на него молился. Шутовство это тоже особый дух протеста. Так просто, мол, нас не сломишь.

Во Владимире скопилось человек 100 из Воркутлага и около 80 – из Норильской «Медвежки», где тоже было восстание. Воркута и Норильск хорошо общались. Через день-два то, что происходило по одну сторону Урала, становилось известно по другую.

Первым делом стали учить азбуку морзе. Учили так: кто-то караулил волчок, а кто-то в это время кричал буквы в высо-

кое окно, забравшись повыше. Успевали передать 5–6 букв. Тут на шум подходил надзиратель: «Что происходит?»

– Разве что-нибудь происходит? – тот, кто стоял на стреме у волчка, закрывал его корпусом и долго удивлялся.

В это время человек, который передавал азбуку, успевал слезть.

Доброштан заболел. Это было легко. Люди ходили такие голодные, что стоило им немного больше поесть – «пожадничать», а после того еще выйти на тяжелую работу – организм не выдерживал. Чидяев Коля, парень из камеры, ходил на разгрузку вагонов, воровал там масло, прятал его под ворот и приносил больному. Удалось немного подлечить желудок, но врача тюремщики не звали. И вот вся тюрьма, обученная морзянке, об этом узнала и подняла шум:

– Почему Доброштана не лечат?

На прогулку выводили в сектора – по соседству гуляли камеры, далекие по расположению друг от друга. Хотелось узнать, кто же рядом? Шли в открытую – кричали или перебрасывали через стену записочки. Потом стали перебрасывать записочки о дальнейших действиях.

– Тюремщики перехватили раз одну такую бумажку, – говорит Доброштан, – подписывался я Игорь. Но по-украински. Первая буква – «и» с точкой. Они читали – Угорь. Стали искать этого угря. Ищут... Одного схватили – а связь у нас была налажена – мы сразу в известности:

– Родную кровь бьют! – и тут мы пошли! Двери бить! Окна! Двери повылетали из камер! Военные курсанты какого-то училища были брошены на наше усмирение. Вот мы показали себя! Свою силу! Потом стали брать на допрос – мы не разрешали нас водить по одиночке. Вызывают меня:

– Я один не иду. У меня секретов нет от друзей. Вот он со мной сегодня идет. Организовали уже людей для выступления. У нас была составлена бумага. Но мы ее не подписывали и не ставили даты. Требовали газет, радио чтобы в камере было. Нереальные были требования, но мы душой знали, что мы уже не разъединены, мы можем быстро, сразу объединиться. Мы прошли одну школу и почувствовали локоть. «Наглеть стали» – так это звучало на языке тюремщиков.

Нужна была вспышка – и тут кто-то нас заложил. Вызывают меня к начальнику тюрьмы, подполковнику Бегуну:

– А ж ведь ты попался, угорь какой! 20 суток карцера – за подписью Абакумова, министра МВД.

Карцер – щель, бетон – на пол не ляжешь. Ляжешь – конец. А в 12 часов ночи давали гроб. Самый настоящий гроб, деревянный, темно-желтого цвета. В нем спать.

Сидели во Владимирском центре брат С. Орджоникидзе, жена Кузнецова, атаман Семенов, император Пу И, фельдмаршал Кляйст... Ночью открывает дверь дежурный офицер – там тоже попадались разные люди – показывает их мне – после 12 их водили на прогулку. Первым шел Кляйст... Был он в черном, уже поношенном берете: «Вы, русские, настоящие фашисты. Настоящие фашисты – не мы!» – дерзкий был человек.

Карцер – бетон, высота, а там в конце бетона – наверху решетка. Долго я стоял, смотрел... Там в небе было много голубей. Это я помню. На территории тюрьмы они жили. Голуби, а над ними ястреб стоял. Сесть мне было нельзя. На ногах – 20 часов в сутки. И я все прыгал вверх. И все лез к той решетке!

– Куда бы я ни попадал, первое, о чем думал, как можно отсюда бежать? Бежать! Дух революционера, дух протестанта, дух воли был так велик, что когда я понимал, что сейчас бороться нельзя – плакал.

Во Владимир нас собрали на год с разных лаготделений в надежде, что мы будем сидеть врозь. Расчет не оправдал себя и нас решили отправлять, но куда? Мы почему-то думали – на Тайшет. Я спросил об этом подполковника Бегуна. Обычно нам не отвечали на такие вопросы, но тут он, видимо, не сдержался.

– Такую заразу, как ты, нельзя отправлять в новое место. Поедете в Воркуту.

Мы тренировались, как будем бежать с этапа. Все было отшлифовано. Я «работал» безукоризненно. Продуманы были детали. Мы ехали в Горький. Остановка поезда должна быть в Коврове. И там... Первое – схватить, переломать вертуха, который стоит около туалета. Дальше – перерезать весь конвой.

– Не было шансов на жизнь! Мы это знали! И бредили – быстрее, быстрее погибнуть! Дерзнули тогда не мы, другие. Они все погибли.

У нас случилось непредвиденное обстоятельство – к нам добавили заключенных по дороге, мы отложили наш побег.

Тюрьма в Горьком была громадная, красная. Тюремщики все похожи друг на друга – опытные, лет по 50, в маленьких, сильных морщинах, очень бледные. Казалось, что еще при царском режиме они там работали.

* *
*

Даже сейчас, если будешь рассказывать, что делалось при Сталине, многие люди не станут верить. Или будут искать криминал: «За что сидели?»

Хочется развернуться и заорать в бессилии:

– Господи! Да ни за что! – но голос опять вязнет в пустоте.

Люди, как овцы, шли на казнь. В надежде доказать свою невиновность. Они верили в то, что белое это белое. И они говорили – это белое. Тогда как Сталин объявлял это черным. И какой-нибудь Ульрих повторял за ним – черное. И ему плевать было на то, что этот цвет – белый! Люди не умели перекрашиваться, они верили в белое и гибли за правду. Сталин был самым большим изувером на свете.

Человеку показать одно-два злодеяния, он придет в ужас. Но если ему показать море зла – он теряет восприимчивость. Мы воспитаны на зле. Мы утратили восприимчивость. Мы тусклы и бесчувственны. Будто это было где-то далеко, и не с нами. И это кривое восприятие – плод той изуверской лжи, что воспитано в нас сталинской эпохой. Мы и сейчас не хотим пускать в себя трагедию. Вся косность организма – против трагедии. Потому что до нее надо дорасти. Душой. Культурой. Трагедия это очищение. Но трагедия это и боль. Причем, боль чужая. Когда-нибудь мы научимся плакать не от того, что нам наступили на мозоль. Должно минуть время, и боль сама пройдет сквозь коросту. И тогда наступает жизнь. Потому что жизнь – это также и боль. Через ту боль все мертвое выйдет из нас – мещанство, хамство, эгоизм.

* *
*

Третья шахта считалась незыблемой. Начальник 15 лаг-отделения майор Захаров был уверен в себе:

– Давайте мне сюда 50–60 человек из Владимира, – и заключенных оставили у него под началом. Была осень 1954 г.

В 30–40-е годы людей было много. Холодные, голодные, они мерли как мухи. Утром вставали, мертвых уносили из барака. Некоторые мертвых припрятывали, чтобы потом как живых пропустить и пайку лишнюю получить. Черный хлеб давали – течет с него. Думали только об еде. Силы не было, связей между людьми не было. Потом работяг стало не хватать. Начали кормить.

– Мы уже наелись хлеба к 1955 году! Даже простыни у нас появились. Из бязи.

Пока люди были голодные – они сильно разобзились. Группы появились.

– Вот он украинец – и все! Очень много работы делалось, чтобы их объединить. Толкуешь ему: «Что ты отделился? В лагере нет ни грузин, ни поляков, ни русских, есть заключенные. И только!». А он разбирает: «Жид то, чи не жид». – «Жиды все в органах остались», – скажешь ему. Было много Иванов Денисовичей. Они тормозили дело. Сталинцам и требовалось, чтобы все были жертвы, все были Иваны Денисовичи.

К марту была налажена связь по всей Воркутинской мульде. Через вольнонаемных, которые работали взрывниками на шахтах. Через немцев, которые жили рядом с лагерями. У многих из них были мотоциклы – связь была стремительной. К весне люди прочно объединились.

Шаг к свободе был – похороны эстонца. Первый раз хоронили заключенного по-человечески. Эстонцы – отличные плотники. Они смастерили красивый гроб. Между жилой зоной и шахтой – весь немецкий поселок, когда шла процессия, стоял со снятыми шапками. На похоронах был пастор – заключенные поставили и такое условие администрации. Звучала речь над могилой.

– Ты умер далеко от родины. На чужой земле. Без вины. Мы не забудем, кто тебя прислал сюда. Мы отомстим за тебя!

С этих пор начальство лагерное чувствовало себя неуютно. Но майор Захаров был человек самолюбивый и думал, что справится с ситуацией.

К нам, кто сидел по 58 статье, сбежал пацан 14 лет от уголовников. Уголовники стали требовать вернуть его обратно – насиловать. Мы не давали. Тогда решили забрать парня краснопогонники. В майский день часов в 11 на территорию ла-

геря вошел взвод солдат. Без оружия, но с палками, метра по два.

– Отдайте!

– Нет!

– Будем применять силу!

Люди, кто не был в это время на шахте, вышли из барачков и стали краснопогонников окружать. Безмолвно. Кольцо людей сжималось, страшных, разъяренных.

– Братья! Отцы наши! Мы тут ни при чем! Пощадите нас! – кричали солдаты.

– Шапки долой! – командовали заключенные. Солдаты фуражки на землю положили.

– Палки долой! – и палки – рядом.

Капитана оттянули от солдат и – топтать его ногами. Все происходило молча.

– К вахте! – люди похватили камни и гнали их вплоть до вахты.

Недели за две до восстания получилось вроде репетиции.

Один работяга не поздоровался с начальством. Его потащили в БУР. Люди собрались вокруг:

– Выдать человека! – там было тогда двое осужденных по статье «58» и один блатной.

Начальство не отреагировало на требование. Тогда заключенные побросали бушлаты на проволоку и перебрались таким образом к БУРу. Повалили две вышки. Разгромили барак. Надзирателей избили и порвали на них форму. Из огнетушителей «стреляли» пеной в лицо. А блатной тем временем бежал. Потом возле КВЧ повесили плакат: «Убить стукачей!» Три фамилии – а внизу кровь капает с топора.



Обстановка в лагере сильно была наэлектризована. И тут Н. С. Хрущев поехал в Женеву на совещание «О правах человека...» В тот же день началось восстание. Сначала на шахте...

Кончила работу I смена, поднялись на гору человек 100. Эту группу людей должен был забирать конвой, – с отъездом Хрущева дали приказ его усилить. ЗК по пять человек пошли через вахту. Был в той смене старый еврей Рабкин. Он отстал.

– Иди быстрее! Старый хрен! – орет надзиратель, – задерживаешь весь развод!

И тут здоровенный такой западный украинец:

– Зачем ты оскорбляешь старого больного человека?! Хрущев вылетел на конференцию, будет брехать о нашем рае, а вы здесь создали ад крошечный, рабство. И еще кричите на нас!

Подошел начальник конвоя:

– Если так будете вести себя – вообще не поведем в лагерь.

– Братцы! Пошли обратно в зону! – и заключенные все до единого возвратились в рабочую зону. Ворота закрылись и все разбрелись по двору, кто куда. Через полчаса приехал начальник лагеря, майор Захаров. Он был бледный, испуганный, обратился к людям с тем, чтобы они шли в лагерь.

Никто его не послушал.

Вечером было немного холодно. Стояло хоть и лето, но лето в тундре. Потом потянулась светлая полярная ночь. Кто костры жег, кто в буфет шел.

– Что же вы хотите? – спрашивал Захаров, но никто ему не отвечал.

На шахту приехал начальник комбината Воркутауголь Дёхтев. Он сделал смелый марш – подошел один к людям около костров, там их было больше всего:

– Что случилось? Почему не идете в жилую зону?

Все молчали. Он повторился.

Литовец, парнишка лет 18, спокойно ему ответил:

– Гражданин начальник, настало время нас освободить. Берия, который нас посадил, оказался врагом народа – вы его расстреляли. Значит он виноват во всем. А мы все продолжаем сидеть в заключении.

– Берия получил по заслугам. И вы тоже по заслугам, – ответил Дёхтев.

– Тогда нам не о чем с вами разговаривать, – сказал литовец.

Дёхтев снова заговорил, но теперь его уже никто не слушал. Все повернулись к нему спинами. Он выглядел жалко и ушел на проходную.

В 23 часа эта смена соединилась с заключенными второй смены, которых подняли из шахты, и так две смены сидели всю ночь.

На другой день утром привели усиленный конвой и заключенным предложили идти в лагерь. Они стали выходить

по пятеркам. Их провели мимо немецкого поселка, и все немцы вышли смотреть на это шествие.

Что же происходило в это время в жилой зоне? 5 часов – люди возвращаются с шахты – в это время приходит развод. Все обычно бегут в столовую в очередь, чтобы успеть взять баланду погорячей.

Развод не пришел. Администрация суетилась. Между бараками двигался надзор.

– Почему не пришел народ? – спрашивают ЗК.

Отвечают, что есть причина.

– Что вы сделали с людьми? Вы их убили?

Через полчаса стало ясно, что люди отказались идти домой, потому что руководство не выполнило их требований.

Решено было – смена из лагеря не выходит, пока другая смена с шахты не возвратится. Решали, как вести себя. Перебирали варианты. Решили – не вмешиваться пока ни во что, дабы товарищей не отправили куда-нибудь в другое место.

Главный инженер и секретарь парторганизации уговаривали заключенных выйти на работу, но ни один человек не подался.

Утром, когда люди вернулись с шахты, по всему лагерю тут же было объявлено восстание. Это было настоящее восстание, настоящий протест. Немцы разъехались по всем другим отделениям и объявили о начале. Остановились все шахты, кроме 6-й. Воркута замерла. Труба созвала заключенных в столовую. Было проведено первое собрание. Требовали начальства из Москвы. Правительственной комиссии. Выбрали комитет из 14 человек. Туда вошло от каждой национальности по представителю. Нужен был руководитель. Кто-то сразу сказал:

– Доброштан.

– Здесь есть более опытные люди, старше меня, мудрее, и в заключении проводившие больше времени, – дело шло шумно, напряженно. Настаивали на кандидатуре Доброштана.

– Я согласен, но при одном условии. Вы будете слушаться меня как Бога. Не избежать моментов, когда советоваться не хватит времени. Я должен буду сам принимать решения. Вы согласны выполнять мои приказы? Даже, если они вам покажутся неясными? Поклянитесь слушаться меня во всем.

Люди поклялись. Сначала тихо, нестройно. Потом – дважды – убежденно и громко.

– Раз так, спасибо за доверие, – первое слово, которое Доброштан сказал перед восстанием было такое:

– В лагере нет ни поляков, ни эстонцев, ни латышей. Есть одни политзаключенные. Среди нас немало доносчиков и стукачей. Это ясно всем, как Божий день. Теперь мы должны про это забыть. Если они не пойдут на провокацию, не будут выполнять требования из-за зоны, мы учтем это в будущем. Тем, кто не желает быть вместе с нами, кто не согласен с нашей позицией, я предлагаю уйти из зоны.

И вот те, кто не пожелал принимать участие в восстании, медленно стали расходиться по баракам, медленно выходить оттуда со своими чемоданчиками, и – на проходную вахту.

– Один, два, три.

– Предатели! Гады! – кричали вслед им заключенные. Насчитали всего 29 человек. А начальство в это время через громкоговоритель кричало:

– Кто не выйдет сейчас к нам – зачеты снимем! – Когда человек перерабатывал норму, срок шел – один день к двум, а то и к трем. Это называлось зачет.

Лагерное начальство старалось, как могло, сбить людей с толку.

– Кто вас кормить будет?

– Ничего. Есть посылки, есть в магазине крупа, но мы можем и не кушать.

Обратились к народу, собрали деньги. В лагере был магазин. Работал в нем свой заключенный. Он сказал, сколько стоят крупы. Люди купили все по государственной цене. Питание шло в основном на то, чтобы прокормить больных, которые лежали в лазарете.

Было страшно. Лагерь окружили со всех сторон: танки, самоходки, согнали солдат со всей Воркуты. Была усилена охрана на заводе взрывчатых веществ.

Громкоговоритель призывал:

– Хватайте Доброштана. Он является большим государственным и военным преступником. Ловите его. Убейте его. Кто это сделает, будет немедленно освобожден. – Но никто на это не пошел. К Доброштану была приставлена охрана из трех-четырех человек. Это организовали латыши. Они знали, где он будет спать, когда и куда будет уходить из барака. Они, сменяясь, не отходили от него до конца восстания.

Кругом по Воркутинской мульде шли вагоны, с верхом груженные углем. При этом начальство агитировало людей идти на работу. Люди видели уголь и начинали верить, что на других шахтах работают. Люди сомневались во всем и склонны были идти в шахты. Кто-то предложил заметить номера вагонов – оказалось, что они одни и те же. Один и тот же состав прогоняли по кругу. Но трещина среди восставших намечалась.

– Не верим, что приедет комиссия!

– Давай свиней резать. Есть хочется, – в лагере было на откорме два десятка свиней.

Доброштану приходилось выступать перед людьми по 15–16 раз в день.

Все-таки народ не верил в себя. Народ – ничто. Он подписался под своим бессилием при Сталине. Народ надо было убедить в том, что он – сила.

– Чем мы хуже испанских, французских революционеров? Наш народ, неграмотный и темный, совершил такое! А теперь сидит и не в силах помочь себе! – Надо было сделать так, чтобы людям некогда было думать. Надо было их поднять, чтобы они опомниться не успели. Надо было, чтобы они увлекались, верили! Надо было самому зажигаться, не щадя себя, и собою зажигать остальных.

– Что сделал этот уголовный преступник с таким прекрасным народом, как наш!? Хватит! Поклянемся – или умрем, или уйдем на свободу!

Сам комитет функционировал вне всякой напряженности и суматохи, как будто люди много времени работали вместе. Быстро принимались решения и быстро выполнялись. Была выделена группа – она стала следить за порядком. Были люди, которые передавали указания за зону вольнонаемным – вольнонаемные распространяли их по другим шахтам.

Комитет решил, что если приедет правительственная комиссия, то она не должна уехать назад с пустыми руками. Политзаклученные начали писать обращение к властям. Шли в столовую, столы ставили в ряд – с одного торца садился Доброштан, с другого – эстонский журналист Рахнула. Документ состоял из 12 пунктов. Первым делом требовалось освободить женщин, которые были заняты на тяжелой физической работе.

Этот первый пункт документа – благороднейший пункт, говорит сам за себя, говорит о благородстве всего документа в целом.

Последнее, что требовали заключенные от правительства – гарантий – «все люди, которые принимают непосредственное участие в восстании – не будут преследоваться после освобождения и привлекаться к уголовной ответственности».

В документе обвинялось местное руководство: «Жизнь меняется к лучшему, руководство становится в 100 раз грубее, хуже и безжалостнее, чем прежде». Заключенные обговаривали каждый момент, сообщая искидая слова, поскольку знали, с чем имеют дело. Это была крепкая машина, прочно стоявшая на ногах, которую они только что начали раскачивать.

Обращение писали пять дней, составило оно 15–20 страниц. Потом надо было назвать написанное. Протест? Заявление? Прощение?

– Что, если назвать «Меморандум»? – предложил Доброштан.

– Подойдет, – сказал Рахнула.

– Меморандум?

– Меморандум. – Все проголосовали за «Меморандум». Зачитали. Кто-то должен был подписаться под ним. Все? Или только комитет? Решили – подписаться должен только один руководитель восстания. Он взял ручку, окунул перо в чернила и поставил подпись под «Меморандумом» – Доброштан. Подписал себе смертный приговор,

– Мы решили погибать с беспримерным в истории документом, погибать с музыкой. Если бы я остался жив во время восстания, то меня повесили бы после того. Мы на это шли. И почему-то было так спокойно на душе.

Шел седьмой день. От Воркуты до Печоры дороги были забиты порожняком.

– Что ж вы за варвары? – обращался к заключенным директор шахт Ичигинских. – Шахты разрушаются и заваливаются, техника гибнет. Спасайте шахты!

Одна хитрая женщина – инженер – чуть не убедила составших выйти на работу. Тогда Доброштан приказал – выгнать ее из лагеря.

Паек пришлось урезать. Люди начинали голодать. Комиссии не было. Воркута стояла. Техника – в полном боевом порядке.

И вдруг в 12 часов появилось несколько самолетов в небе. Они не пошли сразу на аэродром, два из них низко опустились над 15-м лаготделением, сделали круг, потом – еще один.

Доброштан вызвал Славку, который руководил украинской группой. От этой группы многое зависело – она была самая многочисленная. Доброштан подарил Славке фотографию, дал свой адрес: если он погибнет, Славка должен был сообщить об этом домой.

– Пане Игорь! – протестовал Славка.

– Так! – сказал он. Сжег все письма, уничтожил документы, пошел в барак и там заставил себя заснуть.

Доброштан надел синюю латаную куртку с номером, синие латаные брюки, тапочки. «Меморандум» он держал в руках. Пошел навстречу комиссии. Комиссия – человек 17 – ступила на территорию лагеря.

– Я Доброштан – руководитель восстания.

– А, это ты. Ну, что? Будем в столовой разговаривать?

– Давайте на площади, всенародно.

Комиссия согласилась. Она сделала смелый шаг, хотела, очевидно, узнать истину и скорее сорвать восстание.

На площади поставили столы, застелили их тряпками. Все сели. Доброштан стоял вместе с людьми. Потом заключенные опустили на землю. Напряжены все были до предела.

– К вам приехала очень представительная, правомочная комиссия. Она имеет право многое решить, – из самых влиятельных в нее входили генералы – зам. генерального прокурора Хохлов и зам. министра МВД Егоров, – выходите на работу, а там посмотрим...

– На работу мы не пойдем, раз комиссия правомочная!

– Ну, что ж. Давайте рассмотрим конкретно ваши требования.

– Разрешите мне! – выступил Доброштан. И тут случилась заминка. Среди заключенных было человек 15 баптистов – они поднялись.

– Нас за что посадили? Нас за что посадили? Мы ни в чем не виноваты!

Я поворачиваюсь к ним, – рассказывает Доброштан.

– Сядьте!

– Нет!

– Сядь! – как заору! И их там на месте усадили, – мы сюда пришли не за тем, чтобы слушать о баптистах! – Стал читать «Меморандум». Смотрю на реакцию правительственной комиссии. Егоров улыбается, и на лице у него написано: «Ты, мол, читай, себе, читай». Меня задела эта улыбка. Все

смотрели на меня. Я был готов на все. Сосредоточен. Знал, что отвечаю за людей, за их судьбу. Сильно работал и ум, и сердце, и душа. Я дошел до 1-го пункта. «Мы требуем...»

– Женщин освободим, а кто ж работать будет? – спрашивает Егоров.

– Мы, – говорю. – Мы! Пока вы будете с нами разбираться! Я вам говорю пункты эти!.. И мы хотим слышать ваше мнение, – и как кулаком ударю по столу прямо перед этим Егоровым. И тишина... Тут люди встают. Медленно. Они должны были меня поддержать!

– И еще здесь 12 пунктов! Вы! Будете отвечать?!! – Я был очень страшен в тот момент. Как говорится, народный мститель. А люди в это время надвигались! Что-то такое предпоследнее в этом было. Конечно, прострел с вышек – но многотысячная толпа – комиссию из 17 человек, их бы успели растерзать. Я стоял перед Егоровым.

Люди прошли метров семь. Жуткая тишина. Люди продолжают надвигаться. Я тут руки вскинул вверх. И, как тигр, прыгнул на толпу:

– Садитесь!!! – и они стеной чуть отступили, – садитесь!! – они, нехотя, впившись в меня глазами, медленно, как замороженные, сели на землю. Это была такая сцена! 17 человек из той комиссии такого никогда не видели. Было у нас 17 заложников, да еще каких!

Помог мой артистизм. Наверное, это так называется. Я им жизнь спас. В обычной обстановке меня не видно, а в такие моменты – что-то во мне возникает... Я отдал Егорову «Меморандум» в руки.

– У вас замечательный, умный руководитель. Вы послушайте, что он скажет, и выполняйте. Мы умеем работать. Мы будем здесь и день и ночь работать. И мы изложим ваши требования правительству. – Егоров поднялся и пошел прямо к вахте – толпа расступилась.

Народ молчал.

– Братцы, – я пришел немножко в себя. – Мы много раз верили им. Многие миллионы из нас с этой верой ушли на тот свет. Но то были иные времена. Мы не были так организованы, как сейчас. Теперь мы почувствовали эту нашу способность, и мы пойдем на все вплоть до смерти. Сейчас мы поверим им в последний раз. Вы поклялись меня слушаться во всем.

Так вот: по пять человек стройся! На вахту и на работу на шахту. Мы должны поддержать комиссию.

И вот достали откуда-то четыре трубы, один кларнет и, несчастные заключенные – с музыкой – пошли на развод. Первый парад заключенных! Несколько тысяч прибыло на вахту.

– Мы выходим на работу! Зам. генерального прокурора и зам. министра МВД СССР Егоров просили нас идти в шахты.

– У нас конвоя нет, вас вести, – говорит Захаров. – Мы вас не выпустим.

– Спрашивайте Егорова.

– Он уехал на 40-ю шахту.

– Я даю вам срок 10 минут. Вас в живых не оставим, если вы не свяжете меня с Егоровым.

Проходит пять минут.

– Доброштан. Идите сюда. Генерал Егоров у телефона.

– Все до единого, люди находятся на вахте и хотят идти на работу. Начальник лагеря говорит, что нет конвоя нас вести.

– Я не могу приехать, потому что должен выступать перед заключенными с просьбой идти на работу на других шахтах, – ответил Егоров.

– Не надо. Мы дали команду всем на других шахтах идти на работу. И они пойдут.

– Трубку начальнику лагеря, – и Егоров дал команду на вахте: если нет конвоя, отпускать людей без него.

Открыли ворота и человек по сто, сто пятьдесят пошли первый раз сами.

– А теперь завозите продукты, – командовал Доброштан, – мы голодны.

– Как ненавидело меня лагерное начальство – говорит он. Тишина в зоне. Кухня работает. Надзиратели по лагерю ходят. – Я целую ночь не спал, следил, чтобы не было провокации. Наутро мы почувствовали, что выиграли битву. Впервые получилось так, что комиссия не объединилась с лагерной администрацией. Людей не расстреляли!

Днем в барак пришел начальник лагеря майор Захаров:

– Доброштан, вас вызывает комиссия.

– Доложите по форме, пожалуйста, – сказал Доброштан.

– Заключенный Доброштан! Вас вызывает председатель комиссии генерал Егоров!

– Можете идти, – отпустил его заключенный.

К конторе сбежались люди и окружили ее кольцом. В приемной за столом Егоров, Хохлов, лагерное начальство. Перед генералом дело Доброштан.

– Вы заинтересовали нас, как человек и как заключенный. – Пауза. – Что побудило вас к восстанию? Вы могли бы действовать по-другому.

– Нет. Не те времена. Не те люди. Сидеть в лагерях мы больше не будем! Было много нарушений социалистической законности. Ни за что сидят вояки, фронтовики, ученые.

– Вы уверены?

– Да. Вот сидит грузинский писатель Ливан Готуа. Он отбыл срок. Сейчас его должны отправить, как пораженца в правах, на лесоповал, жить в землянке. Он человек больной – он там умрет. И он ни в чем не виноват!

– Найдите Ливана Готуа, – приказывает Егоров Захарову.

– Володя Соколович. Большая умница, ученый, геолог. Он тоже сидит у вас в лагере...

– Вы затронули в своем «Меморандуме» очень сложные проблемы. Правительство будет читать – и могут возникнуть вопросы. Лучше вас никто на них не ответит. Мы решили забрать вас с собой в Москву. Там будет переследствие. Как вы смотрите на это дело?

Тут в дверь заводят Готуа.

– Заключенный Готуа прибыл.

– Вы кто по профессии?

– Я писатель.

– У вас произведения есть?

– Есть.

– Какие?

– В основном, драмы.

– У вас срок кончился? – принесли дело Ливана Готуа.

Егоров и Хохлов переглянулись. Хохлов написал что-то на бумажке, вынул печать прямо из кармана и этой печатью ударил.

– Вы свободны.

– Ничего не понимаю.

– Как не понимаете? Идите, берите вещи! – говорит Доброштан.

– А вы готовьтесь, Доброштан, мы вас будем этапировать в Москву.

Толпа ждала своего руководителя перед конторой.

– Я должен ехать.

– Нет!

– Разъяснить обстановку – это мой долг.

– Не верь им. Тебя убьют. Повесят.

– Я не знаю, что со мной там будет. Но я знаю, что ехать надо. Вы мне обещали слушаться меня во всем. Я знаю другое. Вы уже не те, что два года тому назад. Вы знаете, как себя вести, если правительство станет игнорировать наш «Меморандум». Если со мной что-то случится – вы и об этом узнаете. Вы прошли школу, и им стоит об этом призадуматься. Они увидели, кто мы. А в том, что они вручат «Меморандум» правительству, я не сомневаюсь.

Кто-то снял шапку и пустил ее по кругу: собрали на дорогу денег, тысяч пять.

* *
*

Теперь представьте себе человека молодого, здорового и свободного, судимость с него снята, в кармане новенький паспорт с московской пропиской, который он получил в отделении милиции на Каляевской, впереди – МАИ, его восстановили в институте. Дома на Украине его ждут мать, жена и дочь. За время, что он был в лагере, мать состарилась, дочь стала взрослой.

...Из чего состояла его жизнь до этого момента? Один курс института – в 17 лет фронт. Потом, после войны – три курса института. Тюрьма, лагерь, Воркута. Правда, детство – вот счастливый фундамент! Родом из украинской деревни Терновка. Был способный – поступил в школу сразу в пятый класс. Зато – как поступил – не то, что ходил туда каждый день – но бегал 15 километров в одну сторону, 15 – в другую, босиком по любой погоде. 15 километров бегом, а за 300 метров от хаты ждала его мать. Знания – стоило одним ухом послушать. В семье – еще два брата и сестра. Дома говорили по-украински и по-русски – в школе тщательно преподавала язык немка. Иногда пропадал из дому – на два, три дня. Его искали, волновались, потом привыкли – бродил по воле, ночевал в лесу – ничего не боялся...

И вот Игорь Михайлович Доброштан звонит с Московского телеграфа в Воркуту.

– Это я, Игорь.

– Какой Игорь? – недоумевает Воркута.

– Игорь Доброштан.

– Тебя уж давно повесили, Игорь, а весь забастовочный комитет, которым ты руководил, арестован, – кажется, что в этот момент по всей земле раздалась минута молчания.

– Никому ничего не говори. Я еду к вам!

И человек, перед которым только что окрест лежала мирная жизнь, поворачивается и буквально и внутренне на 180 градусов, чтобы ехать назад в Воркуту. Нет больше чистенького паспорта, института, жены, дочки, Москвы... Есть – судьба. Есть Доброштан, равный себе самому. Есть фотография – на вокзале перед отправкой поезда на север сидит человек в телогрейке, рядом – мешок, а в мешке вся его жизнь, которую он носит с собой.

Имея паспорт, видя волю, институт – все бросить и пойти опять сесть в тюрьму?

– Вот мой московский паспорт. Сажайте меня, – забастовочный комитет арестован. Как могу быть я в стороне?! Я могу умереть, но провокатором я никогда не был.

* *
*

– Я чувствовал, что меня арестуют, – по возвращении в Москву Доброштана в вечернее время украли с улицы около милиции, что рядом с метро «Новокузнецкая», а на другой день уже отправили поездом в штрафной лагерь Дзержказган (Казахстан).

На старом деле нет помет об его сентябрьском освобождении 1955 года, как будто не освобождали человека вовсе. Какая уж тут санкция прокурора на арест? Какой закон?

На медном руднике в Дзержказгане начальник лагеря подполковник Бурдюг захотел познакомиться со своим заключенным.

– Дайте, я посмотрю на этого Доброштана. Вот ты какой!

– Какой есть.

– Бунтовать будешь?

- Буду.
- А бежать будешь?
- Буду. Почему вы меня об этом спрашиваете?
- А зачем – будешь?
- А затем, что вы меня посадили! Если опутае всю землю колючей проволокой, то я все равно буду бежать.
- Но у меня ты не убежишь.

В Джезказгане я ослеп. Люди выводили меня на улицу – вот перед тобой куча снега. Кидай. И я кидал, мокрый, в 30 градусов мороза. Потом начал свет появляться. Светлее, светлее. К весне зрение вернулось.

* *
*

Он был арестован в 1948 году. Следователь Володя Шугало, старший лейтенант КГБ, тогда сказал:

– Отвоевал войну за советскую власть, а теперь – чёрт с тобой – сиди!

С 43 года – на фронте.

В его деле нет помет о том, что он фронтовик, был разведчиком и работал в контрразведке. 25 лет лишения свободы – решение вынесло Особое совещание.

В 1952 году – после 4 лет тюрьмы – он был подвергнут дополнительному наказанию – лишен награды – ордена Красной Звезды. Если бы он был лишен ее в 1948 году, стало бы очевидно, что это фронтовик. Орденоносцу 25 лет дать нельзя!

«Забрали одну награду – заберите и остальные», – вел переписку с органами. Органы молчали.

Теперь люди, кажется, знают, что человека имеют право судить не за то, что он человек, но за то, что он совершил преступление; имеет право выносить приговор не какой-нибудь неправомочный, неконституционный орган, как Особое совещание, но – суд или трибунал.

Но то были сталинские времена.

В 1955 году Доброштан после амнистии был схвачен таким же бандитским образом, что и в бесправном 1948 году, и водворен в Джезказган. То были уже не сталинские времена, но сталинщина.

В 1975 году с ним все еще мечтает расправиться КГБ Каранганды. Это были тоже плохие времена.

Но вот год – 1986. И. М. Доброштан пишет прошение прокурору Советского Союза Рекункову А. М. с просьбой помочь восстановить справедливость. Он получает ответ, где отписано, что справедливость не может быть восстановлена, потому что в 1952 году проситель совершил побег из Воркутлага, а в 1955 году принял активное участие в массовых беспорядках в ИТЛ. (Массовые беспорядки это то, что бесправные люди гордо именовали – восстание. Побег это то, что на русском языке именуется протестом против беззакония.) Подпись: помощник генерального прокурора В. Г. Проворовтов.

В 1987 году Доброштану И. М. приходит ответ на его просьбу вернуть орден Красной Звезды из отдела наград. Ему не могут вернуть орден, так как «Доброштан совершил тяжкое преступление против государства». Подпись: зам. нач. отдела наград С. А. Зима. В том же 1987 году прокуратура Москвы, чтобы охаять человека перед областным военкоматом города Днепропетровска, где он проживает, отписала: «Доброштан – участник антисоветской организации в Воркуте 1955 года». Именно – антисоветской! Не антисталинской и не антибериевской! «Распишитесь, – сказали ему в военкомате, – в том, что вам награда не положена».

Почему везде стоят подписи «замов»? Наверное, у нас очень много людей поднимали восстания в лагерях, и по важному делу человеку не в состоянии ответить ответчик?

Один раз И. М. Доброштан подавал на реабилитацию. Отказали: «Вы были активным действующим лицом в воркутинских делах, и никакой реабилитации вам не положено!»

Последнее письмо с просьбой о восстановлении справедливости Доброштан отправил в адрес XIX партконференции... Вы думаете, он получил ответ? Так какие сейчас времена? Кроме «времен» жить ведь когда-то надо. Или опять этап надо как-то назвать? Дать ему кличку? Или дело не во времени... А дело в том, кто сидит в прокуратуре? В отделе наград? Все те же бандиты, которые делают времена? Или дело в том, что Доброштан человек чересчур прямой и слишком активный для любых времен? Конечно, страшно. Доброштан – история. Доброштан – дела. Вот сейчас Доброштан выйдет на Красную площадь...

Так как мы очень любим этапы, то можно сказать, первый этап разоблачения культа личности Сталина прошел. Второй был свернут. Купирован. Это настораживает.

Воркута это уголь, тундра и могилы. Воркута стоит на трупях. Они ждут. Люди живут и по 30 лет запрещают себе думать о лагерной жизни, вспоминать прошлое. Но им – снится.

* *
*

Есть такое мнение, что самые хорошие люди погибают сразу, в первые дни беды. Что ж, одна посредственность оседает на земле? Нет, есть сорт людей – добротных, которые остаются в живых. Это те, кто ничего не боится. Такие не могут погибнуть. Фатально. Именно в силу того, что ничего не бояться. А ничего не бояться – это привилегия истинно свободного человека, с чистым током крови. Не бояться ни смерти, ни войны, ни сталинщины. Если бы все люди были свободны и ничего не боялись – ни сталинщины, ни войны, ни раскованной мысли, быть не могло бы ни Сталина, ни войны, ни скованной мысли. Но пока этот тип людей – исполинов, единственно прорастает могуче и грозно сквозь коросту крови, лжи и хамства. Они редки, эти люди, но на них держится остаток света и благодаря им свет брезжит вверх.

– Я не хочу реабилитации, – говорит Доброштан на пороге правового государства. – Пусть я буду «изменник родины». Они реабилитируют тех, кто умер. Я живой. Я не мертвый. Разговаривайте со мной. Судите меня. Судите меня судом, если я в чем виноват.

* *
*

У нас развелось много виноватых в наших бедах. Чувство виновности несем мы. Это еще не все.

Когда-нибудь, пройдет время, и кто-то вместит в себя эпоху, проанализирует и объяснит нам этот феномен – сталинщину. Это будет при условии, если мы и теперь не станем себе отказывать в попытках анализа.

Что же случилось со страной, обзаведшейся лучшим в мире строем? Она обособилась. Она зачеркнула не только прошлое, но и чужой опыт. То не была первая в мире революция, но общие закономерности почему-то перестали распространяться на это явление. Уроки истории были забыты.

После каждой революции наступает реакция, каждая революция уничтожает своих героев, революция добивается не того, что постулировано в ее идеалах, но соседнего, того, что требует жизнь, потому что жизнь сильнее любой революции. Разрушается культура и образуется культ, нечто более молодое и неразвитое. В России все огромно. И культ.

Враз не стало – Бога, царя и веры. Россия, плохо ли, хорошо ли организованная по принципу пирамиды, прекратила свое существование. Лежало туловище народное с перерезанными сухожилиями. Из этого туловища торчало много оборванных, незадействованных связей и связочек, на которые раньше, на каждую свое – что-либо крепилось: власть земная, Бог, вера. Это было создано жизнью, обусловлено генетически, психически, исторически. То, чего остерегались веками – кумир – овеществилось. Все связочки и связки замкнулись на одно: стал и Бог, и царь в образе человеческом. И стала новая вера. Народ, верующий, не способен был враз перестать верить. Он был способен создать эрзац. И он создал эрзац.

Россия была построена по принципу пирамиды. Вершина ее уходила в небо. Потом развернулась – в ад. Сейчас – это руины. На руинах верить можно в одно. В жизнь. Потому что жизнь очень сильная вещь. Потому что жизнь сильнее всякой сталинщины. Она своим током снесет ложь, исправит уродство.

БИРЮЗОВА Ольга Евгеньевна – родилась в 1951 г. в Москве. В 1977 г. окончила Литературный институт им. Горького. Автор ряда повестей и рассказов.

Наука

Валерий С о й ф е р

ЗАГУБЛЕННЫЙ ТАЛАНТ

(Глава из книги)

ПРЕДИСЛОВИЕ

Много лет тому назад, за чаем у известного генетика Владимира Владимировича Сахарова, кто-то задал вопрос о том, уникален ли культ Лысенко, появился ли бы другой лысенко с точно таким же набором лжи в науке, демагогии на публике, умением подавлять своих оппонентов не в научном споре, а с помощью органов партии и КГБ и т. д. и т. п., не будь уже занято место Трофимом Денисовичем? Это было время додиссидентское, книги А. И. Солженицына, А. Авторханова, А. А. Зиновьева и других еще не были написаны, А. Д. Сахаров только еще задумывался над проблемами, с физикой не связанными. Так что утвердительного ответа, который сегодня может дать любой более или менее информированный человек, можно было и не услышать. И, тем не менее, один из присутствовавших сказал, что претендентов на место Лысенко – хоть пруд пруди, да не всем дан талант Трофима Денисовича. А вообще-то, добавил он, и среди генетиков есть люди, к диктаторству и сходным с лысенковскими приемчикам вполне готовые.

Сегодня я уже не могу спросить того генетика, имел ли он в виду мысль, что советская система порождала и будет порождать лысенок до тех пор, пока она будет оставаться недемократической, тоталитарной системой, и намекал ли он на тех, кто позже вполне заслужил прозвище вторых лысенок. Поименно он никого не назвал, о системе не заикался (тогда еще до таких разговоров за общим чаем дело не доходило), а спросить его теперь не могу, уже много лет его нет в живых.

Но что я могу сказать определенно: ни я, ни другие молодые ребята, которые сидели за столом в уютной квартире В. В. Сахарова, и подумать не могли, что намекал этот за-

служенный генетик скорее всего на нашего тогдашнего кумира – члена-корреспондента АН СССР Николая Петровича Дубинина.

Однако пролетели годы, сместили Лысенко с части его постов (не лишив ни одного из высочайших званий), открылось поле деятельности для генетиков... и расцвел второй Лысенко – Н. П. Дубинин. Он так же начал кормить верхи липовыми проектами (несмотря на свою высокую образованность), использовать власть для самовыдвижения и захватывания постов, стал плести интриги против научных оппонентов в тиши кабинетов партийных босов. Самое страшное зло, какое только можно сотворить: не дать подняться генетике и генетикам в час, когда для этого подъема открылась счастливая минута, сотворил своими руками талантливый Н. П. Дубинин, ставший академиком.

И, увы, подтверждая теперь уже банальную мысль о том моральном оскудении, в каковое повергает личность советская среда, стали возводить свои культы и культики маленьких лысенчиков и другие научные бонзы, поднявшиеся на волне «расцвета генетики в СССР». Полуобразованный Д. К. Беляев в Сибири насаждал свой культ, не смущаясь развивать «идеи», целиком почерпнутые у Т. Д. Лысенко, высокообразованный И. Г. Атабеков в Москве применяет те же лысенковские приемы в новой отрасли – молекулярной вирусологии, заливая властям байки про безвирусный картофель и давя всех с ним несогласных старыми, но верными в советских условиях приемами борьбы с научным несогласием.

Задумав написать эту книгу о лысенкоизме сегодняшнего дня, я собрал много удивительных материалов, доказывающих правоту тезиса о питательности советской среды для роста лысенок и почерпнутых из деятельности и Дубинина, и Беляева, и Атабекова, и кое-кого еще. Но, приступив писать книгу, я понял, что все эти материалы, сколь бы они интересными, а подчас и детективными ни были, все-таки повторяют друг друга, как две капли воды. Блеф, еще блеф, политиканство, еще политиканство, воровство идеи, еще воровство, подлая расправа с научными оппонентами недозволенными методами, еще одна расправа... Методы сходны, поступки однотипны, и лишь мелкие детали характера различаются (один больше любит деньги, другой – женщин и деньги, третий еще и выпить не дурак).

Поэтому я решил ограничиться примерами из жизни одного лишь Н. П. Дубинина, бывшего директора Института общей генетики АН СССР, но по-прежнему председателя секции «Человек и биосфера» Госкомитета по науке и технике Совмина СССР, председателя еще каких-то комиссий и подкомиссий, любимого автора Политиздата, журналов «Коммунист» и «Мурзилка», газет «Правда», «Комсомольская правда», «Пионерская правда» и других. Эти примеры подчеркивают и подкрепляют давно уже, в общем, не нуждающийся в подкреплении «закон воздействия социалистической идеологии на душу малосознательных граждан». Не добавляя нового идейного содержания в формулу и содержание упомянутого закона, эти примеры, как мне кажется, все-таки достаточно иллюстративны и будут интересны читателям. При моей жизни в СССР я, естественно, не мог даже и мечтать, чтобы издать эту книгу, а теперь, переехав на Запад, я, ничего не меняя в тексте книги, решил предать ее гласности.

Колумбус, Огайо, июль 1988 года

ЗАКОНОМЕРНЫЙ КРАХ ЛИЧНОСТИ ТАЛАНТЛИВОГО УЧЕНОГО

Весомыми научными успехами встречал Дубинин свое пятидесятилетие. Крупнейшие советские генетики подписали хвалебный стихотворный адрес, в котором заслуги Дубинина и перед наукой, и перед обществом, и перед демократическими традициями превозносились. Помните:

Ты был одним из тех немногих,
Кто совесть чистой сохранил,
Кто не свернул с прямой дороги,
Душой ни разу не кривил.

Однако уже через 10 лет все, подписавшие этот адрес, отвернулись от Дубинина, покинули его институт, сменив свое в высшей степени восторженное отношение на неуважение и даже порой на презрение. Дубинин скончался как серьезный ученый. Он превратился в дельца от науки, в откровенного политика, не брезгующего ничем, даже фальсификацией

фотоснимков, запугиванием подчиненных, клеветой на бывших учителей и коллег.

Этот букет в середине шестидесятых годов дополнился еще одной низменной страстью. Дубинин начал заимствовать чужие труды и выдавать их за свои, ухитряясь при этом получать за них солидные гонорары.

В 1967 году вышла книга Н. П. Дубинина и Я. Л. Глембоцкого «Генетика популяций и селекции». Книга состояла из двух неравных половин – первой, в которой разбирались вопросы селекций растений, и второй, посвященной генетике и селекции животных. В предисловии (на стр. 6) Дубинин в сноске указывал, что им использованы для написания первой части книги рукописные материалы Н. А. Чуксановой, за что он приносит ей «глубокую признательность».

По форме все было вежливо и интеллигентно. Однако только по форме.

Спустя короткое время стало известно, что вся «растительная» часть книги написана не Дубининым, а именно тем «незначительным» лицом, не очень известным в мире генетиков, с которым можно было без особых опасений обойтись выражением «глубокой» признательности в примечании, – Н. А. Чуксановой, которой Дубинин выражал благодарность вместо того, чтобы поставить ее имя в числе авторов книги.

Оказалось, что за несколько лет до этого Н. А. Чуксанова, дельный генетик и селекционер, подготовила большую рукопись объемом около 250 машинописных страниц и передала ее Дубинину. Издать эту рукопись сама в годы засилия лысенкоизма она не могла, оставалась надежда на могучего Николая Петровича, набиравшего силу. Чуксанова рассудила, что дело не в личных амбициях, а в существе. Ей было не до того, чтобы гнаться за непременно увековечиванием своего имени. Лишь бы труд, отнявший значительный кусок жизни, не пропал, как пропали, сгинули в Лету десятки и сотни рукописей других генетиков. Лишь бы труд увидел свет в каком угодно виде, – рассудила Чуксанова, – а все остальное пустяки, не стоит беспокойства. С этими мыслями она и отдала две с половиной сотни страниц своего заветного труда Дубинину с просьбой пристроить в каком угодно виде и где угодно – с указанием имени автора или без оногo.

Дубинин рукопись взял, обещал посодействовать, продержал ее несколько лет у себя в шкафу ... и вдруг пристроил, но под своим именем.

Неприятная история получилась и со второй частью книги.

Работал заместителем Дубинина по лаборатории в первые годы ее становления Андрей Викторович Платонов. Этот спокойный рассудительный человек немало способствовал развитию лаборатории. Был он неплохим специалистом в области генетики животных, но Дубинин держал его, что говорится, «в черном теле»: Платонов исполнял роль, среднюю между завхозом и заместителем по административным вопросам, на занятия наукой времени не оставалось, да и числился Андрей Викторович, несмотря на наличие ученой степени кандидата наук, младшим научным сотрудником.

Но он все-таки не бросал научной деятельности и, терпеливо выполняя административно-хозяйственные поручения Дубинина, сидел вечерами над большой работой по генетическим основам селекции животных, мечтая в конце концов защитить докторскую диссертацию по этой теме.

В какой-то момент он закончил черновой вариант и дал экземпляр Дубинину для просмотра и критики. Это была объемистая рукопись в несколько сот страниц машинописного текста.

Дубинин взял рукопись, но читать ее ему все было недосуг. Так она и валялась в кабинете шефа. Платонов несколько раз напоминал Дубинину о ней, так, как напоминают люди, зависящие по всем статьям от их всесильных патронов, — стараясь делать это как можно мягче, неназойливее... А время шло. Защищаться все равно было негде, диссертации генетиков не принял бы к защите ни один ученый совет в стране, ведь позиции лысенкоистов были пока сильны.

Через несколько лет Платонову надоела его внешне вполне «презентабельная» роль приближенного к великому Дубинину, не видевшему в нем ничего, кроме объекта для эксплуатации. Подвернулась какая-то более приличная работенка, где можно было посвящать больше времени занятиям наукой, и Платонов ушел. Просить вернуть ему рукопись работы он постеснялся.

А когда Дубинин в 1966 году стал директором ИОГЕН и академиком, когда перед ним распахнули двери все издатель-

ства страны, он вдруг вспомнил о платоновской рукописи, достал ее, полистал, увидел дельные мысли и решил пустить его работу в ход, только способ для этого он нашел «оригинальный» с виду, хотя и вполне в духе любимых им «развлечений».

Он позвал к себе в кабинет заведующего лабораторией генетики животных Якова Лазаревича Глембоцкого и стал уговаривать срочно подготовить с ним книгу «Генетика популяций и селекция», договор на написание которой у Дубинина был уже заключен с издательством и время поджимало: пора было уже книгу сдавать в редакцию. Глембоцкий начал отнекиваться: дескать, не успеть, времени нет совсем, а дело непростое.

Тогда Дубинин достал платоновскую папку с рукописью и, не говоря ни слова о том, кто автор пухлого труда, показал ее Глембоцкому со словами:

– Да работы совсем немного, Яков Лазаревич, у меня давно пылится без движения рукопись на эту тему. Пройдитесь по ней своей мастерской рукой, посмотрите, может быть, что-то нужно добавить. Я и сам бы сделал, да времени нет, и специалист я по животным аховый. А гонорар разделим пополам.

На этих условиях Глембоцкий взял рукопись, быстро ее подредактировал, добавил новые разделы, подновил список литературы, привел в соответствие с дубининской (как мы теперь знаем, чуксановской) частью, и книга ушла в издательство.

Когда она вышла в свет, Платонов в ужасе обнаружил, что огромные куски его текста вошли в книгу Дубинина и Глембоцкого даже без ссылки на его фамилию. Само по себе это было обидно. Но, кроме личных чувств, были обстоятельства и поважнее.

Андрей Викторович к тому времени завершил полностью написание докторской. Времена уже сменились, можно было беспрепятственно подавать диссертации по генетике к защите. Конечно, в этих условиях публикация книги совместно с академиком могла бы сыграть огромную роль. Но теперь случилось обратное: вместо помощи защите книга Дубинина и Глембоцкого могла теперь сильно Платонову помешать. Пойди докажи, что не ты списал дословно текст из опубликованной академиком и ведущим в стране генетиком животных книги, а, наоборот, у тебя украл.

Платонов решил, что разговаривать с Дубининым бесполезно. Он поехал к Якову Лазаревичу и изложил ему свою беду:

– Как же мне теперь быть, – взмолился он, – я отдал несколько лет назад первоначальный текст диссертации Дубинину, тот не только ничем мне не помог, но даже и слова не сказал, а теперь такой ужасный конец работе всей моей жизни. Ведь мне теперь докторской не видать, да и вполне резонно меня могут еще обвинить и в плагиате!

Для Я. Д. Глембоцкого рассказ Платонова также был крайне неприятным. Честный и взыскательный к себе ученый, он был чужд таких методов «написания» книг. Он был убежден, что Дубинин передал ему свой текст, потому что на самом деле не успевал под напором свалившихся на него директорских обязанностей довести свое дело до конца.

Как мог, Глембоцкий успокоил А. В. Платонова, ему была обещана помощь в защите докторской, но вскоре Платонов скончался, унеся в могилу свое неутешное горе.

Можно было бы думать, что истории с Чуксановой и с Платоновым – досадные случайности, подстерегшие «неопытного писателя» Дубинина в начале его массированного наступления с армией его книг.

Но время показало, что это было совсем не случайно и что с годами стиль академика не изменился.

В те два года, которые я проработал в лаборатории Николая Петровича, я также опубликовал две книги: «Молекулярные механизмы мутагенеза» (1969) и «Очерки истории молекулярной генетики» (1970). Обе книги были напечатаны издательством Академии наук СССР «Наука», по правилам этого издательства, всякий автор, не являющийся членом-корреспондентом или академиком АН СССР, должен был иметь ответственного редактора своих книг, желательного из членов Академии. Естественно, что у меня, младшего научного сотрудника и тогда еще кандидата наук, ответственным редактором был назначен непосредственный начальник Н. П. Дубинин.

Первую книгу Дубинин вообще не читал, а подписал ее не глядя, лишь посмеиваясь:

– Когда это вы, Лера, успели такой фолиант накатать? (В рукописи было более 800 страниц текста).

Во вторую книгу он постарался, где только можно, вставить предложения или абзацы о своих собственных работах, но что касается остального текста, то его он несколько не волновал. Но естественно, что экземпляр рукописи так и остался в нижнем ящике стола Дубинина.

Книга вышла в свет в конце августа 1970 года, а в начале 1971 года в издательстве «Просвещение» вышла книга Н. П. Дубинина «Горизонты генетики», в которой оказались дословно переписанными из моей книги куски текста объемом больше печатного листа.

Спустя несколько лет такая же история получилась с книгой Николая Николаевича Воронцова, «приглянувшейся» Дубинину. Встав на дорожку плагиата, «писучий» академик уже не мог воздержаться от заимствований.

Вот так и жил великий советский генетик, достойный продолжатель дела Трофима Лысенко, самозванный беспризорник и ленинец Николай Петрович Дубинин.

Он уже не мог работать как прежде. Все дальше и дальше он погрязал в аферах, подделках, мошенничестве.

Он старился, но не утихал, не становился добрее, терпимее к людям и обстоятельствам. Его уже не удовлетворяли привычные ему атрибуты уважения и почитания. Он ездил на встречи с пионерами, выступал по телевидению, по радио. Его уже не страшило то, что коллеги и друзья, все как один, отшатнулись от него и перестали его ценить.

На смену им пришли иные люди, ничего не смыслящие в генетике, но зато держащие в руках приводные ремни управления страной. С ними было проще, их также интересовали те страсти, которые раздирали душу стареющего академика.

Изменился и стиль его работы. Взамен научного поиска пришло стремление любыми силами удерживаться «на волне событий». Реальным усилиям на поприще исследований он стал предпочитать запланированный обман общественного мнения, как это было в истории с «синтезом гена». Дубинин стал больше всего ценить возможность показать не свое научное, а так называемое общественное лицо. Научные аргументы стали заменяться высказываниями классиков марксизма-ленинизма. Дубинин фактически разгромил свой собственный институт, остановил прогресс во многих областях советской генетики, доказав всенародно, что политика в советских условиях становится важнее науки, и при-

том не политика чего-нибудь принципиального, а лавирования и приспособления.

А так как наука, принужденная слишком долго служить не сама себе, а целям, для нее посторонним и чуждым, начинается неминуемо хиреть, как бы ни был импозантен с виду ее лакейский наряд, то закономерно, что из талантливого ученого Дубинин превратился в напыщенную пустышку, способную лишь повелевать имеющимися в его распоряжении холуями и раболепствовать перед властью предрешающими. А все вместе взятое так и не несло ему утоления жажды власти и почета.

Ему мучительно не хватало славы, поклонения перед ним как перед гениальным первооткрывателем в науке. Ему хотелось заставить всех вокруг почувствовать их плебейство и в проблемах теории, и в вопросах тактики.

Эта неутолимая страсть к самоутверждению толкала к странному, на первый взгляд, шагам, к самоотталкиванию от кругов грамотных генетиков, к окружению себя подхалимствующей и раболепствующей публикой в его собственном институте. Именно публикой, а не соратниками или сподвижниками.

Изменился сам характер Дубинина. Вместо живого, веселого человека перед окружавшими его людьми представляла все чаще – и в конце концов застыла навсегда – фигура неразговорчивого, угрюмо молчащего сноба, с потухшим взором, с маской ничем не возмущаемого спокойствия на лице.

Фигура могла бесстрастно выслушивать посетителей, допускаемых к нему в кабинет с большим разбором, давать односложные ответы и снова замолкать в гордом сознании собственной значительности. Человеческие эмоции были изгнаны навсегда из этого кабинета, они более не воспламеняли охладевшую кровь горделивого мэтра.

«С ним стало невозможно разговаривать ни о чем, – пожаловался как-то в откровенной беседе один из тех, кто проработал с ним в его же лаборатории 11 лет (начиная с конца 1970 года) и был им явно ценим и приближен, – нашего директора перестали волновать идеи и устремления сотрудников. С ним просто не о чем говорить. Он слушает, что ему говоришь, слушает, откровенно скучая. На все вопросы, или разочарования, или, напротив, волнения, следует один ответ: такое приглушенное, тихое, слегка растянутое „да-а-а“, и ты не

знаешь, то ли „да-а-а“, он согласен, или „да-а-а“, он совсем не согласен. И больше ничего».

— Я надеялся, — продолжал этот близкий Дубинину сотрудник по лаборатории, — отправляясь с ним как-то в Америку, что уж там, где мы будем окружены чужими людьми, где языковой барьер лишит его всякого общения с кем бы то ни было, найти наконец время для задушевной беседы, для взаимопроникновения в мир свойственных нам обоим идей. Мне так не хватало понимания его отношения к тому, что делаю я, и в равной мере я стремился услышать в конце концов, что же он сам сейчас кладет в основу развития своей лаборатории, чем он дышит, о чем думает, что нас всех в его мыслях и планах ожидает в будущем. Но все эти надежды оказались напрасными. То же «да-а-а» было ответом на все мои попытки заговорить, я опять увидел тот же глубокомысленный бесстрастный взгляд и полнейшее равнодушие ко всему на свете.

Это говорил его ближайший сотрудник, доктор наук, сам человек молчаливый и хорошо знающий себе цену, пожалуй, единственный мыслящий и интересный исследователь в его собственной лаборатории. Не правда ли, жуткое по своей сути признание?

И закономерным итогом этого самоотталкивания от научного общества, коллег и бывших приятелей стало выпячивание псевдореволюционных идей, отвергающих признанные правила и заключения ученых и науки в целом и потому адресованных другой аудитории — партийным боссам страны. Ложные, даже абсурдные идеи о решающей роли среды и верного воспитания в создании человеческой личности и, более того, наследуемости этого влияния среды, имели своей целью не просто возвысить себя в глазах единственной власти в стране — власти партийной.

Эти идеи несли в себе и вторую, не менее значительную в собственных глазах Дубинина цель: унижить перед партийной властью всех других генетиков, утверждавших обратное, считавших роль среды и генов в формировании человека равноценной. Отсюда вытекала и предательская по отношению к своим коллегам тактика: выставление их, особенно тех, кого он считал своими личными врагами, в виде идейных врагов коммунистического общества в целом, отщепенцев, воспринимающих лишь западную идеологию и поклоняющихся чуждым нам идолам.

В течение многих лет он использовал любые возможности, чтобы порочить двух самых известных из современных ему генетиков в стране, которые, как он считал, перешли ему дорогу, и в особенности академика Б. Л. Астаурова. По сути дела, Дубинин отравил существование Б. Л. Астаурова в последнее десятилетие его жизни и сыграл решающую роль в преждевременной кончине этого талантливого ученого.

Астауров был болезненно самолюбив, нервно реагировал на любые жизненные коллизии, а будучи человеком воспитанным и интеллигентным, он все свои сильные эмоции переживал молча, пряча их внутрь себя.

К Астаурову – первому президенту Всесоюзного общества генетиков и селекционеров имени Н. И. Вавилова шли за помощью и поддержкой все, кого Дубинин шпынял. Первое время в институте Астаурова – Институте биологии развития АН СССР – находили приют все серьезные исследователи, выгонявшиеся Дубининым из его института. Вспомним и сразу четыре лаборатории – Б. Н. Сидорова, Н. Н. Соколова, В. В. Сахарова и М. А. Арсеньевой, – перешедшие из ИОГЕН в астауровский институт в первый же год существования дубининского института, и группу сотрудников, уволенных вместе с А. Борисовым и В. Геодакяном. Затем уже свободных штатных единиц в астауровском институте не стало, и Борис Львович помогал устраивать бывших дубининских сотрудников в других местах.

Астауров поддерживал многих генетиков в борьбе за издание их трудов, за преодоление дубининского засилия в книгоиздательском деле. Благодаря его личному вмешательству (как правило, поддерживавшемуся академиком Д. К. Беляевым через Научный совет по генетике и селекции АН СССР) вышли книги В. П. Эфроимсона, В. Польшина и другие.

К чести Б. Л. Астаурова следует отнести и смелую позицию в таких вопросах, как защита прав и человеческого достоинства некоторых ученых. Хорошим примером этому была история с помещением Ж. А. Медведева в психолечебницу в 1970 году.

С 1 по 15 июня 1970 г. Дубинин проводил в своем институте первый симпозиум «Молекулярные механизмы генетических процессов» с приглашением большого числа иностранных ученых. Неожиданно, за несколько дней до открытия симпозиума, Ж. А. Медведев, работавший тогда в Боровске, во Все-

союзном НИИ физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных животных, старшим научным сотрудником, а живший по-прежнему в Обнинске, был насильственно помещен в закрытую психиатрическую лечебницу. Этой мерой власти пытались предотвратить возможные контакты Ж. Медведева с зарубежными коллегами.

На второй день работы симпозиума, перед началом дневного заседания, в зале появился никому не известный человек. Участники симпозиума еще только собрались, усаживались по рядам, переговаривались. Послеобеденная дрема уступала место рабочему настроению.

Пришедший поднялся на небольшую сцену, придвинул доску к ее краю и написал на ней крупными буквами:

**Я, АКАДЕМИК А. САХАРОВ,
ПРИЗЫВАЮ ПОДПИСАТЬСЯ ПОД
ПЕТИЦИЕЙ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ
Ж. А. МЕДВЕДЕВА ИЗ ПСИХОЛЕЧЕБНИЦЫ.
Я БУДУ СТОЯТЬ С ПЕТИЦИЕЙ
ЗДЕСЬ, У ДОСКИ.**

Поначалу мало кто обратил внимание на эту надпись. Иностранцы, занимавшие первые два-три ряда (из примерно десяти рядов в небольшом зале), не поняли надписи по-русски, советские же участники в большинстве своем были заняты какими-то посторонними делами – заседание еще ведь не началось.

Но все-таки кто-то надпись узрел. Через несколько минут в зал вбежала запыхавшаяся начальник 1-го отдела ИОГЕН А. П. Двойнева, видимо, летевшая через две ступеньки на верхний этаж, где располагался зал. Она бросилась с яростью к доске и, грубо отталкивая А. Д. Сахарова, начала стирать написанное мокрой тряпкой. Через пару минут в зал трусцой вбежал Дубинин и, шипя от негодования, стараясь не привлекать к себе особенного внимания, начал оттеснять А. Д. Сахарова поближе к двери, повторяя:

– Здесь не место, здесь не место... Прошу вас, Андрей Дмитриевич. Не мешайте нам работать. – Мы тут ни при чем. – Пожалуйста – не надо – этих демонстраций. У нас научный симпозиум. – И не срывайте нам его.

Тут же к Дубинину присоединилась А. П. Двойнева. Так вдвоем – низенький Дубинин и могучая «Ляксандра» Двойнева, – наступая на Сахарова и тесня его к дверям, ведущим к лестнице, вывели Сахарова из зала, затем пошли за ним по лестнице, проводили до входных дверей и «выдворили вон» из института. Политическое «кредо» Дубинина раскрылось в этом поступке как нельзя лучше.

Поведение Астаурова было иным. Через день он, пренебрегая опасностью (ведь он был не частным лицом, а директором академического института), поехал в Калугу, где Ж. А. Медведев был заперт в психушке, добился свидания с ним и с руководителями больницы, стараясь максимально улучшить его жизнь. По приезду в Москву он уговорил академика П. Л. Капицу вступить за Медведева. И, на самом деле, через непродолжительное время Медведева освободили.

Стоит ли говорить, что эта история подлила масла в огонь вражды к Астаурову, распявшей душу Дубинина?

Не стану утомлять читателя перечислением множества укусов, выпадов исподтишка, открытых нападок, которыми Дубинин постоянно донимал Астаурова. Расскажу лишь последний случай, ставший для Астаурова смертельным.

В 1974 году сотрудник института Астаурова, доктор биологических наук И. М. Шапиро был командирован в составе официальной делегации на научный симпозиум в Италию и там попросил политического убежища.

Поступок Шапиро наделал много шума в Москве. Но роковым образом он сказался на Астаурове.

Сразу, как только стало известно, что Шапиро перешел на положение невозвращенца, Дубинин развил бурную деятельность. Он выступил на специальном заседании бюро Отделения общей биологии АН СССР, где обвинял Астаурова в потере политической бдительности, в слабом знании морального лица своих сотрудников, в плохой воспитательной работе в самом институте. То же он повторил еще в ряде мест. Подтекст выступлений был один: Астаурову не место на посту директора академического института.

Забывал Дубинин упомянуть только о том, что он сам был близко знаком с Ильей Шапиро, можно сказать, был с ним на дружеской ноге. Что он сманивал его несколько лет к себе в Институт (на моих глазах в 1968–1970 годах) и если бы не противоборство ближайшего окружения Дубинина тех лет в лице

А. П. Акифьева, В. А. Тарасова, Л. С. Немцевой и других, то Шапиро перешел бы к Дубинину. А это было важно Дубинину в те годы, чтобы показать, что не только от него уходят люди к Астаурову, но и наоборот – от Астаурова перебегают к нему. Утаивал он и то, что с Шапиро в самых дружеских отношениях был тогдашний дубининский любимчик Ю. П. Винецкий, которого он «двигал» вперед как мог, и, следовательно, с равным успехом можно было говорить, что он сам плохо знал моральное лицо своих сотрудников. Что, наконец, в самые острые моменты Дубинин не раз прибегал к помощи Ильи Шапиро для нужных выступлений, для подписи под разными бумагами, что даже при защите кандидатской диссертации его женой Л. Г. Дубининой в качестве одного из оппонентов был приглашен (наряду с Н. П. Бочковым) именно И. М. Шапиро.

Так что уж если кто и «недоглядел врага» – так это сам Николай Петрович, а не Б. Л. Астауров, недолюбливавший Шапиро, но из присущего ему демократизма не делавший ему ничего плохого и даже, как видим, отпустивший его в командировку в капстрану, что само по себе было серьезным, в условиях СССР, жестом по отношению к беспартийному еврею Шапиро.

История с невозвращенцем больно ударила по Астаурову. Ему и так пришлось давать объяснения в разных инстанциях, а тут еще Дубинин со своей активностью продолжал будоражить так называемое «общественное мнение» по поводу «идейного» лица академика Б. Л. Астаурова.

Это привело к трагическому концу. Астауров слег в больницу. А в эти же дни, нисколько не щадя его здоровья, «порученцы» дважды возили ему письмо, добиваясь, вернее вымогая, подпись в числе других известных академиков под осуждением их же коллеги академика А. Д. Сахарова за его якобы антисоветскую деятельность. Астауров, в отличие от Дубинина, отказался подписывать такое письмо, и пополз зловещий слух, что уж теперь-то Астаурова освободят от поста директора. Выдержать все вместе взятое сил не хватило, и он внезапно скончался от разрыва сердца.

На похороны Бориса Львовича съехались генетики со всей страны. Когда от имени нашего института я привез в здание Дома ученых венки, я с трудом нашел место для него – все стены, колонны в большом зале были заставлены венками с траурными лентами.

На панихиде академик И. Л. Кнунянц, не таясь и не скрывая ярости, вслух сказал в своей речи, что «нельзя оставить в покое тех, кто довел Астаурова до внезапной смерти, что нужно потребовать от этих лиц ответа, и ответа серьезного». Все хорошо знали, кого имел в виду Иван Людвигович.

Как это ни поразительно, но выразить свою «скорбь» решил и Дубинин. Он подъехал на своем директорском лимузине к особняку Дома ученых на Кропоткинской, но ему не дали пройти и несколько шагов за ворота Дома ученых. И улица и двор перед особняком были запружены народом, и, как только дверца машины за Дубининым захлопнулась и он сделал несколько шагов к зданию, из толпы раздались негодующие крики: «Вон отсюда!», «Как вам не стыдно, Дубинин!», «Убийца!»

Ему не осталось ничего другого, как повернуться, снова сесть в машину и уехать.

Смерть Астаурова не остановила Дубинина. Его нападки на покойного академика нисколько не уменьшились. Дубинин продолжал клеймить Астаурова за мнимые ошибки, обращаясь к партийной аудитории в своих книгах и статьях в «Правде», «Коммунисте» и других подобных изданиях. Точно так же он поступал и в отношении других генетиков, особенно Д. К. Беляева и В. П. Эфроимсона.

Взгляды, подогнанные под ранжир официально признаваемой идеологии, стали для Дубинина важнее всего на свете, определили его взаимоотношения с той наукой, которой он посвятил себя в молодости, и с теми людьми, которые честно служили этой науке.

Но вот психологическая задача, которая не может не приходиться на ум каждому, кто задумается над жизнью Дубинина.

Ведь он начал с неплохих работ, его имя прочно вошло в число тех, кто развил и упрочил генетику. Как бы ни спорили те, кто знал Дубинина с молодых лет, как бы ни пытались они утверждать что ничего, буквально ничего самостоятельного он в жизни не совершил, а всю жизнь только и делал, что талантливо развивал чужие открытия, придавая им универсальность и всеобъемлемость, но с этим я не могу согласиться.

Нет никаких сомнений, что Дубинин обладал большим научным потенциалом, талантливо его реализовал на деле, рос как ученый. Но затем равнодействующая его научной продуктивности, являющаяся результатом сложения всех

сил, употребляемых в жизни любым ученым, стала все уменьшаться и уменьшаться.

Дубинин все больше сил стал отдавать политиканству, все чаще приносил в жертву науку и чистоту научных помыслов устремлениям иного рода. Для него первостепенную важность стала играть возможность выдвинуться еще дальше. За это он готов был в чем угодно потрафить властям. На смену интересам научным пришли интересы карьерные. А вступив на топкую почву болота карьеризма, он погружался все ниже и ниже, и радовался этому погружению, гордился им. Ибо несло это болото жизненные блага, поднимало в глазах политиканов, возвышало среди научных чиновников.

Отдавая силы этому новому поветрию, Дубинин ослаблял свои позиции как ученого. На смену науке шли околonaучные байки, строгость мышления заменялась «политически правильными» выкладками в русле господствовавшей идеологии.

Чтобы удержаться на поверхности, Дубинин был вынужден пойти по пути оформления в виде серьезных по виду работ всяких полуфабрикатов. Искусственное раздувание их ценности (вроде эфемерного волнового мутагенеза, который Дубинин превозносил и которым не критически занимались Л. Г. Дубинина, К. П. Гарина. А. П. Акифьев и другие, хотя Дубинин отлично понимал, что весь волновой мутагенез – сплошное пустозвонство) нужно было ему лишь для одного, для создания у околonaучной публики впечатления непрекращающегося дубининского активного вклада в развитие науки.

Но потом и это кончилось. А держаться наверху хотелось из всех сил. Признать свое отставание, остановку было не в состоянии. В момент, когда после многолетней борьбы в него наконец-то поверили и в ЦК партии, и в Президиуме Академии наук, и в других «рукой-водящих инстанциях», вдруг перестать «выдавать на-гора» фундаментальные работы было подобно смерти.

И Дубинин пошел той дорогой, которая только и оставалась для него открытой в условиях не критического отношения к «единомышленникам» со стороны партийных верхов – дорогой обмана, блефования, афер, словом, хорошо известной дорогой Лысенко.

Конечно, у Дубинина был еще один путь: открыть дорогу молодым талантам, начать растить свою школу серьезных исследователей. Но тогда велика была бы опасность под

дружным напором молодых оказаться позади их сомкнутых рядов. При том монополизме, который Дубинин насадил, при той философии сильной личности, подавлявшей всех их и подминающей их всех под собой, об этом пути нечего было и думать. Воспитанный на примерах тех, кто всегда расправлялся с соратниками и сподвижниками под лозунгом борьбы за чистоту собственного учения, Дубинин не мог даже помыслить, чтобы не пойти этим путем.

Из всех альтернатив в окружавшем его обществе реальной для такой личности, как Дубинин, была одна альтернатива – переход на позиции монополизма в науке со всеми вытекавшими отсюда следствиями. Если бы Дубинин не пошел по ней, то нашелся бы другой человек, который бы встал на эту дорожку и начал бы реализовать эту же программу. Ни второго, ни третьего не было дано. Не Дубинин, так Беляев, не Беляев, так Алиханян, не Алиханян, так Бочков или кто-то еще стал бы следующим за Лысенко диктатором. Так же, как и Дубинин не мог замыкать ряд, а был лишь звеном единой цепи.

Вот здесь-то мы и подходим к ответу на этот важнейший вопрос: что же стало первопричиной перерождения Дубинина и как ученого и как человека, что определило его трансформацию из плодотворного исследователя в откровенного диктатора.

Его личные амбиции смогли развернуться в диктаторство, монополизм – только в условиях специфического социального окружения. Дубининские устремления породила политическая система, а сам он стал закономерным итогом системы, точно таким же, каким был первый великий выдвигенец в биологии в СССР – Трофим Лысенко.

Н. П. Дубинин унаследовал все приемы Лысенко, использовавшиеся им для монополизации власти, уяснив главное правило: если партийные боссы признают в тебе своего идейного содруга, если они видят в тебе человека, неспособного в какую-то минуту отвергнуть идеалы, называемые для отвода глаз идеалами диктатуры пролетариата, и верят, что ты именно такой, а не перекусившийся интеллигентик, то тебе дадут свободу делать все, что тебе захочется, в обмен на то, что ты не свернешь с этого пути. Лишь бы ты поддерживал заданный курс, лишь бы был верен в главном. Если же при всем этом ты будешь «выдавать на-гора» новые сорта (или

высказываемые к нужному сроку, скажем, к съезду партии, обещания вывести эти сорта), если ты будешь время от времени будоражить верха проектами будущих грандиозных достижений (имеющих в основании, конечно, единственно правильную идеологию), то тебя будут признавать ценным, нужным и, может быть, даже единственным.

А тогда можно давить особо мешающих тебе коллег, приписывая им идейные ошибки, грозящие поступательному ходу советского общества в светлое завтра.

Можно создавать в подведомственном тебе учреждении обстановку подавления, шантажа, выгонять всех, кто не работает, кто не согласен курить тебе фимиам, заменять людей толковых людьми бестолковыми, но угодливыми.

Можно беспрепятственно наполнять книжный рынок (благо издательское дело целиком в руках государства, и проблемы покупательского спроса никого не волнуют) собственными «трудами», перепевающими одно и то же по десятому разу. Зато дельные книги толковых людей никогда не пробьются на столы к редакторам госиздательств (там всегда будут лежать рукописи твоих книг и книг тех, кого ты сам лично рекомендовал). На книжные полки магазинов или библиотек будут в гордом одиночестве вставать одна за другой твои книги, а на счету в сберкассе расти колонка цифр заработанных тобой гонораров.

В этом был уникальный моральный исход классового подхода к подбору кадров, к воспитанию нового типа специалистов.

Казалось бы, какая пропасть разделяла полуграмотного Лысенко и образованного Дубинина. Сколь различными были их первоначальные шаги в науке. Но итог оказался сходным. Крестьянский сын и потомок офицера и дворянина, поставленные в одинаковые социальные условия, уравнились в идеалах и поступках. Система создала то, что ей было нужно.

Когда я уже работал над этой книгой, когда снова читал и перечитывал статьи и книги Дубинина, вспоминал годы совместной работы, свое прежнее восхищение Дубининым и желание иметь в нем пример для подражания в студенческую пору, я не раз переживал жгучую обиду за ту судьбу, которая сломала этого сильного человека. Мне бывало до слез обидно осознавать, что этот человек, принужденный с детства врать и изворачиваться, последовательно, шаг за шагом изменял

самому себе – чтобы попасть в университет, чтобы устроиться в исследовательскую лабораторию, чтобы стать заведующим, чтобы пробиться в академию, чтобы занять пост директора, чтобы получить ленинскую премию, чтобы попасть в число очередных орденоносцев, чтобы вступить в партию, чтобы заполучить поездки за границу, чтобы напечатать очередную книгу, чтобы удержаться на посту директора, чтобы возвыситься среди своих коллег академиков и так далее, через череду этих бесконечных *чтобы*. Откажись он от своей роли, и не получил бы он и половины этих почестей и наград, которыми оплачивали его моральное падение, его потерю собственного «я», а сколько еще оставалось того, что так хотелось получить!

Нелегко давалось Дубинину его восхождение. Но и другого пути у него не было. Он был силен и был готов биться за свое возвышение. Он верно и тонко назвал том своих мемуаров «Вечное движение». Только цель, к которой он двигался без передышки, безусловно, была не той, которую он живописал. И мотивы, руководившие им во время «вечного движения», были совсем не теми, которые он пытался навязать читателю.

В своих мемуарах он тонко и поэтично повествовал о днях, проведенных на охоте, рыбалке, в поездках по стране и миру. Меня изумляли его рассказы о встречах с глазу на глаз с волками, из которых он выходил победителем, о поездке в утлой байдарке через разбушевавшуюся широченную Каму, когда так легко расстаться с жизнью. Д. М. Гольдфарб, вернувшись из совместной поездки с Дубининым в Индию, рассказывал мне, что однажды, очутившись на берегу Индийского океана, они увидели столб с надписью: «Здесь погиб, съеденный акулами, офицер английской армии, такой-то». Пока Гольдфарб размышлял над судьбой несчастного англичанина, Дубинин разделся и бросился в воды океана. Нет, Дубинин был незаурядной смелости человеком. Но во что же он в конечном счете превратился! Чему была отдана смелость, удаль, ум, способности этого человека.

Эти мысли тяжелее всякого осуждения. Бессилие человека быть самим собой – вот что страшит. Вот что приносит самые тяжелые разочарования. Единые идеалы – диктуют единую тактику. И никому не удастся выскочить из этого круга, если он хочет быть лидером в своей области.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ПОСЕВ»

МАКСИМОВ Владимир Емельянович

Современный русский писатель. Его творчество одухотворено христианским восприятием жизни и любовью к человеку. Его язык богат своей простотой, а художественные образы впечатляют своей доступностью. Даже советская цензура не могла исказить его творчество, и изданные в Советском Союзе произведения пользовались известностью и любовью читателей. Но особенно ярко раскрылся его талант в произведениях, изданных на Западе. Прежде всего, в романе «Семь дней творения» – эпохальном произведении о судьбах России. Этот роман выдержал четыре русских издания и, переведенный на иностранные языки, вышел в 11 иностранных издательствах. Все художественные произведения В. Е. Максимова вошли в его шеститомное собрание сочинений.

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

6 томов, в общей сложности 2300 стр., в твердых переплетах, с тиснением.

Том I: Сага о Савве (повести, изданные в Советском Союзе).

Том II: Семь дней творения.

Том III: Карантин (роман, в котором глубокая символика переплетена с реальной жизнью сегодняшней России).

Том IV: Прощание из ниоткуда (романизированная автобиография, передающая богатейшую переживаемыми, событиями и встречами жизнь писателя).

Том V: Жив человек. (Пьесы)

Том VI: Ковчег для незваных (роман, написанный уже за границей и показывающий, что эмиграция не нарушила творческих импульсов автора; образ Сталина в этом романе – один из интереснейших в современной русской литературе).

В отдельных изданиях в продаже все произведения автора за исключением «Прощания из ниоткуда» и «Карантина», которые распроданы. Подробности в каталоге издательства, который высылается по первому требованию.

Книги Максимова на русском языке разошлись в количестве 14 тысяч экземпляров. На иностранных языках они вышли в 35 различных изданиях, не считая специальных «клубных», в таких странах, как США, Англия, Западная Германия, Франция, Италия, Испания, Япония, Израиль, Голландия, Норвегия, Швеция и др. Кроме того, его книги выходили во всех странах Восточной Европы, как в официальных, так и подпольных издательствах.

Книги можно приобрести в любом русском книжном магазине или непосредственно в издательстве:

Possev-Verlag, Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt a. M. - 80

Искусство

Александра Орлова

ПАМЯТИ МУСОРГСКОГО

(К 150-летию со дня рождения)

В марте 1989 года весь музыкальный мир отмечал 150-ю годовщину со дня рождения одного из величайших русских композиторов, сыгравшего поистине революционную роль в искусстве, – Модеста Петровича Мусоргского.

Влияние его огромно. Французские композиторы-импрессионисты Клод Дебюсси и Морис Равель считали себя его учениками. Венгр Бела Барток, многие русские музыканты XX века называли себя последователями Мусоргского, полагая (на мой взгляд, справедливо), что почти все они «вышли» из экспериментальной разговорной оперы Мусоргского «Женитьба».

На родине судьба Мусоргского сложилась непросто. Он оказался единственным русским композитором прошлого, который удостоился «честь» безоговорочно и сразу быть принятым советской властью. Его объявили «своим пролетарским классиком». Певец народа и народного бунта, провозвестник революции и т. д. и т. п. – каких только похвал не удостоился этот композитор. А о том, что музыка его глубоко трагична, что о народе он писал не только со знаком плюс, но показал и страшный образ стихийного народного бунта, что имеются у него произведения глубоко пессимистические и – даже страшно выговорить – мистические, – об этом до сих пор не принято говорить.

Как не принято говорить и о человеческой трагедии Мусоргского. Насколько мне известно, только два советских музыковеда поднимали такой вопрос. Один из них, С. И. Шлифштейн, умер, и эта сторона его книги¹, как правило, замалчивается. Другой музыковед – автор настоящей статьи – эмигрант – следовательно, его работы попросту «не существуют»².

Не стану останавливаться на произведениях Мусоргского. Наследие его не столь обширно, а лучшие его творения – оперы «Борис Годунов» и «Хованщина», вокальные циклы «Без солнца» и «Песни и пляски смерти», фортепианная сюита «Картины с выставки», оркестровая фантазия «Ночь на Лысой горе», его песни настолько популярны, что рассказывать о них читателям «Континента» нет нужды. Тем более, что о творчестве Мусоргского написано много. Мне же хочется остановиться на его человеческой судьбе, о которой говорится меньше.

Композитор-новатор, открывший неизведанные пути в искусстве, Мусоргский справедливо может быть назван одной из самых трагических фигур в истории музыки не только русской, но и мировой... И дело не только в том, что композитор, по словам известного художественного критика В. В. Стасова, «жил и умер слишком рано»... Нет, Мусоргский жид именно в то время, какое ему было предназначено Историей. Он явился на гребне общественного подъема 60-х годов, и все его творчество крепкими нитями связано с современными ему литературой и изобразительным искусством.

Трагедия Мусоргского заключалась не только в том, что большинство современников не понимало его музыки и после смерти композитора потребовалась редакторская рука Римского-Корсакова, чтобы гениальные произведения стали доступны широкой публике. Трагедия Мусоргского была в том, что и как личность он оставался непонятым даже ближайшему его окружению. Признавая бесспорный талант композитора, друзья-коллеги не интересовались его духовным миром, не проявляли к нему должного внимания и никак не старались облегчить его тяжелую жизнь.

А судьба Мусоргского сложилась безотрадно. Он рано потерял мать, которая явилась первой учительницей музыки гениального ребенка, была ему самым близким другом, жила его интересами.

Личная жизнь его не сложилась, быть может, и по его вине, ибо он считал, что брак губелен для творчества. Впрочем, об этом почти ничего неизвестно. Будучи человеком необычайно ранимым и целомудренным, он ни с кем не делился своими интимными переживаниями.

Единственная женщина, которую Мусоргский, как можно предполагать, любил, – Надежда Петровна Опочинина – была

старше его на 18 лет, дружила с его матерью. Но как она сама относилась к Мусоргскому, остается только гадать. Несомненно дружественно — это видно хотя бы по тому, что во время создания «Бориса Годунова» (первой редакции оперы) и несколько раньше композитор жил в квартире ее брата Александра Петровича, а Надежда Петровна, не будучи замужем, жила совместно с братом-холостяком.

Только по произведениям, который Мусоргский ей посвятил³, можно отчасти судить о его отношении к этой женщине — разносторонне образованной, умной, волевой. (Не Надежда ли Петровна явилась тем идеалом женщины, который Мусоргский воплотил впоследствии в образе Марфы в «Хованщине»?) По неуловимым намекам в письмах композитора — и как бы вовсе не об Опочининой — чувствуется, что между ней и Мусоргским могли быть более чем дружеские отношения.

Однако установить и понять, почему он переехал от Опочининых и поселился в меблированной комнате вместе с Римским-Корсаковым, — трудно. По каким-то причинам жизнь с Опочиниными под одной крышей оказалась неудобной.

Недостаток средств заставил Мусоргского служить. Живя у Опочининых в Инженерном замке, он служил в Инженерном департаменте Главного инженерного управления, помещавшемся там же. Затем перешел в Лесной департамент Министерства государственных имуществ, где прослужил много лет.

Свою часть небогатого имения Мусоргский уступил брату, у которого была семья (надо сказать, что после отмены крепостного права Мусоргские почти всю землю отдали безвозмездно крестьянам, оставив себе лишь небольшой надел).

В первые годы служба мало угнетала композитора. Он был молод, здоров и довольно легко справлялся с обязанностями чиновника. До времени это не мешало творчеству...

Кроме того, в ту пору большой моральной поддержкой было для Мусоргского и творческое общение с музыкантами-единомышленниками.

В конце 50-х годов возник и затем сформировался музыкальный кружок молодых петербургских композиторов, так называемая Новая русская музыкальная школа.

Первоначальное ядро кружка составили трое: Милий Алексеевич Балакирев, композитор, пианист, дирижер, педагог, ставший во главе кружка (отсюда и другое его название – Балакиревский кружок); Цезарь Антонович Кюи, композитор и музыкальный критик, и Мусоргский, в то время еще не чиновник, а офицер Преображенского полка, начинающий композитор, отличный пианист и незаурядный исполнитель вокальной музыки.

Балакирев был руководителем кружка, который в начале 60-х годов пополнился двумя членами: молодым моряком Николаем Андреевичем Римским-Корсаковым, как и Мусоргский, только начавшим свои композиторские опыты; и ученым-химиком, одновременно и музыкантом – Александром Порфирьевичем Бородиным. (В разные годы к кружку примыкали и другие композиторы, не оставившие, однако, видного следа в русской музыке.)

Идейным вдохновителем кружка стал Владимир Васильевич Стасов. Именно ему принадлежат слова, давшие Балакиревскому кружку название «Могучая кучка»⁴.

Эта группа музыкантов, связанных общими художественными целями (на знамени ее стояло: Глинка и народная песня), в первые годы казалась Мусоргскому его родной семьей. А Балакирева он считал старшим другом, учителем, перед которым молодой музыкант преклонялся. Письма к Балакиреву в большей части относятся к юношескому периоду Мусоргского, к периоду поисков, внутреннего душевного брожения, зарождения и постепенного развития художника. Со своим старшим товарищем и руководителем Мусоргский делится потаенными мыслями, душевными переживаниями, художественными впечатлениями. В письмах преобладают широкие интеллектуальные запросы, строгий и беспощадный самоанализ и в то же время юношеская доверчивость.

К сожалению, мы не видим сочувственного отклика в отношении учителя к ученику. Писем Балакирева к Мусоргскому не сохранилось, и о них можно судить лишь по косвен-

ным данным, а также по письмам Балакирева к Стасову и Кюи. По мнению Балакирева, у Мусоргского «слабые мозги», он «почти идиот», он – «нелепый автор», он полон «самохвальства», «самообожания» и т. п.

Необычность личности Мусоргского, его оригинальный ум и склонность к пародированию, а в ранние годы метания созревающей натуры, весь процесс становления незаурядного характера, поиски новых, неизведанных путей в искусстве – все это отталкивало деспотического и нетерпимого Балакирева.

Постепенно в Балакиревском кружке стали обнаруживаться острые противоречия. Младшие – Мусоргский и Римский-Корсаков в первую очередь – из робких учеников вырастают в самобытных художников, приобретают самостоятельность. Со временем у каждого из них все отчетливей проявляется творческая индивидуальность, и они уходят из-под деспотического контроля учителя. Дружба с Балакиревым обрывается. А это больно ранило любящую, впечатлительную натуру Мусоргского, искавшего в своем учителе не только наставника, но и друга.

Непросто сложились отношения Мусоргского и с Кюи.

Вначале Мусоргский смотрел на него как на старшего товарища, охотно делился с ним своими замыслами. Ему, начинающему композитору, было неизвестно, что за его спиной, в письмах к друзьям по Балакиревскому кружку (и, несомненно, в разговорах с ними) Кюи не раз отзывался о Мусоргском и его сочинениях с едкой иронией. Но высокомерного отношения к младшему собрату Кюи долго не показывал, и тот продолжал доверчиво делиться с более опытным товарищем своими творческими планами и идеями, дружески общался с ним.

Но так было только до постановки «Бориса Годунова».

Рецензия Кюи на эту оперу обнаружила: критик не только не понимал новаторской драматургии и музыки Мусоргского и не сумел оценить первой в истории искусства народной музыкальной драмы, но и личности композитора не в состоянии был постигнуть.

Хотя статья и содержит положительную оценку частных, в общем вывод ее таков: «главных недостатков в „Борисе“ два: рубленый речитатив и разрозненность музыкальных мыслей, делающих местами оперу попуриобразной».

И далее Кюи упрекает автора в поспешности сочинения, отсутствии самокритики и самодовольстве⁵.

Это-то более всего и задело Мусоргского. «Что за ужас статья Кюи! – писал он Стасову, прочитав отзыв своего, казалось бы, соратника и друга. – ... Так, стало быть, надо было появиться «Борису», чтобы людей показать и на себя посмотреть [...] А это рискованное нападение на самодовольство автора [...] *Самодовольство!!! спешное сочинительство! Незрелость! Чья?.. Чья?.. хотелось бы знать*»⁶.

Статья Кюи показала и другое: сделалось очевидным, что в Балакиревском кружке уже нет единства!



По-иному и, быть может, особенно сложно и драматично сложились отношения Мусоргского с Римским-Корсаковым. Расцвет их дружбы приходится на 1867–1872 годы. Все дальше отходя от Балакирева, они делятся друг с другом своими музыкальными планами, подробно рассказывают о текущей работе и с уважением относятся к взаимной критике. Тогда Мусоргский был главным советчиком Римского-Корсакова. И, казалось бы, они крепко сдружились. Одно время даже снимали общую комнату, распределяя свои музыкальные занятия таким образом, чтобы не мешать друг другу.

Однако эта дружба носила чисто профессиональный характер. Внутреннее бытие каждого проходило где-то в иной плоскости. Подлинной человеческой близости не возникло. Но и эта дружба прекратилась после женитьбы Римского-Корсакова, постепенного его отхода от жизни кружка и увлечения консерваторской деятельностью. Именно здесь коренится глубокое взаимное непонимание обоих композиторов.

Обращение Римского-Корсакова к углубленным занятиям полифонией и к педагогической работе рассматривалось Мусоргским как измена идеалам Могучей кучки. Он не мог понять, что такова была потребность художника, почувствовавшего, как его творчество сковывает отсутствие глубоких теоретических знаний. Римский-Корсаков не мог, подобно Мусоргскому и Бородину, схватывать налету, в процессе изучения произведений классической музыки и путем соб-

ственной композиторской практики, необходимые теоретические сведения. Римский-Корсаков ощутил потребность в специальных теоретических занятиях.

А Мусоргский не мог понять подобных устремлений и жестоко сетовал: «Как припомню неких художников „за шлагбаумом“, не то тоска, не то какое-то *слякотное наваждение* приключится [...] Без разума, без боли, сами себя опутали они – эти художники традиционными путями [...] воображая, что дело делают»⁷. И в отчаянии повторял: «Могучая кучка выродилась в бездушных изменников»⁸.

Мусоргского травмировало равнодушие других членов кружка к тому, что он сам воспринимал как измену. Он сетовал: «*О, если бы Бородин озлиться мог!*»⁹

Но именно Бородин, самый уравновешенный из всей балакиревской компании, ученый с аналитическим складом ума, вполне спокойно расценивал распад кружка, считая это в порядке вещей: «Пока все мы были в положении яиц под наседкой [...] все мы были более или менее схожи. Как скоро вылупились из яиц, вышли по необходимости различные; а когда отросли крылья – каждый полетел куда его тянет по натуре его [...] Так должно быть, когда художественная индивидуальность сложится и созреет»¹⁰.

Мусоргский, быть может, потому так болезненно воспринимал распад кружка, что было это вызвано не только расхождением во взглядах, но привело к развалу дружеских связей, которые Модест Петрович ценил превыше всего. Ему грозило одиночество и в чисто человеческом плане. Трагедия усугублялась и потому, что в ту пору Римский-Корсаков совершенно охладел к творчеству Мусоргского. Высоко ценя его самобытное дарование, преклоняясь перед его талантом, Римский-Корсаков принимал необычный для того времени музыкальный язык автора «Бориса Годунова» за безграмотность, упрекал его сочинения в грязных гармониях, в скверной инструментовке.

Впоследствии, уже после смерти Мусоргского, Римский-Корсаков многие годы посвятил творческому спору с наследием своего гениального друга. Редактируя сочинения покойного, вытравлял из них все, что не укладывалось в рамки его собственных эстетических критериев. В течение ряда лет Римский-Корсаков увлеченно занимался «причесыванием» непокорной музы Мусоргского. И надо отдать справедливость

редактору: именно благодаря его усилиям «приглаженный» Мусоргский стал доступен широкой публике, приблизился к тогдашнему эстетическому уровню большинства современников. И только в первой трети XX века подлинный Мусоргский завоевал подобающее место. Но это было делом истории. А в свое время роль Римского-Корсакова как популяризатора творчества Мусоргского оказалась бесценной.



Единственным человеком, который проявлял душевное тепло к Мусоргскому и к которому сам композитор относился с сыновней нежностью, была сестра Глинки, Людмила Ивановна Шестакова. Ее дом стал центром, где собирались члены Балакиревского кружка, она сама жила интересами этого кружка, вместе с Мусоргским скорбела о распаде Могучей кучки.

Особенно тепло относилась Шестакова к Мусоргскому. Композитор делился с ней своими творческими замыслами, жаловался на изменивших общему делу Римского-Корсакова и Кюи, на отход Балакирева от жизни кружка...

«Вы были свидетельницей горячих дел, подчас борьбы, стремлений, опять борьбы сочленов кружка, и Ваше сердце [...] было живым откликом на эту борьбу, на стремления, горячие дела. Много хорошего было сделано, и за это хорошее дань Вам надлежит», – писал Мусоргский Шестаковой¹¹, называя ее в письмах «Голубушка» и подписываясь прозвищем, которое Шестакова дала ему: «Мусенька».

Кроме членов Могучей кучки, были у Мусоргского и другие дружеские связи, но и они либо ограничивались творческим общением и не приводили к душевной близости, либо трагически обрывались.

Так, преждевременная кончина оборвала дружбу Мусоргского с архитектором и художником Виктором Александровичем Гартманом. Его смерть явилась тяжелым ударом для Мусоргского. Памяти Гартмана композитор посвятил фортепианную сюиту «Картинки с выставки», программой для которой явились зарисовки и архитектурные проекты Гартмана (посмертную выставку его работ организовал Стасов).

В доме Шестаковой Мусоргский сблизился с историком литературы, пушкиноведом Владимиром Васильевичем Никольским. Их объединяли общие интересы к русской истории, к народному творчеству. Именно Никольский подсказал композитору сюжет пушкинского «Бориса Годунова». Но отношения Мусоргского и Никольского оставались чисто приятельскими, порой шутливыми, но никогда не были душевными.

К числу ближайших друзей композитора относился поэт Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов. Он преклонялся перед гением своего друга и очень считался с его авторитетом в вопросах чисто творческих. На тексты Голенищева-Кутузова Мусоргский написал два вокальных цикла: «Без солнца» и «Песни и пляски смерти», а также балладу «Забытый».

После распада Могучей кучки и смерти Гартмана Мусоргский долгое время цеплялся за эту дружбу, как за соломинку. Но отношения с поэтом постепенно потускнели – необходимой ему душевной поддержки Мусоргский не нашел и у него.



Среди современников и даже ближайших коллег Мусоргский оставался белой вороной. Непонятым и одиноким. Единственным человеком, кто сумел по-настоящему оценить его творчество, был Владимир Васильевич Стасов, безоговорочно признавший неповторимый талант Мусоргского. Однако и их отношения были далеко не просты.

Поначалу Стасов Мусоргского не только не ценил, но и недолюбливал. «Все у него вяло, бесцветно. Мне кажется, оставить его без опеки, вынуть его из сферы, куда Вы [Балакирев] его насильно затолкнули, пустить его на волю, на свою охоту и свои вкусы, он скоро зарос бы травой и дерном, как все. У него ничего нет внутри»¹².

Даже после создания «Бориса Годунова» Стасов весьма нелестно отзывался о личности Мусоргского, хотя талант его уже ценил: «Мусорянин просто выходит из всех пазов вон, по свойству своего таланта, но головою довольно ограничен и критики никакой и ни о чем, не надумывается и не размышляет ровно ни по случаю чего бы то ни было»¹³.

Но постепенно предубеждение Стасова переходит в восторженное преклонение перед гениальной натурой Мусоргского, и в дальнейшем подобных сомнений в умственной неполноценности композитора не встречается – до конца 70-х годов. А там... Но речь об этом впереди.

Стасов поддерживает композитора в его исканиях, с неослабным вниманием следит за его творческой работой и принимает горячее участие в создании «Хованщины» (что не помешает ему после смерти Мусоргского в монографии о композиторе полностью игнорировать это произведение наравне с лирическими миниатюрами).

Со Стасовым Мусоргского связывала в первую очередь общность взглядов на искусство, творческий темперамент.

В программном письме к Стасову, предшествующем началу работы над «Хованщиной», есть такое признание: «Лучше Вас никто не видит, куда я бреду, какие раскопки делаю, и никто прямее и лучше Вас не смотрит на мой дальний путь (а путь далек – еле выехал во-чистó поле)»¹⁴. Или: «Я посвящаю Вам весь тот период моей жизни, когда будет создаваться „Хованщина“»¹⁵.

Именно Стасову рассказывает Мусоргский о процессе своей вдохновенной работы: «Мы наконец кипим „Хованщиной“»¹⁶. Или: «*Второе действие нашей „Хованщины“* готово – писал на праздниках, воистину ночь напролет»¹⁷.

Во время сочинения «Картинок с выставки» Мусоргский отказывается прийти к Стасову, так как не может оторваться от работы: «Гартман кипит, как кипел „Борис“, – звуки и мысль в воздухе повисли, глотаю и объедаюсь, едва успеваю царапать на бумаге»¹⁸.

Стасов полностью уверовал в талант Мусоргского. Когда композитор признался, что квинтет во втором действии «Хованщины» собирается писать «под руководством Римского-Корсакова, ибо технические требования бедовы»¹⁹, Стасов вполне резонно отвечает: «Когда Вы начнете у Римского *многоголосиям* обучаться, этого мы еще подождем, а вот покуда каким львом вперед ломите!»²⁰.

Да, все так! Преклонение Стасова перед гением Мусоргского было беспредельно. Но и только. Увлеченно толкая композитора на свершение новых дел, Стасов в то же время оставался равнодушным к внутреннему миру композитора, попросту не замечая, что с ним происходит. Интимной душевной близости между ними не возникло. И не по вине Мусоргского, а по вине Стасова. На попытки композитора душевно сблизиться Стасов никак не реагировал. А попытки делались, и не раз.

Вдумаемся в одно из очень важных признаний композитора: «Никто жарче Вас не грел меня [...] никто проще и, следовательно, глубже не заглядывал в мое нутро; никто яснее не указывал мне путь-дороженьку»²¹. Здесь вырвались слова, скорее всего, не о том, что было, а чего жаждала душа глубоко одинокого человека. Однако даже на такие признания Стасов не реагировал и оставался в рамках творческой дружбы.

Восхищение гением Мусоргского не мешало Стасову не замечать, не понимать, как живет композитору, каким нравственным мучением – и с каждым годом все больше и больше – становится для него служебная лямка. В пору творческого взлета все трудней ему лучшие часы проводить в канцелярии за составлением казенных бумаг, тогда как душа его рвется к творчеству. И постепенно душевные силы начинают изменять. Неудовлетворенность растет, отвращение к службе становится непреодолимым. И, не находя выхода из жизненного тупика, Мусоргский с отчаяния начинает искать забвение в вине.

А ведь в письмах, особенно к Стасову, да и не только к нему, сколько раз прорывались жалобы на невыносимое существование!

«Сильно хочется делать дело, да Русь-матушка подсыпает только следственные – по чиновничьей части – скверно!» – жалуется он в письме к И. Е. Репину²². И Стасову: «Суждено сознать всю бесплодность моего труда по лесной части и, несмотря на это сознание, трудиться по лесной части. Жутко!»²³

И еще: «...должен был, наконец, приняться за „Хованщину“, потому что пришло время. Никогда сильнее, чем теперь, не чувствовал я, что для творческой работы необходимо

спокойствие, что только при этом условии возможно сосредоточиться [...] О, как я измучен»²⁴. «„Хованщина“ хорошо идет, да времени мало и утомляюсь очень», – жалуется композитор Л. И. Шестаковой²⁵.

Таких признаний множество. Но... никаких слов утешения и ободрения, разве только от Поликсены Стасовой.

Узнав, что Мусоргский стал пить, она написала ему отчаянное письмо: «Умоляю Вас [...] именем дорогого Вам русского искусства [...] берегите себя. Что гнетет Вас? Если канцелярская работа доехала, – пусть Вас обойдут чином, наградой [...] не тратьте себя, не усердствуйте слишком [...] Вы ничего от этого не потеряете, а русская музыка только выиграет [...] Неудачи жизненные тревожат Вас – кому же из замечательных людей когда-нибудь легко жилось?.. Материальные обстоятельства плохи – а друзья на что? Неужели мы все существуем для того только, чтобы слушать, восхищаться или порицать Ваши музыкальные создания? Разве мы все, сколько нас есть, не найдем счастье быть Вам чем богат, тем и рад? Что же после этого дружба, если вся она будет заключаться только в приятных беседах и музыке»²⁶.

Вчитайтесь в это письмо: разве говорит оно о понимании трагедии Мусоргского? Разве в служебных неполадках было дело? Разве его беспокоило, что его могут обойти с повышением в должности? – Не говорится о главном: что гнетет композитора самая необходимость тянуть служебную лямку. А чего стоят рассуждения на тему о трудной жизни всех замечательных людей? Или чисто абстрактный разговор о материальной помощи? Разве так следовало ее предлагать самолюбивому, деликатному человеку? Да и разговор этот повис в воздухе. Почему милая, добрая женщина обратилась к Мусоргскому, а не ко всем друзьям с призывом организовать ему субсидию? Общие же рассуждения ничем не могли помочь, и композитор, естественно, даже не ответил на них. Тем более, что письмом все и кончилось.

Мусоргский ответил Стасовой с глубоким достоинством: «Знайте же: работа кипит и Мусорянин Ваш тот же Мусорянин, только строже стал к себе, когда затеял народную драму [...] 6 тысяч листов дела лежит, и ждет лесничий отпускной грамоты, – что делать!»²⁷.

Между тем, нуждался он в немедленной помощи, ибо ему грозила гибель. Это было так очевидно! Вспомним, как в

критический момент П. И. Чайковского спасла Н. Ф. фон Мекк, создав на долгие годы необходимые условия для творческой работы композитора. (А ведь кто знает: не явись ссуда от фон Мекк в нужный момент, может быть, и Чайковский записал бы.)

С Мусоргским происходило то, что физиологи и психологи называют «сшибкой»: ежедневное, ежечасное столкновение страстного порыва к творчеству и непрерывное пересечение этого стремления...

«Лишь бы отпуск дали, – кажется, загарцуем на нотной бумаге. Пора! Все почти сочинено, надо писать и писать. Вот только толкание на службу дорогу перебегает»²⁸.

Ничего нет удивительного, если постоянная сшибка требовала какой-то разрядки... А старые, верные друзья лишь порицали его за пьянство. И Стасов, и даже Шестакова, не задумываясь над тем, что довело его до алкоголизма, возмущались «падением» друга.

Стасов, тот просто кипел: «Мне кажется, если Вы захотите, Милий, – писал он Балакиреву, – Вы можете сделать, если не все, то многое [...] Требуйте его [Мусоргского] к себе часто, видайте его часто, *засыпайте его работой и трудом*»²⁹. Как будто не было у Мусоргского «работы и труда»! Но именно музыкальной «работой и трудом» он не мог заниматься. Какими слепыми, какими равнодушными были эти люди! Как не понимали они страданий великого музыканта.

Заканчивая «Хованщину», Мусоргский одновременно сочинял «Сорочинскую ярмарку». Но не было у него времени для творческой работы, не было нормальных условий – этого ни Стасов, ни Балакирев, ни Шестакова – никто, никто не мог понять.

* *
*

Душевное богатство Мусоргского, огромный и нерастроченный запас любви и нежности, необычайно тонкая чувствительность и деликатность так и не нашли выхода в общении с самыми, казалось бы, близкими ему людьми. Жуткой безнадёжностью, безысходной тоской одиночества наполнены его письма.

«...Простым, бесхитростным, несчастным другом хотел бы я пробыть [...] Но на досуге от забот [...] не позабудь „комнатку тесную, тихую мирную“, „и меня, мой друг, не прокляни“, – писал он Голенищеву-Кутузову, цитируя слова из своего романса на стихи поэта (из цикла «Без солнца»), и датировал это письмо достаточно выразительно: – 23/24 декабря 75 г. ночью, „без солнца“»³⁰.

Страшно читать эти строки, этот стон одинокой души... Но отклика не последовало и на сей раз.

А каким безмерным трагизмом веет от признания Стасову, когда Мусоргский остро почувствовал, как бывшие друзья-соратники не только не сочувствуют его беде, но и презирают его за пьянство.

«...спасибо Вам за чудесное письмо по поводу „спора князей“ в „Хованщине“. Это редкий час в моей жизни. Не обинуясь и с полной искренностью говорю: *благодарен* за то великое слово, что в речи людей больших и лучших меня, звучит *уважаем*»³¹. Письмо Стасова, на которое отвечает Мусоргский, неизвестно, но о смысле его можно догадаться.

Не избалованный человеческим теплом, видимо, чувствуя, что его порицают, он благодарит за проявление элементарного уважения. Как голодному, ему бросили кусок хлеба, а он радуется и этой подачке!

Не менее потрясающе звучит начало одного из последних писем Мусоргского к Стасову: «Что же это, Ваше превосходительство, обдали меня такими тяжелыми эпитетами»³². Что именно говорилось в письме Стасова, можно только догадываться: наверное, упреки в лени, а может быть, и в пьянстве. Своего презрения Стасов, видно, уже и не скрывал.

Мусоргский погибал. Его выгнали с работы. Жить было не на что.

Необходимая материальная поддержка пришла слишком поздно, была ничтожна, да и пришла со стороны. Не его ближайшие друзья, не товарищи по Могучей кучке, за исключением одного Стасова (хотя все они, кроме Балакирева, были людьми обеспеченными), а совершенно другие люди организовали складчину. Создалось две группы вкладчиков. Одна давала деньги на окончание «Хованщины», а другая – украинцы – платили Мусоргскому за завершение «Сорочинской ярмарки»...

Но он уже почти не способен был к творческому труду. «Хованщину» кончил, только оркестровать не успел³³. «Сорочинская ярмарка» осталась незавершенной.

В феврале 1881 года его выгнали из меблированной комнаты за неуплату. Тогда Мусоргский пришел к певице Дарье Михайловне Леоновой, с которой преподавал на организованных Леоновой вокальных курсах, с просьбой пустить его переночевать... На следующее утро, выйдя к чаю, Мусоргский потерял сознание.

Ни одному из друзей и в голову не пришло взять больного к себе – а ведь жили они не в коммунальных квартирах, не в тесноте и имели не одну прислугу...

Жена Кюи через свою подругу, жену военного врача Л. Б. Бертенсона, помогла устроить Мусоргского в госпиталь для солдат. Его положили туда под видом денщика доктора Бертенсона.

Мусоргский скончался 16/28 марта 1881 г., через несколько дней после дня своего рождения. Ему минуло 42 года. Равнодушная рука прозектора записала диагноз: «от алкоголизма»³⁴.

«Биография коротка, печальна, безотраднa [...] Умер рано! Далеко не свершил всего, к чему способен, к чему был, по-видимому, назначен своими богатыми силами, богатою своею природою», – написал Стасов в брошюре к открытию памятника композитору на его могиле³⁵. А начинается эта брошюра таким многозначительным заявлением: «Мусоргский принадлежит к числу людей, которым потомство ставит монументы»³⁶.

Когда Стасов писал эту торжественную фразу, чувствовал ли он свою вину и вину своих товарищей перед безвременно погибшим другом? Лишь посмертно Римский-Корсаков принес на алтарь дружбы многолетнюю редакторскую работу над наследием Мусоргского, не взяв ни копейки с издателя за свой огромный труд. А Стасов фактически почти единолично финансировал постановку памятника на могиле Мусоргского.

Как тут не вспомнить ставшую в наше время избитой цитату из Пушкина: «У нас любить умеют только мертвых»!

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ С. Шлифштейн. Мусоргский. Художник. Время. Судьба. М., «Музыка», 1975.

² А. Орлова. Труды и дни Мусоргского. Летопись жизни и творчества. М., «Музыка», 1963 (2-е дополненное и исправленное издание – только в английском переводе: *Musorgsky's Days and Works. A Biography in Documents* by Alexandra Orlova, translated by Roy J. Guenther. UMI Research Press, Ann Arbor, 1983) (в дальнейшем сокращенно: Труды и дни); Литературное наследие Мусоргского. Письма и документы. Подготовка текста, вступительная статья и примечания А. Орловой. М., «Музыка», 1971 (в дальнейшем сокращенно: ЛНМ). В предисловии данная тема специально освещена, но книгу поспешили изъять из обращения и заменили ее анонимным изданием писем Мусоргского без моей вступительной статьи, но с использованием всей моей текстологической и комментаторской работы (несколько переиначив расположение материала), а также с использованием «Трудов и дней» (Письма Мусоргского в таком виде изданы дважды. М., «Музыка», 1981 и 1984); А. Орлова. Мусоргский в Петербурге. Л., Лениздат, 1974.

³ Мусоргский посвятил Н. П. Опочининой следующие произведения: фортепианная пьеса «*Impromptu passionné* (Воспоминание о Бельтове и Любе)» написана в 1859 г. под впечатлением совместного чтения романа Герцена «Кто виноват?»; романс «Но если бы с тобой я встретиться могла» (1863); «Ночь» («Мой голос для тебя»), фантазия для голоса (1864; на видоизмененные слова Пушкина); романс «Желание» («Хотел бы в единое слово», 1866); «Стрекотунья белобока», шутка (1867; совместное посвящение ей и А. П. Опочинину); «Классик», музыкальный памфлет для голоса с ф-п (1867); переложения для фортепиано нескольких оркестровых произведений Бетховена и, наконец, «Надгробное письмо» («Злая смерть», неоконченный романс, посвященный памяти Н. П. Опочининой; 1874).

⁴ Это название впервые прозвучало в заключительных словах статьи Стасова в 1867 г. «Славянский концерт г-на Балакирева»: «...дай Бог, чтобы наши славянские гости никогда не забыли сегодняшнего концерта, дай Бог, чтобы они навсегда сохранили воспоминание о том, сколько поэзии, чувства, таланта и умения есть у маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов» (перепечатано в книге: В. Стасов. Статьи о музыке, вып. 2. М., «Музыка», 1976, стр. 112).

⁵ Статья Кюи о «Борисе Годунове» напечатана в газете «С.-Петербургские ведомости», 6 февраля 1874; цит. по книге: Труды и дни, стр. 355–360.

⁶ Письмо к В. В. Стасову 6 февраля 1874, ЛНМ, стр. 175–176. Подчеркнуто Мусоргским.

⁷ Письмо к В. В. Стасову 19 октября 1875, ЛНМ, стр. 202.

⁸ Там же.

⁹ Письмо к Л. И. Шестаковой, ночь с 28 на 29 февраля 1876, ЛНМ, стр. 214. Подчеркнуто Мусоргским.

¹⁰ Письмо А. П. Бородина к Л. И. Кармалиной 15 апреля 1875, в книге: Письма А. П. Бородина, вып. 2. М., Музгиз, 1936, стр. 89.

¹¹ Письмо к Л. И. Шестаковой 11 июля 1872, ЛНМ, стр. 133.

¹² Письмо В. В. Стасова к М. А. Балакиреву 17 мая 1863, в книге: М. А. Балакирев и В. В. Стасов. Переписка, т. I. М., «Музыка», 1970, стр. 203.

¹³ Письмо В. В. Стасова к Н. А. Римскому-Корсакову 19 апреля 1870, в кн.: Н. А. Римский-Корсаков. Собрание сочинений, т. V. Литературные произведения и переписка. М., «Музыка», 1963, стр. 332.

¹⁴ Письмо к В. В. Стасову 16 и 22 июня 1872, ЛНМ, стр. 132.

¹⁵ Письмо к В. В. Стасову 15 июля 1872, ЛНМ, стр. 138.

¹⁶ Письмо к В. В. Стасову 9 марта 1874, ЛНМ, стр. 178.

¹⁷ Письмо к В. В. Стасову, ночь с 29 на 30 января 1875, ЛНМ, стр. 210.

¹⁸ Письмо к В. В. Стасову 12 (или 19?) июня 1874, ЛНМ, стр. 178.

¹⁹ Письмо к В. В. Стасову 13 августа 1876, ЛНМ, стр. 223.

²⁰ Письмо В. В. Стасова к Мусоргскому 16 августа 1876, ЛНМ, стр. 347.

²¹ Письмо к В. В. Стасову 2 января 1873, ЛНМ, стр. 143–144.

²² Письмо к И. Е. Репину 13 июня 1873, ЛНМ, стр. 148. Подчеркнуто Мусоргским.

²³ Письмо к В. В. Стасову 23 июля 1873, ЛНМ, стр. 155.

²⁴ Письмо от 6 сентября 1873, ЛНМ, стр. 166. Подчеркнуто Мусоргским.

²⁵ Письмо от 27 ноября 1874, ЛНМ, стр. 184.

²⁶ Письмо П. С. Стасовой к Мусоргскому, июль 1873, ЛНМ, стр. 318. – Поликсена Степанова Стасова, жена брата В. В. Стасова, Дмитрия Васильевича, известного юриста.

²⁷ Письмо к П. С. Стасовой 26 июля 1873, ЛНМ, стр. 158.

²⁸ Письмо к Л. И. Шестаковой 2 августа 1876, ЛНМ, стр. 222.

²⁹ Письмо В. В. Стасова к М. А. Балакиреву 18 августа 1878. В кн.: М. А. Балакирев и В. В. Стасов. Переписка, цит. изд., стр. 309. Подчеркнуто Стасовым.

³⁰ ЛНМ, стр. 210.

³¹ Письмо к В. В. Стасову 12 февраля 1876, ЛНМ, стр. 213. Дважды подчеркнуто Мусоргским. – «Спор князей» – сцена у Голицына во втором акте «Хованщины».

³² Письмо от 5 августа 1880, ЛНМ, стр. 260.

³³ В «Хованщине» осталась недописанной сцена самосожжения в финале, для которой Мусоргский сделал заготовки, и ее завершил Римский-Корсаков.

³⁴ Труды и дни, стр. 612.

³⁵ В. В. Стасов. Статьи о музыке, вып. 3. М., «Музыка», 1974, стр. 267.

³⁶ Там же, стр. 271.

ИМЕЕТСЯ В ПРОДАЖЕ
КНИГА
ГАЛИНЫ ВИШНЕВСКОЙ
« Г А Л И Н А »

**Автобиографическое повествование великой актрисы
русского оперного театра**

**«La Presse Libre» и «Континент»
Париж**

**Продается в русских книжных магазинах.
Заказы направлять в ред. «Р.М.».**

**Книга удостоена премии
французского Национального профсоюза
музыкальных критиков
как «книга года».**

Колонка редактора

СОЦИАЛЬНАЯ МЕСТЬ УТОПИИ

В своей книге «Социализм как явление мировой истории» Игорь Шафаревич убедительнейшим образом доказал, что практически вся сознательная история человечества самым неразрывным образом связана с поисками социального равенства, земли обетованной всеобщей гармонии и справедливости. И хотя, как показала та же история, все попытки осуществления этого рая на земле кончались катастрофическим самоуничтожением народов, а то и целых цивилизаций, утопия продолжает искушать человека своей иллюзорной доступностью: подели все поровну и будешь счастлив!

Можно сколько угодно развенчивать Сталина или даже сказать полную правду о Ленине, этим, к сожалению, невозможно перечеркнуть того очевидного факта, что, оказавшись у власти, они лишь следовали предначертаниям своих литературных предшественников: от Платона и Кампанеллы до Мора и Маркса. Поэтому мне представляется абсолютно адекватным название, которое дано Михаилом Геллером и Александром Некричем их книге об истории Советского Союза: «Утопия у власти». Именно утопия у власти со всеми вытекающими отсюда последствиями: тотальным насилием, всеобщей экспроприацией, промывкой мозгов. Ведь цель всякой утопии – это не только создание общества нового типа, но и превращение человека в качественно иное социальное существо.

Но онтологическая природа человека оказалась сильнее целенаправленной воли экспериментаторов. Если за семьдесят с лишним лет существования тоталитарной системе и удалось коренным образом изменить человеческую сущность, то в совершенно противоположную от замысла сторону. Вместо социально сознательной личности, воспринимающей общественное благо как единственный смысл и содержание жизни, в социалистическом инкубаторе выросло и утвердилось социальное животное, паразитирующий потребитель, полностью передоверивший государству не только свои права, но и свои элементарные обязанности. Родился человек без

моральных принципов, творческого импульса и какого-либо правосознания.

Сегодня во всеобщей эйфории гласности и перестройки мир живет в ожидании социальных и политических чудес, которые якобы вот-вот социалистический Восток явит-таки наконец капиталистическому Западу. Но, увы, чудеса в нашем далеко не лучшем из миров давно канули в вечность. Запад может открыть Востоку любые беспроцентные и безвозмездные кредиты, Международный валютный фонд может предоставить все свои наличные и безналичные резервы, а господин Аньелли подарить все свои заводы и даже личное имущество, этим они, конечно, весьма укрепят военный потенциал реального социализма, но не окажут ровно никакого влияния на состояние его общественной экономики. Разве что Запад возьмет Советский Союз на свое полное иждивение. Советский человек новой формации не хочет, не умеет и не будет работать, ибо он давно забыл, что это вообще означает: работать.

На этот счет в нашей стране бытует анекдот. Горбачев говорит сотрудникам:

— Но ведь посмотрите, в Чехословакии получается.

А сотрудники отвечают ему:

— А где же мы возьмем столько чехов?

Но если говорить всерьез, утопия никогда и не ставила перед собой экономических задач. Она всегда задавалась лишь проблемой распределения. Даже «Капитал» Маркса — книга не о развитии эффективной экономики, а только о справедливом перераспределении. Поэтому блеф об экономическом крахе советской и вообще социалистической системы необходим ей для дезинформации мирового общественного мнения. В экономической сфере она обеспокоена лишь своим катастрофическим для нее отставанием от Запада в области военной технологии. Американская «Звездная оборона» грозит превратить весь ее арсенал вооружений в обыкновенный металлический лом. К тому же война в Афганистане показала, что ее армия практически небоеспособна. Почти пятьдесят процентов советских ракет на этой войне просто не взрывалось. В этом, на мой взгляд, и таится разгадка нынешней перестройки и гласности: попытаться с помощью глобальной дезинформации получить от Запада все, чего не хватает Системе, чтобы если не превзойти, то уравниваться с ним в осна-

щении военно-промышленного комплекса и, таким образом, нейтрализовать американскую «Звездную оборону».

На мой взгляд, даже если бы в Советском Союзе вдруг действительно возникла демократия, понадобилось бы по крайней мере два поколения людей, чтобы возродить в нашем обществе волю к труду и правосознанию. Но, к сожалению, для этого нам понадобился бы собственный Моисей, которого я, увы, в Горбачеве и его соратниках не вижу. Пока что у нас слепые ведут за собой слепых и выхода из утопической пустыни они не видят. Если же, не дай Бог, нынешний советский генсек по-настоящему зрячий, то, судя по тому, что происходит у нас в стране, он сознательно ведет свой народ к тоталитарной пропасти. Недавние события в Китае могут послужить нам поучительным предостережением.

Утопия мстит за эйфорическое доверие к себе. Соблазнив человека немедленным решением всех его духовных и социальных проблем, она в конечном счете ломает ему природный хребет и заводит общество в исторический тупик. Прежде чем вернуться к своему естественному состоянию, человек на Востоке должен прежде всего разогнуться. Разогнется ли он, успеет ли? Вот в чем вопрос. Но только в этом, на мой взгляд, наша Надежда.

ВНИМАНИЮ АВТОРОВ, ЖИВУЩИХ В США

Согласно новым правилам издательства «Ульштайн», высылающего гонорары нашим авторам, проживающим в США, издательству необходимо знать личный номер от финансового управления – EIN – № или SSN – №.

Просим при присылке рукописей в редакцию сообщать также этот номер.

«Континент»

«БУДАПЕШТСКАЯ ВЕСНА»

Самым веселым баракком в социалистическом лагере называли когда-то в мире Венгерскую Народную Республику, а с недавнего времени еще и самым свободным. Еще бы! Ведь на последнем пленуме компартии этой страны было принято беспрецедентное в тоталитарном мире решение о постепенном переходе к многопартийной демократии. «Венгерскую контрреволюцию» 1956 года открыто переименовали в Народное восстание, реабилитировали мятежного кардинала Миндсенти, восстановили «доброе имя» Имре Надя. Дело дошло до того, что власти разрешили Европейской радикальной партии провести в столице страны – Будапеште – свой очередной съезд. Одним словом, не страна, а оазис Свободы. Так сказать, образец подражания для социалистических соседей.

Во время предварительных переговоров венгерское руководство заверило лидера партии Марко Панелла, что организаторы не встретят со стороны властей никаких препятствий в проведении этого съезда, в том числе и по отношению к участию в нем советской, восточноевропейской и эмигрантской оппозиции. Но, судя по всему, венгерские товарищи несколько поспешили с оптимистической переоценкой брежневской доктрины «ограниченного суверенитета».

После долгих и унижительных для обеих сторон проволочек Венгерское посольство во Франции (явно под давлением «старшего брата») в конце концов отказало во въездных визах приглашенным на съезд русскому писателю-эмигранту Владимиру Максиму и представителю болгарской оппозиции в изгнании, редактору журнала «Бъдеще» Ценко Бареву, а советские коллеги поддержали их, не пустив в Будапешт известного советского правозащитника, редактора неофициального журнала «Гласность» – Сергея Григорянца.

То же самое, кстати сказать, проделали недавно «либеральные» польские власти с Владимиром Буковским, приглашенным в Краков на вполне легальную Международную конференцию прав человека.

Эти частные, на первый взгляд, эпизоды текущего времени красноречиво свидетельствуют, чего стоит грязная демагогия советской и восточноевропейской пропаганды о якобы происходящей в социалистическом лагере всесторонней демократизации. Кокетливый грим псевдолиберализма не в состоянии-таки стереть с лица коммунистической диктатуры ее глубоко бесчеловечную сущность.

ИНТЕРНАЦИОНАЛ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Наша почта

Уважаемый «Континент»!

Помнится, года полтора назад Кронид Любарский мрачно посетовал, что «бесцензурная русская проза третьей эмиграции не произвела ничего, кроме жалкого подобия литературы». Как можно понять, сердце независимого редактора «Страны и мира» щемяще стосковалось об утраченном благотворном воздействии цензорского досмотра, – но, конечно, не только о нем. Жалкость нашего прозябания, глухо намекают нам, порождена оторванностью от родных корней, истоков, почвы; если что и оживит угасающее Зарубежье – приток свежей крови из метрополии. Может, оно и так, но ведь эмигрантские журналы никогда и не отворачивались от изгнавшего нас отечества, всегда – и в первую очередь – открыты они для русского Самиздата. И можно только приветствовать, когда в наши заросшие ряской журнальные заводы заплывают оттуда крупные лещи, залетают красавцы-селезни. Вот и № 59-й «Континента» украсился вдруг 26-ю рассказами Владимира Солоухина, россыпью «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет» – такого подарка нам ли не оценить, не принять руки, протянутой «поверх барьеров»! Тем более, что дебютант «Континента» – не какой-нибудь отщепенец или неудачник, ему открыты двери всех столичных редакций – кроме тех, разумеется, куда он сам отвращается войти. В литературной табели о рангах он у верхнего предела, а кто в этом сомневается, тому он сам гордо напомним: «Я тоже если не генерал, то почти генерал». Кому и по какому поводу он это говорит, речь впереди, а покауда опустим ложно-скромное «почти» – генерал! Без сомнения, генерал!

И поначалу даже кажется излишним, когда нам то и дело дают почувствовать, в каких сферах обретается и вращается это литературное светило: с крупными деятелями печати, «кадрами ЦК ВЛКСМ», он пьет пиво и ест воблу в Домжуре*, инструкторы ЦК КПСС посвящают его в свои мужские похождения, случалось ему побеспокоить звонками заместителя предсовмина РСФСР Качемасова и министра Фурцеву, а из

* Дом Журналиста. – Г. В.

квартиры Ивана Стаднюка поздравить с Крещеньем пенсионера Молотова; в длительных зарубежных турне общался он с советскими послами и лидерами соцстран, по градам и весям США его сопровождает переводчик госдепартамента, с иноземными достопримечательностями знакомит ответственный сотрудник советского консульства. Когда однажды в нашем посольстве не узнали Солоухина и охранник потребовал документы, это было такое «чепе», что написался отдельный рассказик («Наконец-то родное...»).

Вся ли уже визитная карточка или что-то мы упустили? Да ведь Владимир Алексеевич упустить не даст! Извольте познакомиться, кто у него на свадьбе в 1953-м были гостями: со стороны невесты муж ее сестры – теперь, стало быть, свояк Солоухину, – Евгений Александрович Неручев, «чуть ли не начальник орловской тюрьмы», со стороны жениха – тот самый «кадр ЦК ВЛКСМ», с которым пиво и воблу... Вся анекдотическая соль рассказика («Обознался») состоит в том, что оба эти гуся вместе учились пять лет в высшей школе КГБ, и по каким-то идиотическим правилам этого заведения им нельзя в обществе выказывать знакомство друг с другом; тюремных дел свояк это правило нарушает, «кадр» ему где-то в туалете делает внушение... Не густо для сюжета, но ведь это как светская хроника, в ней не то важно, кто и что сказал, а – титулы приглашенных. Нам бы, конечно, страсть как хотелось узнать, чему же там, чёрт дери, учат целых пять лет, в этой «высшей школе КГБ», – обращению с импортной подслушкой? организации «наружного наблюдения» топтунами, под видом влюбленной парочки или распития на троих? или как расколоть диссидента, не прибегая к «недозволенным средствам»? – и в кои-то веки выпало автору узнать эту жгучую тайну из первых рук, но, к сожалению, этим с нами не спешат поделиться. Впрочем, создается представление о свадьбе, а еще больше – о женихе. Чуден мир русского писателя на переломе XX-го века, диковинно его окружение, благоуханны и питательны родные корни, истоки, почва...

Задумаешься: а к чему бы это автору, как в песне Галича поется, «окликать стражников по имени»? Из одного тщеславия? Но, право, после министра Фурцевой, с которой был «в общем знаком», или посла в Венгрии Андропова, с которым «общались мы, общались», тюремщик в чине подполковника уже как-то не смотрится. К тому же, ко всей этой номенкла-

турной фауне автор относится без почтительного благоговения, скорее благодушно-насмешливо. С удовольствием подмечает их человеческие слабости, мелкие грехи; под его пером предстают люди понятные и безобидные, ничуть не страшные. Люди как люди. Похоже, весь сокровенный смысл этого «окликанья» – если есть хоть какой-то смысл, – втянуть и нас в общение с ними, исподволь к ним приручить, дать пообвыкнуться в их кругу.

Здесь оговорюсь: проникнуть в закрытую, чуждую нам среду и вытянуть на свет Божий эти хари и маски, нарисовать точные беспощадные их портреты – задача, достойная писателя. Да только портреты – неполны, и неполны заведомо. Для автора Андропов – властный, но и тактичный дипломат, разве что слишком подмявший ничтожного Матиаса Ракоши, но была же у него и главная заслуга – аргументированный доклад, призвавший обойтись с народным восстанием, «гремя огнем, сверкая блеском стали». Добродушный пенсионер Молотов – это тот, кто своим «металлическим скрипучим голосом» объявил, что «наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами», но еще и соучастник сговора с Гитлером и Риббентропом, но еще и ненавидимый миллионами зэков Вячик Карзубый, наподписавший на пару с батькой Усатым сотни групповых приговоров к ВМН*.

И сподобил же вашего автора Бог указать точную дату, когда поздравляли Вячика с Крещеньем: 19 января 1980 года. Трех недель не прошло, как свалилась на южного соседа наша братская помощь, и война еще не стала рутиной, гундосый Леонид Ильич еще не разобрался, где у Кармаля имя, а где фамилия, и обращался к нему: «Дорогой товарищ Бабрак!». Только что отзвучал в эфире протест Сахарова, вся же остальная страна примолкла в «единодушном одобрении». В гостях у военного писателя Стаднюка, наверное, говорили и об этой войне, и верилось, поди, двум патриотам, что она тоже закончится победой отечественного оружия, иначе – с какого вдруг пьяну, в такие дни, стали названивать Молотову? Тут знакомый скрипучий голос был ко времени и к застолью. «Дело... враг... победа...» – только и вспомнилось Солоухину, когда держал трубку. Увы, на сей раз дело было неправое, «враг»

* Высшая мера наказания. – Г. В.

и до сих пор не разбит, победа осталась за темными оборванными босыми «душманами».

И не скажешь, что это не рана душевная для Солоухина. В рассказе «Фантастический разговор» беседует он со старым знакомцем Андроповым, теперь уж генсеком и главой государства, испрашивающим у него совета, как добиться любви народа. Почему именно у Солоухина? А вот: «Считается, что вы стараетесь быть допустимо правдивым». Так скромно себя похваливши из высочайших уст, Солоухин выкладывает выношенное: послать подальше Фиделя, эфиопов и прочих нахлебников, сократить расходы на космос, пресечь колониальное разграбление наших недр и богатства духовного, сделать рубль конвертируемым, вернуть названия старинным городам, освободить народ от унижительной пропагандистской жвачки и т. п. Ну, а первым делом – «прекратить эту нелепую и дикую возню в Афганистане... Пусть афганцы сами решают свою судьбу». Программа обстоятельна и стройна, а генсек снисходителен и задумчив. Он не стучит кулаком по столу, но тихо соглашается: «Ну что же, может быть, я так и буду действовать».

«Надо ли говорить, – заключает автор, – что от неожиданности я на этой его фразе проснулся». Говорить не надо, мы уже в середине рассказа догадались, что нас разыгрывают. Но не то интересно, где Солоухин заснул, интересно – когда он проснулся. Этот рассказ достигает читателя посредством вольной независимой прессы, когда уже последний наш солдат, взяв шинель и каску, унес ноги с Афганщины, и сами афганцы решают свою судьбу, а безоглядно смелые наши публицисты решают уже другое – что нам делать со своими «афганцами», с теми юношами, которым и погордиться нельзя своей боевой доблестью и не найти себе места в жизни. Другие песни поет эпоха, и среди них едва различишь самую нехитрую, без труда отстукиваемую одним пальцем на фортепьянах, которая приходит на ум, когда читаешь таких смельчаков: «Чижик-пыжик, где ты был?»

Но позвольте, но была же и другая Россия, которая не только водку пила на Фонтанке или пиво в Домжуре, но и не смирялась со своей бесправной участью, протестовала открыто, жертвовала своей свободой ради свободы ближних и дальних. Был же и по поводу афганской «возни» знаменитый 119-й документ Московской группы «Хельсинки», подписанный

поначалу восемью безумцами – в их числе и одним литератором*, – затем еще тремя, еще четырьмя. Разумеется, и эту Россию Солоухин не обходит вниманием, двадцать лет спустя посвящает ей полстраничный рассказик «Демонстрация по-московски» – это о тех, кто вышел на Красную площадь в августе 1968-го. Этой демонстрации Солоухин не видел, описывает явно с чужих слов, и главный его интерес составляют не сами демонстранты – внук Литвинова и жена Даниэля, – а реакция публики:

«– Иван, глянь-ка, руки прочь от Чехословакии. Знать, напал кто-то на нее. Кто же?

– Немцы, наверное, кому же напасть?

– А может, американцы?

Пока ротозей судили и гадали: кто же напал на Чехословакию, подъехал воронок и обоих демонстрантов забрали».

Отметим, как живо схвачены мастерским пером эти ротозей, среди которых, конечно, не обошлось без Ивана, а главное, как они удачно рифмуются с мужичками из «Мертвых душ», критически оценивающими колесо чичиковской брички: доедет оно до Москвы или не доедет. Но на самом деле ротозей могли видеть исход не столь мирный – «подъехали – забрали», а как при этом еще и метелили кулаками и ботинками, как выбивали зубы, а допрежь того они видели, что демонстрантов было не двое, малость побольше. Честь нации, запятнанную нападением на другую страну, может спасти и один человек; к нашей гордости, она была спасена семижды, и одна из этой семерки, состоящая в редколлегии «Континента» Наталья Горбаневская, могла бы и обидеться – если не за себя, так за других, хотя бы за покойного Вадима Делоне.

Впрочем, не станем сильно корить Солоухина, что не вник в детали чужой борьбы, довольно он был поглощен и собственной. Оно и правда, жизнь в советском отечестве так устроена, что на самых разных уровнях и в самых что ни на есть мелочах требуются изрядные усилия и мужество, чтоб отстоять свое достоинство и суверенность. Взять хоть «Историю с перстнем» – разве не хватала Солоухина за палец товарищ Афанасьева, курирующая московских писателей со стороны МК КПСС, не требовала отчета, зачем он носит кольцо с профилем «Николашки», разве не собиралось по этому

* Г. Владимовым. – Р е д.

поводу закрытое писательское собрание, не клеймил монархиста комсомольскими виршами седовласый Степан Щипачев, не внушал с глазу на глаз парторг Аркадий Васильев: «...ты одновременно носишь два профиля: на пальце – профиль Николая II, а на партбилете – Владимира Ильича. Так что выбери уж, пожалуйста, один из них...» Проникнемся мучениями выбора, но признаем и партторгову правоту. Когда у Высоцкого «на левой груди профиль Сталина, а на правой Маринка анфас», это соседство не столь антагонистское.

Но главный бой пришлось выдержать, главные силы души тратились, когда предложили сотрудничество с «органами». У Солоухина сложилось впечатление – «из многих разговоров с людьми из среды московской интеллигенции», – что это «в некие времена предлагалось если не всем, то почти всем, за редкими исключениями». Это, конечно, не так, и в некие времена, и теперь сколько угодно людей мечтают о такой чести, да им ее почему-то не оказывают. Чтоб понять, почему, и нужно, по-видимому, окончить высшую школу КГБ. Солоухину эту честь оказали (в чем я еще не вижу урона) – и вот перед ним извечная коллизия: писатель и тайная служба. Извечный, почти патологический интерес – увы, зачастую взаимный. Откуда это к нам тянется – от Бенкендорфа? Или еще из древности, из Греции или Рима, или от египетских папирусов? Вот и выпала редчайшая возможность задать вопрос напрямую, и не кому-нибудь – генералу: «А почему, собственно, так хочется вам знать, о чем говорят писатели на своих собраниях – если не из простого читательского интереса? Ваше дело – шпионов ловить и диверсантов, вот и займитесь своим прямым делом, а мы – своим. Когда же, наконец, перестанет Бенкендорф заниматься делами Пушкина?» Вместо этого Солоухин «качает права», напоминает – пусть не без достоинства – о своем ранге: «...мы с вами должны говорить почти на равных (?), мы с вами люди одного уровня (!). А что вы мне предлагаете теперь? Быть рядовым безымянным агентиком. Мальчишкой на побегушках! Почему вы должны быть генералом, а я у вас на побегушках, на мелком осведомительстве? Я тоже, если не генерал, то почти генерал».

Такой ответ, возможно, оценил бы и похвалил Фаддей Венедиктович Булгарин, но уже не Клим Иванович Самгин, «пустая душа»; он, по крайней мере, задался вопросом: «Почему – я?» Всё великое достоинство русской литературы,

такими трудами и жертвами завоеванное, рушится в солоухинской гордой тираде. Ему кажется, что он говорит жандарму: «Я не ваш и я не холоп!», но на самом деле он только набивает цену. «И прекрасно! – мог бы сказать жандарм. – Ну, а если не рядовым, не безымянным, а напротив, именитым и в звании полковника, да пусть и генерала? Если не агентшкой, а – агентом, агентом влияния? Если не на побегушках, а, скажем, в международных турне – вправлять мозги Западу, переводы в сознании совершать, наш образ жизни пропагандировать, революционную нашу перестройку?» Как тогда, Владимир Алексеевич? Можно и по рукам? «После этого разговора, – сообщает он, – меня ни разу не потревожили». И правильно, чего ж тревожить по мелкоте, а по-крупному – все конвенансы соблюдены, цена назначена и торг по существу состоялся, препятствий морального толка к сатанинскому сговору – не нашлось...

Если продолжить разговор о достоинстве русской литературы – и не одной русской, – если охота нам постичь «ментальность» такого явления, как Владимир Солоухин, обратимся к его, так сказать, «бэкграунду» – может быть, внесет дополнительный штрих рассказ «Старичок с интеллигентным лицом», может быть, что-то нам разъяснит. Признаюсь, тема его слишком чувствительна для грубых прикосновений, а я, наверное, и не вправе касаться по возрасту. Но – окупимся в воздух лета 1942 года, постоим перед комиссией, решающей судьбы 18-летних новобранцев – кого в какую часть направить, в какие войска, на какой фронт. Немцы уже под Сталинградом и на Кавказе, пали Ростов и Новочеркасск, приказ 227 за шаг назад предписывает расстрел на месте. И можно понять как дивную удачу, когда цитата из Блока – «Я не первый воин, не последний», – невзначай произнесенная голым Солоухиным, вдруг заставляет одного из членов комиссии, старичка с седенькой бородкой и в золоченом пенсне, вскинуть голову и всмотреться в стоящего перед ним и решить его судьбу иначе, занести в другую графу, где лишь одно место еще вакантно. Да, в тот блаженный миг это можно было почувствовать как избавление от казни. Но 47 лет прошло, и может быть, как-то иначе оценит свой выигрыш постаревший новобранец? Было известно, что войну Солоухин отслужил в Кремле, в «красивых охранниках», и всегда казалось, он о той службе говорить избегает, тяготится ею. Но вот оказывается, он ее и

сейчас воспринимает как сказку, а того старичка в пенсне – добрым волшебником из этой сказки:

«Надо знать, что значил в те дни Московский Кремль для всех советских людей, что олицетворял, какой был овеян дымкой, легендой, славой, чтобы понять применительно ко мне, деревенскому парню, новобранцу, обреченному на почти стопроцентную скорую гибель, это выражение „как в сказке“. Да, как в сказке, я шел по брусчатке Московского Кремля в его замкнутом, отделенном от всего мира пространстве, в его недосыгаемости от всех тогдашних военных лишений, бед и невзгод, включая тяжелые ранения, плен и смерть...»

Да, это не ахматовское «Я была тогда с моим народом – там, где мой народ, к несчастью, был», не ностальгия Виктора Некрасова по Мамаеву «бугру», Василя Быкова – по белорусским прострелянным лесам, не тоска слёзная поэтов-фронтовиков по окопному братству. Что замечательно у Солоухина – полная откровенность чувств; радость его чиста и не стыдлива, она не нуждается в оправдании, что и в Кремле, если на то пошло, «мужчины, мужчины, мужчины пути заступали врагу», ведь и родного генералиссимуса нужно же было кому-то охранять. Любопытно, однако: с такой позиции – как посмотреть на добровольца, избравшего иной удел? Глядя по-стрелецки меж зубцов кремлевской стены, можно и посмеяться над придурковатым Хемингуэем, трижды по собственной воле отправляющимся воевать на чужой континент, выходящим на утлой моторной яхточке в океан чуть не острогой таранить немецкие субмарины. «Мужчины, мужчины, мужчины, припомните званье свое!»* Да, соглашаешься, что едва ли три процента сохранилось тех мужчин образца 1924-25 годов, но отчего-то, кусая себе пальцы, жгуче завидовали им следующие поколения, которым не выпало этой страшной статистики. Может быть, оттого, что уцелевшие вернулись с кровавых полей с таким громадным опытом, которого ничем не заменишь и переоценить невозможно, он сделался едва ли не главной составляющей их таланта, духовным стержнем всей остальной их жизни. Так не сыграла ли с Солоухиным фортуна пусть веселую и забавную, но не такую уж добрую шутку? Впрочем, дело хозяйское. Но если вы не знали до сих пор, что такое русский патриотизм, – узнайте, господа. Это и по сей день пережи-

* Из песни на слова В. Солоухина. – Р е д.

ваемое радостное волнение, что миновала меня чаша сия, что не я, а другие, как воины царя Леонида при Фермопилах, «в землю эту легли, честно исполнив долг...»

Недавно по радио «Свобода» критик-энтээсовец М. Назаров объявил нам, что своими последними произведениями, опубликованными в эмигрантской печати, Солоухин «мужественно покаялся в своем прежнем коллаборантстве с властями». В первую очередь, надо думать, имелось в виду его живейшее участие в том позорном судилище над Борисом Пастернаком в октябре 1958-го. Судить по «Старичку с интеллигентным лицом», автор не из тех, кому бы хотелось хоть что-то из своего прошлого переиграть, он слишком ценит себя и любит. Впрямую – нисколько он не покаялся, мужественно воздержался, ну разве что однажды признался нехотя иностранцам, что вылез тогда на трибуну «по глупости», – но и это неверно, поступок был вовсе не глупый, а своевременный и обещавший хорошие дивиденды. Покаяния же косвенные, «своими произведениями», можно к чему угодно привязать, к тому, что аблоки в детстве воровал из чужого сада.

Надо признать, защищается Солоухин изобретательно: не причисляя себя к почитателям Пастернака, он обвиняет тех из них, кто промолчал, не вступился за «своего»; коснись беда, например, Астафьева, Алексеева или Распутина, он бы, Солоухин, «из последних сил, ползком, зажимая в зубах столовый ножик, пополз бы...»^{*} Как-то так получается (и слава Богу!), что беда не касается Алексеева с Распутиным, из-за чего янычарские подвиги Солоухина остаются в области обещаний, в угрожающем резерве; впрочем, пришлось мне наблюдать в недавнюю «эпоху застоя», как он и его друзья ни ползком не поползли, ни ножиком не погрозили за своего (Л. Бородин). Не требует признаний, что Пастернак ему был чужой, – но в таком случае отпадала и нужда участвовать в травле. Можно понять, когда страх выталкивал на трибуну почитателей, единоверцев подсудимого; в том и состоял дьявольский режиссерский замысел, чтобы «своя своих побивахом», но от противника или от нейтрального никто этого не требовал, их молчания никто бы и не заметил. А этого-то и не хотелось – остаться незамеченным.

^{*} В. Солоухин. Пора объясниться. «Советская культура», 6. 10. 1988. – Р е д.

Сказывают, покаяние — дело интимное, зачастую на людях упорствует человек, оправдывая свой малопристойный поступок, а в душе — осуждает. Но кажется мне, эти рассказы, или очерки, или эссе, как их ни назови, хоть арабесками, в отношении Владимира Алексеевича Солоухина не дают оснований для такого подозрения, в них много игривого самолюбования, самодовольства, но так мало нравственной боли. И ни в одном из этих опусов, охватывающих десятилетия жизни автора, его обвинение, укор или сожаление не обращаются к себе любимому. А иной раз мелочь какая-нибудь проливает свет и на интимное, сокровенное в области духа. Довольно пустой рассказик «Бархатный пиджачок», содержащий лишь ту информацию, что автор собрал богатую коллекцию русских икон, имеет, однако ж, примечательную концовку: «Надо ли уточнять, что на одну среднюю икону в Париже можно купить несколько тысяч бархатных пиджачков». Тут даже не в том дело, что наш православный коллекционер знает меновую стоимость своего духовного богатства, а в том, что мы до сих пор знали икону крестильную, венчальную, фамильную, чудотворную, а теперь вот узнали от Солоухина, что бывает икона «средняя»...

Письмо мое разрослось в рецензию, к чему я отнюдь не стремился, а только хотел объяснить, почему не могу поздравить журнал с чересчур значительным приобретением.

Ваш

*Георгий Владимов,
Нидернхаузен, Зап. Германия.*

ОТ РЕДАКЦИИ: К сожалению, передав в «Континент» цикл своих рассказов, В. Солоухин одновременно опубликовал часть этого цикла в московском журнале «Наш современник», что противоречит элементарной этике во взаимоотношениях между автором и издателем.

Многоуважаемый господин Максимов,

Я обращаюсь к Вам с просьбой помочь мне найти во Франции или в Германии адвоката, который мог бы предъявить иски советскому издательству за нарушение авторских прав и за плагиат. (Из Израиля этого сделать нельзя.)

Суть первого дела изложена в прилагаемом исковом заявлении, составленном по советской форме. Я полагаю, что судебный процесс поможет Горбачеву в разрушении режима, даже если это не его желание. Но объективно все, что он делает, идет в этом направлении и нужно помешать ему и его подручным затормозить этот процесс.

Вероятно, авторские права многих эмигрантов были также нарушены в СССР и если первое дело будет выиграно, можно будет продолжить. Публикация процесса в прессе, а также передачи по радио привлекут внимание публики, которая любит судебные дела.

С приветом

Проф. И. Коган

Приложение

Исковое заявление

в народный суд Октябрьского района г. Ленинград

Истец: Коган Иосиф Яковлевич, доктор технических наук, заслуженный изобретатель РСФСР, проживающий в Израиле, почтовый адрес: Тель-Авив, п. я. 14094.

Ответчик: Ленинградское отделение издательства «Машиностроение».

Ленинград, Д-65, ул. Дзержинского, 10

Сумма иска: 3 миллиона рублей за нарушение авторских прав.

1. В 1963 г. я был одним из авторов трехтомного «Справочника по кранам», изданного под редакцией проф. А. Дукельского Ленинградским отделением издательства «Машиностроение». В нем мною написаны две главы: башенные краны и мачтовые краны (см. приложение 1).

2. В 1972 г. я участвовал в переработке этого справочника для второго издания (см. копию письма Л. С. «Машиностроение» от 15 августа 1972 г. и квитанцию, подтверждающие, что

я получил верстку и после проверки вернул издательству в том же месяце).

3. Только недавно я случайно узнал, что 2-е издание вышло в свет в 1973 г., т. е. в год моего отъезда в Израиль, и в нем моя фамилия, как автора, не упоминается (см. приложение 3), а в 3-м издании 1988 г. появился новый автор.

Такое исключение моего имени является нарушением авторского права и наносит мне моральный ущерб.

4. Прошу взыскать с ответчика в мою пользу 3 миллиона рублей за нанесенный ущерб.

ОТ РЕДАКЦИИ: В последнее время письма такого рода мы получаем всё чаще и чаще. Поэтому редакция считает необходимым привлечь внимание читательской общественности и заинтересованных лиц к этой актуальной проблеме. Надеемся, она – эта проблема – может стать очередной пробой на подлинность объявленной в Советском Союзе политики гласности и перестройки.

Читайте в следующем номере «Континента»

Проза:

**Анатолий Найман, Юрий Лапидус,
Феликс Кандель**

Поэзия:

**Иосиф Бродский, Евгений Рейн,
Михаил Еремин и другие**

Публицистика:

**Виктор Кудрин, Альберт Леонг,
Алла Туманова и другие**

Критика и библиография

В ЖЕРНОВАХ ПОЛИТИКИ

Война – это продолжение политики, только другими, увы, гораздо более страшными и жестокими средствами.

Когда прекращаются баталии дипломатические, они часто просто-напросто переносятся на поля других сражений, уже настоящих, кровавых, чреватых, как мы знаем, жертвами, исчисляющимися поистине астрономическими цифрами. Дипломатия и политика как раз и подводят целые государства и народы на грань войны. В этом смысле их вряд ли можно считать делом благородным, каким бы благородным целям они внешне ни служили.

А не слишком ли?! – может спросить недоуменно или даже раздраженно читатель, склонный к политике. Нет, не слишком. Вы вынуждены будете убедиться в этом, если прочтете книгу Николая Толстого «Жертвы Ялты». Она вызывает тягостное впечатление, почти гнетущее. Но иного от нее нечего и ждать.

Драма, к подробностям которой обращается праправнук двоюродного брата Льва Николаевича Толстого Николай Толстой-Милославский, разыгралась между войной и миром. Ее режиссура готовилась совместно с советскими политиками и государственными деятелями – политиками и государственными деятелями демократий западного образца. Впрочем, применительно к этой драме понятие демократия, мягко говоря, неуместно. Режиссура разрабатывалась за столом переговоров в самое обнадеживающее для мира время – уже наметившейся неизбежности победы и окончания Второй мировой войны. Разрабатывалась она в прекрасном местечке – в Ялте. Конечно, вряд ли главы западных государств предполагали, какими чудовищными последствиями обернется вполне мирный, вполне гуманный документ, который они скрепили сво-

Н. Толстой. Жертвы Ялты. Перевод с английского Е. С. Гессен. Париж, ИМКА-Пресс, 1988 (Серия «Исследования новейшей истории». Под общей редакцией А. И. Солженицына).

ими подписями. Это был документ об обмене военнопленными, которые томились в нацистских лагерях и освобождались как советскими войсками, так и союзническими. Действительно ведь гуманно: помочь своим соотечественникам и на Западе, и на Востоке, судьбы которых перекорежило горнило войны, как можно скорее вернуться домой. Но этот документ на самом деле сослужил самую дурную службу: «...В 1944-47 годах западные союзники, – как пишет Николай Толстой, – выдали Сталину два с лишним миллиона русских, большинство которых постигла ужасная участь».

Сам по себе этот факт не новый. Он стал известен достаточно давно и достоверно. А когда вышло первое издание настоящей книги (по-английски), на нее обратила внимание британская и мировая пресса. Вопросы, поднятые в ней, вынудили поднять их в британском парламенте. В феврале 1978 года газета «Таймс» в редакционной статье заявила о необходимости ответа британского министерства иностранных дел на обвинение в том, что оно в годы войны и по ее окончании «проводило неверную политику» и тем самым способствовало гибели «множества ни в чем неповинных людей». Министерство иностранных дел, однако, отклонило запрос о публичном расследовании, не пожелав предать огласке тайные материалы архивов, «засекреченные на основании закона о тридцатилетней давности...» Срок этот вышел и, обратившись к этой истории, Николай Толстой приводит в книге множество новых, ранее не известных ни в печати, ни общественности документов.

Но, собственно говоря, о какой драме речь? Разве военнопленные не желали вернуться домой? Разве не было для них благом содействие возвращению? Прежде всего на эти вопросы надо дать ответ, так как если на Западе эта тема обсуждалась, то в Советском Союзе, в особенности современное поколение, о ней не знают ничего. Эта тема – закрыта.

Как неоднократно подчеркивает Николай Толстой в своей книге, многие военнопленные действительно хотели вернуться на Родину. Однако далеко не все. Очень многие, – а таких не десятки и не сотни тысяч, – не желали возвращения на родину. Они были репатриированы вопреки их желанию, вопреки их воле – насильно.

Надо бы подчеркнуть: в плен сдаются также не по своей воле. И плен, как познали на себе многие советские солдаты

и офицеры, – это ад. Но тем, кому удалось выжить и в этом аду, предстоял другой ад: ад плена и рабства на своей земле.

Цифры, которые приводятся в книге, ошеломляющие. Из 5,754 миллионов советских военнопленных, захваченных немцами, к моменту победы в живых осталось всего около 1,15 миллиона. Остальные не выдержали этого ада. К этой цифре надо добавить 2 миллиона советских граждан, вывезенных немцами на принудительные работы, а большая часть их предпочитала рабство репатриации. Наконец третья категория жертв ялтинского соглашения – это беженцы, которые с приходом немцев устремились на Запад. «После победы под Сталинградом, – как отмечает Толстой-Милославский, – на Запад двинулись целыми районами». Двинулись, спасаясь от советской власти.

Помимо цифр не в меньшей мере ошеломляют свидетельства о том, как встречали советских военнопленных на родной земле. По сообщениям ТАСС, по сообщениям советских радио и прессы, выдержанных в бодрых тонах, соотечественников, когда они вступали на родную землю, ожидал радужный прием. «Один за другим поднимались на импровизированную трибуну советские граждане, насильственно оторванные немецкими извергами от Родины, и выражали благодарность советскому правительству, товарищу Сталину за отеческую заботу о них...» Это из сообщения ТАСС о прибытии из Ливерпуля в Мурманск 10 139 мужчин, 30 женщин и 44 мальчиков. Прибыли они в знаменательный день – в очередную годовщину Октябрьской революции.

Глазам очевидца, британского майора Кригина, тот же эпизод представился совсем в другом свете, о чем он известил свое министерство иностранных дел: «7 ноября в Мурманске я возвращался в машине из штаба военно-морской миссии в порт. По дороге мы миновали длинную колонну русских репатриантов, шедших под конвоем с судна «Скития» в лагерь за городом. У меня создалось впечатление, что с ними обращаются, как с военнопленными вражеской армии. Охранники были вооружены винтовками, на 10-15 пленных приходилось примерно по одному конвоиру. Никаких признаков теплого приема я не заметил».

Но, – как отмечает Толстой-Милославский, – за кулисами творились вещи пострашнее: весь день 7 ноября до слуха лейтенанта норвежской армии Гарри Линдстрема, прибывшего

в Мурманск с тем же транспортом, что и военнопленные, доносились автоматные очереди. Советские офицеры на его вопрос о том, что происходит, ответили, что они не знают. «На это норвежский репортер Олаф Риттер не без сарказма заметил, что это, вероятно, дают салют в честь советских военнопленных, вернувшихся из Англии».

Из-за одной колючей проволоки – прямо за другую колючую проволоку. Из-под дула автоматов немецких – под дула советских автоматов. Часто тут же, в портах, одних пленных отделяли от других, отводили в сараи, в помещения складов или на пустыри – и расстреливали. А для того, чтобы сопровождавшие пленных иностранные офицеры и солдаты не слышали «салюта» – грохота автоматных очередей и ружейной пальбы, – прибегали к шумовым эффектам: поднимали в воздух самолеты, и они кружили на бреющем полете, либо включали пилорамы...

Постыдная страница дипломатии и политиков! Прежде всего, конечно, советских. В то время как смершевцы разгуливали по Европе, как у себя дома, выискивая новые жертвы, шантажом и угрозами заставляя возвращаться на родину тех, кто надеялся избежать этой участи, советские дипломаты лицемерно проявляли на словах заботу о своих соотечественниках, требовали лучшего ухода за ними в местах пересылок, добивались, чтобы их прилично кормили, а перед отправкой выдали непременно новую форму, снабдили сменой теплого белья. Достаточно же им было вступить на родную землю, их, измученных, предельно измотанных в фашистских лагерях, тотчас же попросту грабили: снимали и новую форму, отбирали белье, одевали в лохмотья: помимо того, что это была настоящая и жесточайшая война против беззащитных и безоружных своих соотечественников, – война эта была еще и мародерская.

Но эта страница постыдная и для западной дипломатии, прежде всего, в данном случае, для британской. Об участии пленных в Советском Союзе МИД Великобритании извещался многократно. Но оно, министерство иностранных дел, которое возглавлял тогда Иден, предпочитало держать эту операцию в тайне. Пленных силой заталкивали в кузова грузовиков, в железнодорожные вагоны, загоняли на палубы морских транспортов.

Можно вслед за Николаем Толстым приводить эпизод за эпизодом, сцену за сценой (одну отвратительней другой), как в буквальном смысле бросались под дула автоматов английских и американских солдат те, кого, как скотов, загоняли в грузовики для отправки в СССР (среди них были женщины и дети), как обреченные на гибель или каторгу просили, умоляли расстрелять их здесь же, на месте, но не передавать советским. Наконец, можно приводить множество случаев самоубийств, иногда массовых, — но важнее проследить ту систему приводных ремней дипломатии и политики, раскручивавших жернова, которыми перемалывались жизни и судьбы, добавляя к неисчислимым жертвам войны новые жертвы: на сей раз жертвы мирной профессии — дипломатии.

Управление этой системой, как показывает Толстой-Милославский, находилось исключительно в руках чиновников МИДа. Приводил ее в движение глава министерства иностранных дел Энтони Иден, безропотно подчинявшийся требованиям Москвы. Чиновники британского МИДа требовали неукоснительного выполнения соглашений. Ни генералы, ни офицеры, ни тем более — солдаты, чьими руками совершалась эта беспрецедентная расправа, — не имели возможности остановить ее жернова. И самое, быть может, страшное, на что неминуемо обратит внимание читатель, — тот контраст в отношении к этой акции политиков, с одной стороны, и военных, с другой. Чиновники МИДа оказались куда более равнодушнее, хладнокровнее военных. Для последних, казалось бы, страдания привычны, а значит, и сочувствия от них нечего было ждать. Но именно они, военные, привычные к смертям, вероятно, и сами смотревшие неоднократно в глаза смерти, оказались сострадательнее чиновников: потрясенные, они зывали к МИДу, умоляя спасти обреченных. Чиновники МИДа отвечали: «Мы связаны ялтинскими обязательствами и должны их выполнить. Мы ничего не можем сделать».

Жернова политики так же, как жернова войны, равнодушны и безразличны к человеческой личности или, вернее, враждебны к ней: они преспокойно перемалывают человека в порошок, в муку, не ведая ни капли сострадания. Дьявольской силой приводятся в движение эти жернова.

Пока что мы обходили один наисущественнейший момент.

Что касается беженцев, гражданских лиц, насильно вывезенных на работы в Германию, что касается тех, кто уже нахо-

дьясь в фашистских концлагерях, вынужденно пошел в так называемую трудармию, что касается обычных военнопленных, — их драма вызовет естественное сочувствие любого читателя. Однако к судьбам значительной части репатриированных читателей несведущий может испытывать неприязнь, даже враждебное чувство. Речь о тех, кто, обратив оружие против своих же собратьев, воевал на стороне немцев. Надо заметить, что и у западных союзников особого сочувствия они не вызывали: к предательству отношение одинаково везде.

Вряд ли автора книги «Жертвы Ялты» можно заподозрить в оправдании предательства, когда он стремится разобраться в мотивах и сложнейших обстоятельствах, приведших сотни тысяч бывших советских солдат и офицеров в стан врага. Николай Толстой делает различие между теми, кто совершил предательство, и теми, кто видел врага в Сталине и коммунизме и открыто выступил против них. «Власовец» — почти для любого советского человека — презренное прозвище. Но говоря о Русской освободительной армии, созданной немцами под командованием генерала Власова, Николай Толстой отмечает, что жесточайшая ее трагедия состояла в том, что и в Красной армии русские сражались «во многом за один и тот же идеал». Он приводит слова бывшего фронтовика Виктора Некрасова, который объясняет, почему он воевал за советскую власть в 1941-45 годах:

«Мы думали, что, положив конец фашистскому рабству, мы и сами спасемся от тирании. Мы надеялись смыть собственной кровью позор предвоенного советско-германского пакта, мы думали, что проклятое прошлое никогда не вернется, и именно благодаря этой надежде я оставался в партии».

А вот слова другого бывшего фронтовика, служившего в Красной армии, оказавшегося в плену после того, как его бесчувственное тело было извлечено немцами из-под одесских развалин, и позже вступившего в армию Власова:

«Вы думаете..., что мы продались немцам за кусок хлеба? Но скажите мне, почему советское правительство продало нас? Почему оно продало миллионы пленных? Мы видели военнопленных разных национальностей, и обо всех них заботились их правительства. Они получали через Красный Крест посылки и письма из дому, одни только русские не получали ничего. В Касселе я повстречал американских пленных, негров, они поделились с нами печеньем и шоколадом. Почему

же советское правительство, которое мы считали своим, не прислало нам хотя бы черствых сухарей?.. Разве мы не воевали? Разве мы не защищали наше правительство? Разве мы не сражались за родину? Коли Сталин отказался знать нас, то и мы не желали иметь с ним ничего общего!»

Но и еще один документ, к строкам которого имеет полный смысл обратиться: «Ты знаешь, что мой комитет будет вынужден просить правительство о больших суммах денег для наших пленных, нам никаких денег не хватит, и сумма достигнет, страшно сказать, нескольких миллионов».

Так писала царю императрица Александра Федоровна в 1915 году.

Надо еще заметить, что военнопленные немцы в СССР содержались в гораздо более приличных, сносных условиях, чем собственные граждане, вернувшиеся из фашистских концлагерей и попавшие за колючую проволоку концлагерей отечественных.

Советское правительство не подписало Женевскую Конвенцию о военнопленных. Западные страны ее подписали. Но в данном случае, как показывает автор книги «Жертвы Ялты», обе стороны действовали заодно: это была откровенная сделка с правительством, которое человеческую жизнь ставит ни во что.

Мы уже многое знаем о том, сколь жестоким был этот век. Даже слишком многое. Хочется иногда отвернуться от этого знания, забыться хотя бы на время, уйти, дать передышку от этих впечатлений, от этих все новых и новых свидетельств о чрезмерных жестокостях. Что Бога гневить, теперешние времена, при всех наших мытарствах и бедах, в сравнении с прошедшими временами – это почти уже рай. Но все новые и новые свидетельства о перенесенных поистине нечеловеческих страданиях валяются и валяются на головы наших соотечественников.

Современникам надо знать прошлое, каким бы жестоким и страшным оно ни представлялось.

Николай Тюльпинов

БЕЛЫЙ БЕРЕГ СТИХОВ

В настоящее время читающая публика Запада все чаще переключает свое внимание на произведения писателей и поэтов из России – начав с признания советских имен, переходя затем к «антисоветским»... Во французском журнале «Пуэн» на одной и той же странице – портреты зав. отделом культуры «Огонька» Николаева, советского «черного юмориста» Владимира Сорокина, Андрея Синявского и поэтессы в изгнании Ирины Ратушинской, всего два с половиной года назад оказавшейся на Западе после многолетнего заключения в лагерях строгого режима, в Мордовии. Быть может, это – отражение попыток «приручить» непокорную элиту на родине и в изгнании. Известно, что для советской власти на сегодня главный рычаг – это именно интеллигенция, люди творческие, – и если они в эмиграции, их тем более стоит заставить работать на перестройку... Таковы парадоксы достопамятной горбачевской эпохи.

Однако стихи Ирины Ратушинской, собранные в сборник «В стране задумчивых вокзалов», изданные на двух языках (французский перевод осуществлен Франсуазой Лезур), – лирический репортаж о том, что забыть невозможно – даже если попытаться простить...

Сборник носит подзаголовок: «Тюремные стихи». Там собраны стихи, написанные Ириной Ратушинской в 1984-86 годах, и в конце почти каждого стихотворения – указано: Потьма, ШИЗО, пересыльная тюрьма...

На обложке сборника – лицо, где из-под все еще детской челки глядят глаза воительницы; рот, умеющий не только улыбаться, но и презрительно молчать в ответ на ненависть, злобу и жестокость. Энергичное лицо человека, привыкшего переносить страдания и не согнувшегося. И доказательством несомненности оказались стихи, написанные в ситуации, казалось бы, невыносимой для творчества!..

Однако мы знаем, что именно невыносимые условия вынимают из человеческой души силу духа, о которой вчера еще человек не подозревал.

Irina Ratouchinskaia. Au pays des gares pensives. Poèmes de prison. Edition bilingue. Trad. du russe par Françoise Lesourd. Ed. Christian Bourgois. Paris, 1989.

Итак, перед читателем, французским и русским, – стихи о «каменном режиме»:

Родина, ты мне врастаешь в ребра!
Погоди, помедли, не теперь!
Я тебя так редко помню доброй.
Ты свирепа, как библейский зверь... –

стихи написаны в тюрьме КГБ, в Киеве, родном городе Ирины Ратушинской. Сама она – польского рода, и, если можно говорить о свойствах характера, приобретенных генетически, – гордость и непокорность у нее в крови от предков-шляхтичей. А от гордости уже и благородное умение наслаждаться красотой в условиях, которые, как кажется, не дают возможность даже замечать эту красоту, говорить о ней, писать, окрашивая страданием увиденное и записанное:

Здесь от сырости голоса садятся,
Но цементную слизь прошибут пока.
Не напрасно всей конницею толпятся
Над землей Мордовией облака!
Все-то знают они – как своею шкурой,
Всей-то грязи липнувшей вопреки –
То задумчивы, то светлы, то хмуры,
Но всегда отчаянно высоки.

Правда, говорят, что стихи сочиняются лучше не в условиях умиротворенности – но когда жизнь вступила в борьбу с тобой. Когда есть что сказать – будь то любовь, горе, твое или общее – каким и стало для Ирины Ратушинской тотальное неблагополучие в тоталитарной стране. Из-за чего она и пошла путем правозащитников, страдая во имя этой страны, уготовившей ей такую участь.

Надо сказать, что в жестоких условиях человек склонен быть счастливым от всякой малости – хотя бы для того, чтобы сохранить свою личность от саморазрушения. Вспоминается старый анекдот эпохи одесских погромов: старого еврея распяли на двери его лавчонки. Когда пришли через три дня и спросили: «Больно?» – тот ответил: «Нет, что вы, только когда я смеюсь!» И вот такое неприятие страдания сказывается в творчестве И. Ратушинской – молодой и красивой женщины, в которой радость жизни пробивалась почти в каждом ее стихотворении, написанном в лагере!

Верьте мне, так бывало часто:
В одиночке, в зимней ночи –
Вдруг охватит теплом и счастьем,
И струна любви прозвучит...

Автор этих стихов, наполненных духовной энергией высокого напряжения, как бы предается некоему внутреннему ликованию. Жизненная сила пробивается родником – и чем больше давление, тем непокорнее биение ключа. Поэтическим материалом становится всё: и собственное воображение – и суровый мир неволи.

Умение отстраняться от несвободы и лететь своим воображением на все четыре стороны – что еще нужно для поэзии? Ведь удачная строка, строфа, слово – это и есть настоящая свобода. Но вот что удивительно – стихи Ирины Ратушинской на диво отделаны, как будто в ее распоряжении не нары, а комфортабельный кабинет, стол, лампа... Видно, пока эти строки не легли на бумагу, автор должен был их «писать и переписывать» тысячу раз в уме. И ее «тюремные стихи» обладают прихотливой формой, которая держится на классической основе. Но в них есть и дыхание конструктивистов – поэтов «южной», одесско-киевской школы, у которых для ритма так же много значили паузы, «воздух», как и написанные слова:

Перед боем
Кони щиплют клевер на завтрашнем поле боя.
Полководцы
Меряют циркулями поля – выбирай любое!

В ее стихах живут народные ритмы, консонансные рифмы – «вечером – замеченный», или же редкая рифма «Микеланджело – пляжами» – из тех, которыми обычно поэты гордятся.

И забота о мастерстве, презрение к материальным лишениям сочетается чуть ли не с детским сознанием, восприятием мира. У Ирины Ратушинской, среди стихов, созданных в лагере, есть даже детские – а уж это совсем большая редкость у поэта-зэка. Она могла бы стать превосходным поэтом для детей – по примеру старшего поколения, откуда столько мастеров эмигрировало в детскую литературу, превратив ее в такое «взрослое» дело, как спасение русского языка от языка советского! Притом в этих стихах для неведомых детей нет,

конечно, ничего умильно-сусального, они полны эксцентрики, которой настоящие поэты для детей учатся у обэриутов:

Завтра ли, сегодня
Обещали дождик,
Обещали с градом
Цветного горошка

.

У англичан с неба –
Собаки да кошки,
На Бермудах – вовсе
Дожди из лягушек,
А у нас – тряпки,
Рваные калоши,
Ненужные буквы,
Да мертвые души...

Конечно, такой грустный поворот уводит от детского смысла – но сама система сравнений, ирония, серьезная игра – тут, в этих стихах, все от взрослого, играющего с ребенком и одновременно с ним беседующего «на равных»...

Так воображение, умение радоваться, талант и четкая работа мысли боролись с абсурдом окружающей действительности в изнурительных условиях.

Эта высокая борьба, состоящая в неприятии тяжести, делает поэта героем, преодолевающим космические перегрузки силой Духа!

Зачем лукавить – биография Ирины Ратушинской сыграла столь же крупную роль, как и сами ее превосходные стихи, для того, чтобы эта поэзия дошла до Европы. Что ж – пути к читателю неисповедимы – и какой была бы слава Гомера, не будь он слеп, а Байрона – не будь он хром...

Однако, стараниями переводчика перед западными читателями представлен сборник, насыщенный стихами, разными по форме – то идущими от традиционно-классической метрики, то в свободной народно-песенной манере, но, как в метрическом плане, так и в отношении рифмы – они неизменно наполнены находками, неожиданностями, привлекают свежестью и оригинальностью системы образов – и, в конечном итоге, той неистребимой и неукротимой любви к прекрасному,

которые делают Ирину Ратушинскую не только одним из незаурядных явлений русской поэзии сегодняшнего дня, но и мерилом душевного благородства.

Кира Сапгир

МИФ О ПРЕДАТЕЛЕ

Кто такой Павлик Морозов, скажет вам любой школьник. О нем, как о Ленине или о Гагарине, дети узнают, едва переступив школьный порог, сначала как о героическом мальчике, чей портрет можно увидеть в каждой советской школе; потом, вступая в пионеры, они изучают его биографию, знакомятся с многочисленными книгами о юном герое, чтобы в жизни поступать как Павлик.

Всем известен его подвиг. Любой советский школьник вам скажет, что Павлик во имя счастливого детства сегодняшних пионеров боролся против врагов советской власти, донес на своего отца-кулака и за это был убит своими дедом и дядей, тоже кулаками. На протяжении вот уже почти шестидесяти лет этот герой не сходит со страниц книг, о нем написаны стихи, песни, поэмы. День его убийства включен в число памятных дат. Имя Морозова присвоено сотням улиц, парков, библиотек, тысячам школ, колхозам, лагерям, домам пионеров. Существует официальный миф, в котором Павлик канонизирован как «мученик идеи», так его иногда называли в юбилейных статьях.

В то же время наравне с официальным, примелькавшимся с детства образом пионера-героя 001 СССР существовало еще и личное отношение к нему людей. Его презирали как предателя.

В антимифе Павлик – доносчик, стукач, о нем сочиняли анекдоты, имя его стало нарицательным.

В компании про незнакомого могут спросить, не Павлик ли он Морозов, не наступит ли.

Юрий Дружников. Вознесение Павлика Морозова. Лондон, ОРИ, 1988.

Но в последние годы, пересматривая советскую историю, по-другому взглянули и на Павлика. Прежде всего, представление о кулаке, как о кровопийце, сосущем кровь народа, изменилось: вдруг заговорили о том, что если крестьянин жил не в нищете, имел не одну корову, а несколько и мог нанять рабочих себе в помощь, при этом работая наравне с ними и привлекая к работе всю свою семью, значит, он умел трудиться и организовать свое небольшое сельскохозяйственное производство. Сейчас кулака называют фермером, но на протяжении всей советской истории его считали капиталистом, эксплуататором. В кулаке была сила деревни, и, уничтожив кулака, советская власть подорвала устой сельского хозяйства страны.

Переосмыслили и сущность подвига Павлика. Выдав своего отца-кулака, одного из тех, на которых держалась русская деревня, он совершил предательство, противоречащее нормам морали и нравственности.

Книга Юрия Дружников «Вознесение Павлика Морозова» – развенчание мифа о юном доносчике, из которого сделали национального героя Советского Союза. Это первое сопоставление официальной легенды с историческими документами.

Казалось бы, что еще можно добавить к образу Павлика? Дружников делает в условиях советской действительности невероятное: он приезжает в Герасимовку, глухую сибирскую деревню, на место событий, встречается с очевидцами, оставшимися в живых, и в восьмидесятые годы впервые, пятьдесят лет спустя, узнает, что же произошло на самом деле в Герасимовке в 1932 году. К этому времени теоретическая база террора против крестьян была узаконена. «В борьбе против врагов Советской власти, – писала «Правда», – мы не остановимся перед зверством». За десять дней до убийства Павлика Морозова вышло постановление правительства, разрешающее расправляться с кулаками на месте без суда и без права амнистии. Лозунгом стал афоризм М. Горького: «Ели враг не сдастся, его уничтожают».

В ходе расследования Дружников выясняет поразительные факты: при жизни П. Морозова никто его героем не считал. Бегал по деревне неграмотный мальчишка, «переросток-оборванец», всегда голодный, от этого злой, и искал, где бы навредить. Вот все его и ненавидели. Так рассказывали о нем крестьяне Герасимовки. Когда, измученные голодом и нище-

той, они утаивали пару килограммов зерна, чтобы не сдавать государству, или не покупали навязываемые им облигации государственного займа, этим интересовались следственные органы. И Павлик нашел себе увлекательное занятие – выслеживать крестьян и доносить на них. Эдакий деревенский домо-рощенный Пинкертон. Одной из жертв доноса стал отец Павлика Трофим Морозов. Как выяснил Дружников, отца «пионера-героя» в деревне все уважали. На посту председателя сельсовета он старался облегчить жизнь крестьянам. Требуя от них выполнения поставок государству, он старался всегда снизить для них норму сдачи, хоть как-то помочь им. Поводом к доносу сына послужил факт, что Трофим Морозов, пользуясь своим положением, давал справки сосланным сюда крестьянам с Кубани и Украины. Благодаря этим справкам, ссыльные могли вернуться к себе в родные деревни. Если Трофим и брал за это деньги, рассказывали крестьяне Герасимовки, то главным образом на пьянки с районным уполномоченным в расчете на то, что тот будет милостивей к крестьянам и оставит им хлебные излишки. Об этом и донес сын. Как выяснилось, Павлик и пионером-то не был, и в школе почти не учился, и вообще отставал в умственном и физическом развитии от своих сверстников.

Черный юмор – мальчишка-хулиган бегают по деревне, следит за всеми, крестьяне его ненавидят, потом доносит на собственного отца, которого ссылают на Крайний Север, а из Павлика делают легенду. Но еще парадоксальнее конец этой истории. Согласно официальной версии, юного доносчика убили кулаки – его дед и дядя. Дружников разоблачает эту версию, и история, произошедшая в Герасимовке осенью 1932 года, кажется еще невероятнее. Автор книги считает, что убийство Павлика и его брата было инспирировано сверху. Нужен был показательный процесс, чтобы доказать, что кулак представляет собой враждебную силу. Но в Герасимовке уголовного дела не произошло. «Крестьяне были мирные, – пишет Дружников, – убивать друг друга не хотели». Согласно версии писателя, в Герасимовку присылают «наемного убийцу», должностное лицо особого отдела, «исполнителя», как его называет Дружников. Убийце, в принципе, все равно кого убивать, лишь бы убийство было зверским, но поскольку свежи еще были воспоминания о суде над Трофимом Морозовым, «исполнитель» подловил в лесу Павлика, а

заодно и его брата и убил их, скорее всего проколов их штыком винтовки, не слезая с лошади, чтобы не оставлять отпечатков подошв. Затем «исполнитель» сам доводит до сведения герасимовцев, что в ОГПУ поступило сообщение о политическом убийстве в их деревне. «Исполнитель» сам контролирует и розыск трупов, и похороны мальчиков, которые было приказано провести без формальностей, производит обыск у ничего не подозревающих родственников Морозовых, находит нож, штаны и рубаху с пятнами крови, потому что накануне дед Павлика зарезал теленка. Дело об убийстве согласовывалось и увязывалось в инстанциях. Оно очищалось от ненужных улик, лишних свидетелей и подгонялось под заранее подготовленную для пропаганды форму: «Убийство пионера, представителя советской власти, кулаками и их агентурой». Обвиняемые упорно отказывались взять вину на себя. Суд происходит без адвоката, с самого начала над подозреваемыми повис меч «презумпции виновности», экспертизы вещественных улик суд не потребовал. В результате обвиняемых признали виновными в убийстве на почве классовой ненависти и приговорили к высшей мере социальной защиты. Итак, без доказанной вины расстреляли трех глубоких стариков: деда 81 года, его жену 80 лет, за скрывшие преступления, и их зятя 70 лет.

Конечно, интерпретация событий, данная в книге, – это лишь версия автора, в которой, как утверждает Дружников, есть значительный процент вероятности. За давностью времени многие факты уже установить невозможно. Но несомненным остается факт, что убийство Павлика Морозова было совершено для запугивания крестьян и ускорения коллективизации. «Морозов стал героем потому, что такой герой понадобился, – утверждает Дружников. – Аппарату пропаганды предстояло создать образ человека, наделенного нужными качествами...»

Книга волнует, заставляет задуматься, и дело не только в документальности фактов, которые ошеломляют читателя. Главное – это обобщения, которые делает автор. Воспевание подвига «юного доносчика» – еще одна грань сталинизма, миф о Павлике выражал сущность строя и коммунистической морали, где донос подавался как новое качество новых людей, а предательство было доблестью.

Юрий Дружников сумел убедительно развенчать этот миф. Появление его книги чрезвычайно важно именно се-

годня, когда в Советском Союзе начались перемены. Книга эта не принесет удовлетворения, а, наоборот, добавит еще больше растерянности, смятения, ужаса в души людей, которые только теперь узнают правду о своем прошлом, осознают то безумие, в котором жила страна на протяжении десятилетий. Но этот процесс неизбежен и необратим, это процесс очищения и возвращения к нормам человеческой нравственности и морали.

Ольга Миронова

«ПУТЬ К ПАДЕНИЮ И ПОЗОРУ»

Воспоминания Владимира Дмитриевича Набокова – исторический документ, свидетельство очевидца, наблюдавшего трагедию – падение Временного правительства и последовавший за ним большевистский переворот.

Видел происходящее В. Д. Набоков «из первых рядов»: все первые месяцы Февральской революции и вплоть до октябрьских событий он был управляющим делами Временного правительства, а впоследствии, по разным поводам и при различных обстоятельствах находился с ним в постоянном тесном контакте, не принадлежа официально к его составу. Эти записки включены в первый том «Архива русской революции» – капитального двадцатитомного издания, составленного под руководством И. В. Гессена – друга и единомышленника В. Набокова.

Владимир Дмитриевич Набоков – видный член кадетской партии, юрист, один из редакторов «Речи», – был членом Первой Государственной Думы. После падения Временного правительства перебрался в Крым и там во время Гражданской войны входил в состав Крымского правительства. В 1919 году В. Д. Набоков с семьей эмигрирует. После года, проведенного

Владимир Набоков. Временное правительство и большевистский переворот. Предисловие Михаила Геллера. Overseas Publications, Лондон, 1988.

в Лондоне, переезжает в Берлин. Здесь, вместе с И. В. Гессеном, редактирует газету «Руль».

Жизнь В. Д. Набокова оборвалась 28 марта 1922 года: он пожертвовал жизнью, заслонив собою своего друга – Милюкова, главу конституционно-демократической партии (кадетов).

В. Набоков всегда восхищался Милюковым – видным политическим деятелем. Однако не мог не признавать, что «Милюков жил в крайне неприятный для его личных дарований исторический момент...»

Волею судеб, Милюков, профессор-историк, оказался у власти в такое время, когда стране прежде всего нужна была сильная и властная рука человека, не колеблющегося и не отступающего перед решительными действиями. А Временное правительство, взвалившее на свои плечи неслыханно трудную задачу управления Россией, – как будто предавалось иллюзиям. Руководство хотело верить в конечный успех (да и как было найти силы без подобной веры?).

Но «перегрузки» начинают сказываться с самого начала – после отречения Николая Второго и безуспешной попытки передать власть Великому Князю Михаилу – свидетелем и активным действующим лицом был сам В. Д. Набоков.

«Пережив все горькие разочарования, – пишет Набоков, – все ужасы, все унижение и весь позор этого кошмарного года революции, стоя у разбитого корыта истерзанной, загаженной, расчлененной России, я спрашиваю себя: не было ли больше шансов на благополучный исход, если бы Михаил Александрович принял тогда корону из рук царя?» Его ответ – как политика и как юриста: нет. Такая передача, по его мнению, была бы актом незаконным – ведь не существовало и не могло существовать никаких правил для процедуры отречения императора и – тем более – престолонаследия! И все же, если бы Михаил согласился, по мнению В. Набокова, сохранилась бы преемственность аппарата власти, сохранились бы основы российской государственности, которые обеспечивали бы этой монархии конституционный характер. Тогда сам собою был бы устранен вопрос о созыве Учредительного собрания во время войны – вопрос, который В. Д. Набоков в своих записках называет «роковым»...

В результате отказа Великого Князя Михаила принять, как он говорил, «навязанное ему наследие» – наступил раскол;

Милюков и Гучков решили выйти из Временного правительства, повествует далее В. Набоков. Тем не менее, он полагает следующее: отказываясь от престола, Вел. Кн. Михаил передавал тем самым всю полноту власти Временному правительству – и таким образом акт об отказе от престола, подписанный Михаилом, был единственным актом, определявшим prerogативы и формы функционирования этого органа власти. По словам В. Набокова, «в тот момент, в самые первые дни революции, когда еще было совершенно неизвестно, как будет реагировать вся Россия и иностранные державы-союзники на переворот, на образование Вр. правительства, на все создавшееся новое положение, – это казалось бесконечно важным». Лишь с большим трудом В. Набокову удается тогда уговорить Милюкова остаться во Временном правительстве – его уход еще подтолкнул бы катастрофу.

Насколько эта катастрофа – падение Временного правительства – была неминуемой? Во многом автор связывает ее с наличием в составе правительства Керенского.

Критика Набоковым именно Керенского – особенно интересна в этих мемуарах, где дается прямо-таки убийственный его портрет: «Его внешний вид – некоторая франтоватость, бритое актерское лицо, почти постоянно прищуренные глаза, неприятная улыбка, как-то особенно открыто обнажавшая верхний ряд зубов... Самолюбие его – огромное и болезненное, а самомнение – такое же... Трудно даже себе представить, как должна была отразиться на психике Керенского та головокружительная высота, на которую он был вознесен в первые недели и месяцы революции... Но несомненно, что с первых же дней душа его была «ушиблена» той ролью, которую история ему, маленькому человеку – навязала и в которой ему суждено было так бесславно и бесследно провалиться... Если он действительно был героем первых месяцев революции, то этим самым был произнесен достаточно веский приговор этой революции».

О личности самого автора записок можно судить не только по ним самим, но и по воспоминаниям его сына – всемирно известного писателя Владимира Набокова. Тот писал: «Он был наделен ровным характером, выдержкой, сильной волей, ярким юмором (...) Он не терпел мешканья, неуверенности, мигающих глаз лжи, не терпел ничего приторного и

притворного (...) А что за прелесть была в его речи, в какой-то особой плавности и стройности слога...»

Одновременно из мемуаров самого В. Д. Набокова проступает словно бы прототип будущей повести В. В. Набокова «Истребление тиранов», таким прототипом мог стать Керенский – его лично не выносил всей душою интеллигента и аристократа В. В. Набоков! Несомненно, из рассказов отца эта «фигурка, фигура, фигурища» – «на первый взгляд, третьеразрядный фанатик, а в действительности самодур, жестокий и мрачный пошляк с болезненным гонором – когда такой человек наряжается богом, то хочется перед богами извиниться».

Однако – при всех этих отрицательных свойствах эсера-Керенского, занятно все-таки, что критиковал его так беспощадно представитель умеренной центристской партии конституционных демократов. Кстати сказать, верный принципу объективности, В. Д. Набоков воздаст должное и этому неприятному ему человеку (точно так же давал он довольно беспристрастную оценку деятельности Милюкова – за которого пожертвовал жизнью); временами в Керенском, по словам В. Набокова, проявлялись «подлинное горение, патристический энтузиазм»...

Правые, во главе с Корниловым, обвиняли Керенского в преступной мягкотелости. Говорили, что он – главный виновник того, что большевики пришли к власти. И при чтении книги В. Набокова «Временное правительство и большевистский переворот» лишний раз убеждаешься в правильности вывода А. И. Солженицына: это социалисты открыли для коммунистов путь в те годы междуцарствия, – когда Ленин произнес слова «Есть такая партия!» – и поднял власть, которая валялась на мостовой... Ибо социалисты всегда боятся скорее удара справа, нежели слева. Керенский боялся более Корнилова, нежели Ленина – чем и расчистил последнему путь к власти.

Вскрывает автор и внутренние противоречия, связанные с войной: переворот, говорит он, будучи фактическим результатом военного бунта, не мог не привести армию к разрушению дисциплины и разложению. Армия становится питомником большевизма, очагом заразы. «Известно, что в первое время многие наивные люди думали, будто Германия... должна убедиться, что «сознательная» русская армия, завоевавшая себе свободу, будет для нее гораздо страшнее... Не знаю, верил

ли кто в самом деле этому вздору... А между тем незаметно и помаленьку начался подкоп против лозунга «войны до победного конца», во имя другого – «мир без аннексий и контрибуций»... Уже давным-давно доказано, что такого принципа – «без аннексий и контрибуций» – выставить было нельзя, что это принцип двусмысленный и практически не дающий никакого разрешения ряду вопросов», – пишет В. Д. Набоков.

Итак, с вопросом войны, этим, по Набокову, «оселком всех революций», Временное правительство справиться не смогло. Как не смогло и поставить ребром вопрос о самой власти – которую следовало удержать, опершись на Государственную думу и расправившись с растущей анархией. «Теперь уже стало ясно видно, что именно в эти бурные дни впервые после торжества революции открылось на мгновение уродливо-свиное лицо анархии», – подытоживает В. Д. Набоков свой мартиролог Временному правительству, – в дни, когда предательский политический расчет умело воспользовался легковерием, если не сказать легкомыслием, русских либералов, взявших на себя неподъемную задачу управления Россией.

Записки В. Набокова, которые он писал в 1918 г. в «медвежьем углу» в Крыму, занятом немцами, отрезанном от России, были им начаты ровно год спустя после пути, приведшего страну «к падению и позору». Они ценны тем, что вскрывают перед историками закулисные ходы политической жизни, которые так часто бывают решающими для судеб страны. Кроме того – это и воспоминания живого свидетеля самых сверхсекретных совещаний, о которых практически ничего не известно из-за ревнивой подозрительности Керенского. Есть в книге В. Набокова и ряд точных «репортерских» зарисовок с натуры: как соратников – Милюкова, Гессена, Гучкова, кн. Львова, так и противников – Керенского, большевика Урицкого.

В. Д. Набоков закончил свои записки картиной захвата власти в Петрограде большевиками – «печального и постыдного дня», когда Временному правительству был нанесен последний удар. Но, верный благородному принципу – обвинять в своих бедах для начала самого себя, – В. Набоков пишет: «...в этот день с особенной яркостью высказались отрицательные черты нашей „революционной демократии“, ее близорукая тупость, фанатизм слов и формул, отсутствие государственного чутья».

...После переворота В. Набоков оказывается под стражей в Смольном, выходит чудом на свободу – и вынужден вскоре навсегда покинуть страну, а заодно и веру в ту революцию, которую так горячо призывали лучшие представители интеллигенции того времени!

И – именно из-за беспристрастности, объективного взгляда, трезвого суждения, когда ничто, казалось, не давало такой возможности – книга «Временное правительство и большевистский переворот» является драгоценным пособием для историка этих годов катаклизма.

Ибо историческое свидетельство ценно тогда, когда пишущий соблюдает два правила: не допускать никакой сознательной лжи или искажения правды – и быть искренним, вполне и до конца.

К. С.

ОДНА ЧАСТНАЯ ПЕРЕПИСКА (БОРИС ПАСТЕРНАК – ОЛЬГА ФРЕЙДЕНБЕРГ)

Письма этих двух невымышленных лиц, вышедшие отдельной книгой, имеют – ничто не может запретить нам отнести ее в класс художественных сочинений – качества, почти потерянные нынешней прозой. Книга сыра, прекрасна, страшна, подробна, глубока, грандиозна. Видимо, катарсированный житель древних Афин покидал сооружение амфитеатра после осмотра хорошей трагедии приблизительно с тем же чувством, с каким мы, сопроводив жест глубоким вздохом, откладываем прочитанную книгу.

Канонически образцовой личностью может быть только достаточно круглый идиот, преподнесенный в плоском, обобщенно-безличном виде. Идея идеала, стоит в нее взглянуть, даже трогательна своим безнадежным инфантилизмом. Подобная чушь, противоречащая самому простому жизненному опыту, могла забраться в подкорку разве что человеку, чрезвычайно занятому на работе крайне неприятными веща-

Борис Пастернак. Переписка с Ольгой Фрейденберг. Нью-Йорк, Harcourt – Brace, 1981 (ныне эта переписка издана в СССР).

ми. Твердокаменные теоретики обычно садятся на стул с квадратным хрустом коленей. Из-за чего, каждый легко мог или может убедиться в этом собственноручно, вымыть послеобеденную тарелку в мойке какого-либо режимного государства – умопомрачительно трудоемкая операция. Человек делается объектом гончей травли со стороны бытовых и профессиональных неурядиц, даже если он ничего особенного не хочет. В отношении к самому себе начинает господствовать бесхозяйственность. Самодовольное, несколько отдаваемое в зоб, туговатое мычание «а что мы не люди что ли на четвереньках-то» (здесь тональное совпадение с богатыми залежами русской прозы последнего столетия) – единственная, апологетического типа отдушина.

В «Переписке» течет жизнь двух людей, занимающихся своими ежедневными делами, переживающих критические минуты, имеющих некоторые радости, часто с головой уходящих в работу, но не видящих в себе роком разыгранных добыч. Толчки, подзатыльники, встряски, контузии, переломы, которые они зарабатывают почти в каждой жизненной ситуации, не идут им впрок – не сознаются как один принцип. Взгляд их обоих, когда направлялся в сторону пришедшего удара, косил. В Пастернаке и Фрейденберг на более чем богатом количестве примеров мы наблюдаем проявления двух альтернативных отношений к страданию.

Двоюродная сестра по отцу Бориса Пастернака Ольга Фрейденберг, сколько можно судить, была умна и образованна (профессор древних, преимущественно мертвых, языков), своевольна, склонна к решительным поступкам, горда, обидчива, застенчива, сердечна, привязчива, догматична, критична. Стиль ее писем непреднамерен. Обыкновенно она пишет средней длины фразами, энергично, прямоком, часто занижая и огрубляя высказывание, чтобы придать ему как бы увесистую естественность, и пользуясь смелыми метафорами. Ее темы: она сама вообще и в несправедливом страдании. «Я читаю твои страницы, в которых утоплена такая бездна горделивой задушевности и почти беспристрастного, почти пластического, т. е. не нуждающегося ни в чем и ни в ком, ни в даже разумной причине, страдания», – однажды замечает, как правило, воздерживающийся от прямых характеристик сестры Пастернак. Часто ее речь настолько нечутка к границе банального, что в юности вызвала как-то грозный, свистя-

щий, осторожный намек Пастернака. Позднее он перестал обращать на это внимание. Дела Ольги Михайловны регулярно заходили в тупик, по поводу чего она писала полные негодования и недоумения по поводу непонимания – Пастернак мог вполне не понять, ибо его сестра почти никогда не упрощала дела до внятно сформулированной просьбы, – письма, на которые Пастернак отвечал с участием, готовностью, оправдываниями – пользующийся верховным покровительством, посильно служащий народу поэт. Широкий водоворот писем подобного рода часто обрывался вместе с перепиской – иногда на годы. Ольга Фрейденберг сравнительно поздно самоопределилась как ученый-филолог; вскоре она выдвинулась, штурмуя самозабвенным трудом древние тексты. Ее своеволие и упрямство (обратная сторона ее робости) сделали ее штатным аутсайдером, исключительно пресная политически позиция которого, возможно, предохраняла ее от репрессий. Повинуясь характерному инстинкту неподвижности, она всю жизнь прожила вместе с матерью в одном и том же городе практически безвыездно – в Ленинграде. С последним фактом связаны самые страшные дни, месяцы, годы, пришедшиеся на блокаду, ее жизни. Это было в прямом смысле беспредельное страдание, которому любая условность сюжета, идеи, формы должна была положить конец, в жизни, однако, оборачивающийся стартовой линией для очередного захода. В этом какой-то жуткий, крошечный, монотонный, утомляющий даже читателя, трагизм жизни женщины. Она, как ей казалось – и отчасти так оно и было, – ждала смерти как освобождения. Смерть же столь мало считалась с ее пожеланиями, как жизнь. Ольга Фрейденберг скончалась неподготовленной, не оставив никаких распоряжений относительно архива своих неопубликованных рукописей, которым очень дорожила. Начинает казаться, что встреча со страданиями содержит для нее нечто, что полностью нейтрализует здоровое желание их избежать, превращая ее в вызывающе готовую ко всему ожидальщицу. Входя в человека, особенно со сбитыми литературой живыми инстинктами, страдание напитывает патетическим чувством нарциссически затененное отношение к действительности; заполняется, собственно, пустое место. «Я в жизни пережила много горя, и самого реального, житейского; в 17 лет я чувствовала страшную усталость (...) Я могу всюду жить – если этого потребует жизнь – и быть всем, чем угодно, –

и все это будет вне меня и везде буду только я», – писала она в 1910 году в ответ на любовное разъяснение-затемнение Пастернака.

«Помнишь ли ты еще полдень с кричащей собакой и пропадающими Ангелями, – писал ей тогда Пастернак, еще не прошедший два, музыки и философии, тура развития. – Вечер наступал быстрее, чем мы. Мы вообще почему-то ленились», – выводит он самую узнаваемую из будущих своих фигур.

Общий объем прозы, за четыре с половиной десятилетия в конвертах отправленной сестре, не многим уступит «Доктору Живаго». Пастернак был запрашивающей, Фрейденберг – отвечающей стороной. И хотя письма служили обмену мнениями, нет впечатления, что Пастернаку могло это быть необходимо. Их эпистолярное соотношение не было равным уже из-за статуарной страдальческой позы Ольги Фрейденберг, сообщавшей переписке атмосферу непроветренного помещения. Что же, спрашивается, действительно получал Пастернак с письмами сестры?

Общепризнанно и как будто верно, что Пастернак – один из крупнейших поэтов этого столетия. Между ним поэтом и им человеком существует связь, направление причинности вдоль которой – в смысле обусловленности, – как и, видимо, в других подобных случаях, непроницаемо. Очень возможно, что эта проблема, как заблудившаяся логическая операция, относится к числу мнимых.

Пастернаком избираются для изображения предпочтительно стремительно сменяющиеся состояния, относящиеся к – и так и придерживающиеся – объективности, но поданные в виде впечатлений. Станина его философии – осанна мирозданию. Из интонаций чаще всего звучат или имеются в виду восклицательные. Две черты пастернаковской поэтической манеры: динамичность изображаемого (на деле, следствие динамичности изображающего) и подставление пластического себя для отпечатывания объективности – стоят в параллели с чертами пастернаковского характера, выводящими из дискомфорта в ситуации ограниченной свободы. В его поэзии вполне может поразить отсутствие способности постоянно, независимо, твердо думать и использовать идейные методы организации стихов наряду с образными, при явно свободном владении интеллектуальным языком как, до известной степени, языком родным. Думать значит быть судьей происходя-

щего. То есть, некоторым образом, выходить за рамки обычных полномочий. Думать значит освежевывать явление. То есть, некоторым образом, выходить за пределы обжитых и любимых поверхностей. «Физическое ощущение бесконечности, корнящееся во всяком общем положении, так перевешивает у меня интерес к его содержанию, что я его изложением жертвую из-за какой-то зябкости, из страха озноба, который для меня неминуем на этом пустыре. Оттого-то и захвачено у меня одно второстепенное, и сколько бы я ни писал, теза осталась неназванной» (письмо от 18. 10. 33). Советский модус существования делал холод бесконечности пуще лютого. Обтанцовываемый и огибаемый Пастернаком пыточный аспект действительности особенно был неприятен, как объект сосредоточенности – Пастернак ограничивался острым, но ни на чем не задерживающимся взглядом – и привел его к зрелости, несколько совмещенной с идиотизмом. Такова его «неслыханная» поздняя простота, которой он почти по рассеянности забывал доложить смысла.

Его колоссальный, в принципе влюбленный в свободу, творческий дух производил свою работу в четырех стенах, сложенных из стихийно набранных очевидностей. Пастернак вырывал слова из сковывающих их словосочетаний, а последнее – из держащих их контекстов, чтобы заново образовывать речь по своему чрезвычайно тонкому идиоматическому чутью. Ему свойственно беспрецедентное богатство легко приискиваемых способов словоприменения. Ни один русский поэт не передавал никогда предметных поверхностей так досконально и избыточно, как Пастернак, чем он достигал совершенной свободы. Почти любое его стихотворение разрабатывается в вариационном ключе, где от катрена к катрену (чем ограничивалось его строфическое разнообразие), по-разному выражаясь, прокручивается одна простая мысль. Предметом стихотворения – в этом смысле Пастернак совершил в поэзии припозднившийся эстетический переворот – становится, таким образом, сам язык. Поздний стиль, хотя и произвел на свет ряд шедевров, не расширяет масштаб Пастернака, так как, приостановив самопроявление языка, не вышел с самопроявлением мысли. Чтобы вызреть в своей глубине, Пастернаку нужно было мягкое солнце обычного человеческого заката – ежедневное, постепенное погружение бытия в небытие – без подстегивания, тряски, брани, общения со шпаной в

государственных креслах. Взять за данность околокатастрофическое маятниковое движение, предоставляющее возможность созерцать отсюда туда и оттуда сюда, что колоссально освобождает от вторичностей, не всегда, впрочем, вознаграждая первичностью, было для него неприемлемо, ибо пустота – обязательная на некоторой фазе – всего человеческого влечет несуществование любви. Агонизировать в пустыне мертвой любви (эротической, дружеской, семейной) Пастернак был не в силах. Так далеко, как его в некотором смысле старший ровесник – «сегодня ангел, а завтра – червь могильный, а послезавтра – только очертанье», – он не заходил. Он вырос в любви (оранжерею преуспевающего еврейского семейства одно поколение отделяло от малообразованного мещанского слоя – вдобавок частное движение поддерживалось общим – тогдашней русской культуры) и жил в любви. В нем неизгладимо присутствует паинька-мальчик, с возрастом заменивший отношение к любимым родителям на отношение к объективности. Ему не с чего противиться императиву, когда он усматривает за ним любовь и целесообразность. В его мемуарах возведена галерея его кумиров. Взвихренностью настроений и подчеркнуто импровизационной техникой стихосложения он, вероятно, обязан своему отцу. Часто вспоминаемые за ним приступы скромности являлись изнаночной стороной вступления в должность жреца искусства по праву наследования с сохранением к делу доблести детской почтительности. Его поэзия есть не что иное – что, видимо, таким же образом предполагалось им самим, – как прекрасная, но вспомогательная и подчиненная ветвь великого дерева – не более, чем некое «также», на письме в декларативных предложениях обозначаемое как «–», «это – ночь, леденящая лист...» и т. д.

Поэзия не исчерпывала полноты его жизни. Из того, с каким легким сердцем он пожертвовал ей во благо прозы – стихи Живаго имеют всего лишь сопровождающий характер, – видно, что имелось нечто посущественней. На полдороге брошенные «живаговские» мотивы его ранней прозы и поэм обнаруживают свой навязчивый, неслучайный характер. Громоздкое, густонаселенное на манер высотного дома и костюмированное немного в духе национально-исторической оперы прошлого века, добротное отделанное сооружение «Доктора Живаго», предположительно, служит бессознательным прикрытием для сердцевинного субъективно-лирического взгляда

да. Прodelывая, казалось бы, обычный переход от поэта к историографу-художнику, престарелый Пастернак, вообще говоря, ничего не прodelывает. Он делает то же, что делал раньше. Взгляд, с которого написан «Доктор Живаго», набран из примет общестного личностного типа пастернаковского круга, групповым автопортретом которого и памятником он является в конечном счете. Любовью ли, слишком неопределенно звучит это слово, было то, что отстаивалось замечательным его пером, или стоит приискать что-нибудь поточнее. По крайней мере, он никогда не испытывал духовного одиночества, его литература питалась противоположным. Благотворный, с эйфорией, просветляющий и смягчающий чувства ритм его обращения с бумагой – он всегда работал усердно и усидчиво – был ему как бы дачей в отдалении от нагромождения серых, казенного типа, преступлений. Пролыстывая его письма, видишь, как он с прыткой и благородной грацией, получив свое, «вытекает» из зоны нанесения ударов, состыковывая всяким своим шагом куски серьезного труда. Тон его писем иногда задевал корреспондентку отстраненностью и как бы несоответствием. На самые мрачные известия он мог отозваться несколько сочиненной подачей породисто вытянутых общих фраз, погружаясь затем в описание зимних переделкинских сосен. Обе женщины (Ольга Михайловна и его тетя, Анна Осиповна) называли это набором эпитетом из известного ряда. Что при этом происходило в действительности, было несколько выше их понимания. В последнем, правда, Пастернак испытывал нужду много меньше, чем в просто родственной близости. Эти две женщины были почти единственным осколком его прежней семьи, оставшимся по сю сторону советской границы. Человеческое тепло тех, с кем ему было естественно делить содержание «мы», отмечало пределами его творчество: он не мог «вне» – ни в форме «до», ни в форме «за». Он писал сестре письма.

Михаил Бараш

А ЧТО ЗА КАДРОМ?

Любители советского кино на Западе часто сетуют на отсутствие книг, посвященных его истории и анализирующих фильмы, посвященные проблемам современного мира. Но, конечно, на это есть и своя причина. Ведь до начала так называемого «перестроечного цикла» самих фильмов было сравнительно мало и поклонникам десятой музы приходилось довольствоваться «сухим пайком», то есть старыми, изношенными лентами, которые, по весьма туманным причинам, были причислены к категории классиков мирового киноискусства. Правда, просмотр многих из этих «шедевров» зачастую вызывал вопрос о критериях, согласно которым тот или иной фильм имел право войти в десятку лучших произведений мирового кино.

Однако за последние несколько лет ситуация в советском кинематографе резко изменилась. В данный момент в любом большом городе Европы и Соединенных Штатов без больших затруднений мы можем посмотреть как новые, так и снятые с полки советские фильмы, затрагивающие самые злободневные темы современной России. Но растущее богатство зрительного материала лишь подчеркивает убожество книг, посвященных советскому киноискусству. В настоящее время сложилась ситуация, когда те, кто ищет дополнительные источники информации, не удовлетворившись одним лишь просмотром, вынуждены констатировать безуспешность своих поисков. Таким образом, обилие на экранах, увы, не сопровождается таким же обилием книг, рассматривающих взлеты и падения деятелей советского кино.

В какой-то мере книга Семена Чертока «Стоп-кадры» восполняет этот пропуск. Но, конечно, сборник личных воспоминаний ни в коей мере не является киноэнциклопедией, наподобие всемирно известной «Истории мирового кино» Жоржа Садуля. В частности, в книге Чертока представлены размышления о судьбе нескольких художников, которым пришлось работать в одну из самых трудных для русского народа эпох.

Главное положение автора, на котором основывается его работа, не вызывает сомнений. С. Черток видит всю историю

Семен Черток. Стоп-кадры. Лондон, «Оверсиз», 1988.

советского кино как борьбу между партократией и художниками. Автор представляет этот конфликт в самом начале книги, говоря о борьбе между «ними и нами», как бы предопределяет роль этой необъявленной войны, войны света и тьмы. В очерке «„Они“ и „мы“» автор пишет: «История советского кино – это история несостоявшихся судеб и сломанных биографий. Ставшие в нем держимордами и погромщиками Донской и Герасимов начинали как талантливые художники – Герасимов, в частности, был одаренным актером. Кончившие карьеру ординарными социалистическими реалистами Роом и Райзман вступили в кинематограф свежими и новаторскими фильмами „Третья Мещанская“ и „Круг“. Всемирно известный киноэкспериментатор Кулешов перестал вообще ставить фильмы после бездарных „Клятва Тимура“, „Мы с Урала“ и „Сибиряков“ – фильма о том, как школьники сибирского села нашли трубку Сталина...».

Хотя в этой вечной борьбе сила власти и талант находятся в противостоящих друг другу позициях, это совсем не означает того, что идеология одерживает победу по всей линии этого фронта. И здесь Семен Черток признает: «Советское кино хотя и нивелировано, но не до конца, в нем работают художники, ищущие способ своими специфическими средствами, с помощью изображения сказать о том, что они думают о жизни. Ее напор заставляет идеологов искать компромиссные формулировки, кое-что прощать, на кое-что не обращать внимания. Режим безжалостен к слову, но порой прощает его интонацию, дающую выход скрытым в словах чувствам, сообщающую словам иную смысловую нагрузку. У талантливых авторов кинематографический образ преодолевает слово, делая его из покорного независимым».

В какой-то мере очерк «„Они“ и „мы“» выражает кредо автора, и все последующие идеи лишь только расширяют его точку зрения. В сборнике мы находим восемь очерков, шесть как бы центральных (то есть кроме «программного» «„Они“ и „мы“» и шутивого, под концовку, «Пальча») посвящены наиболее известным деятелям советского кино: «Уроки Эйзенштейна», «Советский несоветский режиссер», «Вольный сын экрана», «Феномен Отара Иоселиани», «Страсти по Андрею», а также военной тематике.

Интересно отметить парное расположение некоторых очерков, которые как бы освещают одну и ту же картину, но

с разных точек зрения. Особенно это заметно в очерке «Уроки Эйзенштейна» и «Советский несоветский режиссер», когда автор сравнивает персонажи Сергея Эйзенштейна и Михаила Ромма.

Речь, конечно, идет не о тождестве дарований, так как оба режиссера глубоко оригинальны, а скорее об их отношении к власти. Не оправдывая Эйзенштейна, надо все же сказать, что он, будучи принужден властью к постоянным уступкам, все же, хоть и под конец своей жизни, постановкой второй серии «Ивана Грозного» смог выразить протест против деспотии власти.

В то же время Ромм, после целого ряда верноподданнических фильмов, сделал великолепную в своем жанре картину «Обыкновенный фашизм», в которой он обличил любой тоталитаризм, показав тем самым свое отношение к эпохе сталинщины.

Интерес этих очерков состоит в сопоставлении терзаний и угрызений совести обоих режиссеров. Но, тем не менее, автора книги можно упрекнуть в недооценке роли второй серии «Ивана Грозного». Работа над этим фильмом, без сомнения, изнутри взорвала устоявшиеся было взгляды режиссера, изменив его собственное мировоззрение на 180°.

Чувствуется, что автор стоит скорее на стороне Михаила Ромма, и он сумел, опираясь на слова самого режиссера, его жены и близких, описать трагедию большого художника, который не смог полностью выразить самого себя в сложившейся тогда исторической и политической обстановке. Вот что об этом говорит сам автор: «Случай этот в кино и во всем советском искусстве уникальный – самооценка, сама по себе свидетельствующая о крупной и талантливой фигуре. Прославленный, признанный, почитаемый художник, отрекшийся от своего прошлого и сказавший о нем правду, вызвал к себе уважение, это реабилитировало его в глазах интеллигенции, отвечало ее потребностям». Таким образом, страницы, посвященные Эйзенштейну и Ромму, в какой-то мере противоречат утверждениям автора в очерке «„Они“ и „мы“», так как в них мы находим примеры художников, раньше или позже, но вернувшихся к истокам и в результате нашедших возможность выразить свои самые сокровенные мысли.

Очерки «Вольный сын экрана» и «Феномен Отара Иоселиани» также могут послужить примером двойной компози-

ции. Оба они являются наглядным свидетельством как давления со стороны партрежима, так и сопротивления их «подопечных». И как результат этой трагической борьбы является судьба Сергея Параджанова, квинтэссенция которой представлена в книге следующим образом: «Кого бы смутил такой человек в свободном мире? Какой власти стал бы поперек пути? А для советской оказался опасен – остроумием, мальчишеским озорством, независимостью характера. Может ли не раздражать тоскливых кинематографических чинуш, возглавляющих Госкино и Союз кинематографистов, человек и художник, для которого сама жизнь – искусство, непрекращающаяся игра, а искусство – продолжение жизни... С душой нараспашку, безмерно одаренный, бесконечно талантливый, ни на кого не похожий, он никак не вписывается в жандармскую атмосферу реального социализма, оскорбляет его самым своим существованием».

Отар Иоселиани олицетворяет судьбу менее трагическую, но даже и этот человек, обладавший неизмеримо большей выдержкой, чем Параджанов, даже он не смог продолжать работу на родине. Черток пишет: «Начальство его не любило, но уважало – за несуетность и неподкупность. Международные успех – премия критиков Каннского фестиваля 1968 года за «Листопад»; премия «За лучший иностранный фильм» картине «Жил певчий дрозд» на фестивале в Италии в 1970 году; премия критиков на Берлинском фестивале 1981 года фильму «Пастораль», успех, который в СССР присваивает себе государство как «достижение многонационального советского искусства», прошел незамеченным: о премиях лишь иногда глухо упоминали, и карьере режиссера они не помогли».

И далее, как пишет автор сборника: «В 1980 году начался новый, „заграничный“ период его творчества: бывшему „невыездному“ разрешили работать во Франции, он снял в Париже телевизионную новеллу, а затем полнометражный фильм „Любимцы луны“». Здесь Черток отмечает, что творческая работа Иоселиани на Западе не закончена и об этом периоде еще надо писать. Сейчас можно также предположить, что для такого режиссера откроются новые горизонты и на родине.

Переходя к военной тематике, которой посвящен очерк «Война продолжается», надо сказать, что без нее советская кинематография просто немыслима. Автор критически отно-

сится к этой всеобъемлющей теме, которая царит в советском кино практически со дня его зарождения.

Не оспаривая положительной роли таких фильмов, как «Чапаев», а позже «Летят журавли» и «Баллада о солдате», Семен Черток указывает на трафаретность и лживость фильмов о войне. Несмотря на некоторые положительные моменты, отмеченные автором, его нельзя не упрекнуть в том, что он не до конца раскрыл историческую роль таких фильмов, как «Солдаты» по сценарию Виктора Некрасова, «Чистое небо» Чухрая и «Живые и мертвые» Столпера.

Автор делает слишком большой упор на фильмы, которые должны были вызывать ненависть, забывая о том, что для многих режиссеров эта тема служила лишь предлогом для представления человеческих чувств и страданий.

Заканчивая разбор книги Чертока, нельзя не сказать об Андрее Тарковском, без имени которого немыслима современная советская кинематография. Темой очерка «Страсти по Андрею» стало странное сплетение судеб автора и его героя Андрея Рублева. Горько звучат слова о посмертной славе кинорежиссера:

«Советская власть обожает покойников – они безопасны. С Тарковским сделали то же, что с Маяковским, Шалапиным, Прокофьевым, Эйзенштейном и Пастернаком: после смерти «реабилитировали» и объявили чуть ли не певцом советского строя».

Книга «Стоп-кадры», конечно, не дает исчерпывающей панорамы истории советского кино. Но, тем не менее, она заполняет некоторые из пробелов и в этом ее главное достоинство. Однако остается вопрос: увидел ли автор в полной мере то, что было за кадром разбираемых им кинолент и судеб их авторов?

Борис Шлаен

ЭТА КНИГА БЫЛА ПЕРВОЙ...

«Катынь» Юзефа Мацкевича, вышедшая впервые сорок лет назад по-немецки и изданная с тех пор на многих языках, наконец вышла и по-русски. Будучи первой книгой о катынском преступлении, она в некоторых отношениях по-прежнему превосходит труды, в которых собраны более полные и богатые данные (среди них, вслед за Ю. Мацкевичем, подчеркнем капитальный труд проф. Заводного «Смерть в лесу. История Катынского массового убийства», а кроме того, вышедшую в польском подполье уже в наши дни и несколько лет назад изданную в русском переводе книгу ныне покойного вроцлавского историка Ежи Лоека – под псевдонимом Леопольд Ежеский – «Катынь»). Однако в книге Юзефа Мацкевича сочетается то, чего нет и не может быть ни в одном труде позднейшего историка: точность историка-документалиста, собирателя прямых и косвенных свидетельств, и впечатление очевидца.

Мацкевич, по предложению немцев и с разрешения польского подполья, побывал в Катынском лесу во время вскрытия массовых могил. И сегодня, когда о катынском деле известно, кажется, все (и только партийные историки из смешанной польско-советской комиссии «делают открытия»), глава «Мои катынские открытия» продолжает оставаться неоценимым свидетельством. Перед нами – человек, который не только смотрит и ужасается, но и оценивает увиденное, отделяет правду от гитлеровской пропаганды. Немцы, в восторге, что наконец-то раскрыли на русской земле гекатомбу, устроенную большевиками, при использовании этого факта в своей пропаганде, как водится, местами передергивали: преувеличили число захороненных в Катыни жертв, поскольку слышали, что в СССР пропало больше 10 тыс. польских офицеров; умолчали о гильзах от патронов со штампом немецкой фабрики; при описании тел обошли молчанием труп женщины, для них необъяснимый (а она была летчицей, офицером польской армии).

«Я сам помню, как Словенчик [старший лейтенант немецкой полевой жандармерии. – Н. Г.], вылезши из могилы «L»,

Юзеф Мацкевич. Катынь. Перевод с польского Сергея Крыжицкого. Лондон (Канада), «Заря», 1988.

названной так из-за своей формы, и отряхнув песок со своих тяжелых полицейских сапог, сказал мне наедине, когда мы отошли подальше от могилы, так как я с непривычки не мог дышать ужасным трупным воздухом:

— Дело, простите, не в том, по какую сторону наши чувства. Вы — поляк, и вам, наверно, неприятно и обидно, что мы устраиваем такую... ну, скажем, грубую пропаганду в свою пользу из вашей трагедии. Но должны же вы признать, что с нашей, немецкой точки зрения, мы были бы сумасшедшими, если бы, наткнувшись на такой пропагандный козырь, не воспользовались бы им, не разыграли бы его, не превратили бы в политическую акцию!

Я все время держал платок, прикрывая нос и рот, и Словенчик, вероятно, не увидел, согласен я с его доводами или нет. Но, объективно говоря, с немецкой точки зрения, этот вопрос не подлежал никакому сомнению».

Немецкая пропаганда, в основе которой лежала правда, вызвала в ответ бешеную советскую контрпропаганду, тем более неистовую, что ее инициаторы еще лучше знали правду и отдали приказ лгать. А следующим результатом стало... смущенное молчание западных союзников. Они были союзниками не только СССР, но и Польши, однако не поколебались при выборе между державой, совершившей преступление, но обладавшей несметными войсками, и польским правительством в лондонском изгнании, с которым СССР разорвал отношения сразу после того, как оно предложило, чтоб катынским делом занялся Международный Красный Крест. История молчания союзников, прерванного лишь во времена «холодной войны», рассказана в книге Мацкевича страстно, но, увы, беспристрастно. В этом отношении особенно поразительным выглядит рассмотрение катынского дела в Нюрнбергском трибунале, где преступник сидел в судейском кресле:

«Мрачный фарс разыгрывается, несмотря на полную осведомленность о подлинном положении вещей. В руках польского правительства в Лондоне находится громадное досье катынского дела, которое было послано многим государственным деятелям, о чем упоминалось выше, но и судьям Трибунала, представляющим Великобританию, Соединенные Штаты и Францию, — в качестве доказательного материала. При таких обстоятельствах судьи не могут отговориться незнанием дела, так как им представляется возможность

тщательно с ним ознакомиться. Но они этого не делают – просто потому, что не хотят. И Трибунал, который принял к рассмотрению катынское дело по советскому обвинению, в то же самое время не допускает рассмотрения доводов другой непосредственно заинтересованной и притом пострадавшей стороны – польской. (...)

На процессе члены Трибунала явно и беспардонно пренебрегают всем и избегают всего, что могло бы помочь беспристрастному обсуждению катынского дела. Никого из занимавшихся в 1941 и 1942 годах розыском пропавших военнопленных не вызывали в суд в качестве свидетелей. Никого из представителей тогдашнего польского правительства, признанного всеми державами мира, кроме Германии и ее сателлитов. Никого из беспристрастных и нейтральных людей, которые собственными глазами видели экзгумационные работы, допросы свидетелей и проверку документов или даже участвовали в этом. (...)

И все же, несмотря на эту возмутительную процедуру, Трибунал не посчитал возможным вынести приговор по этому делу. (...) Фактически, как это следует из результатов Нюрнбергского процесса, преступление остается загадкой, а преступник не найден».

В послесловии 1983 года автор рассказывает, как этот заговор молчания был наконец пробит. (Важную роль в этом сыграло и издание книги Мацкевича.) В октябре-ноябре 1951 года Специальная комиссия Конгресса США для исследования обстоятельств массового убийства в Катыни «допросила 103 свидетеля, исследовала 220 документов и вещественных доказательств, приняла к сведению свыше 100 письменных показаний тех, кто не смог лично предстать перед комиссией».

Среди тех, кто не смог ни лично предстать перед комиссией, ни прислать письменных показаний, был Иван Кривозерцев. В своей книге, сразу после описания Нюрнбергского процесса, предвзяв главу «Исповедь Ивана Кривозерцева», Юзеф Мацкевич пишет:

«Сейчас, когда я это пишу, политическая ситуация в Европе все еще такова, что я не могу сказать, где и при каких обстоятельствах я встретился с Иваном Кривозерцевым...»

Однако «длинная рука» советских чекистов, по-видимому, нашла Ивана Кривозерцева: в один прекрасный день он был найден, как предпочла счесть британская полиция, повесив-

шимся – а вероятнее, повешенным – в лесу близ казармы польских войск, к которым он прибил. Тем важнее донесенный до нас Мацкевичем голос русского рабочего из крестьянской семьи, рухнувшей под тяжестью коллективизации.

«В апреле [1940-го. – Н. Г.] шел транспорт за транспортом. Из Гнездова в Косогоры в Катыни возили днем в разное время, но никто не слышал, чтобы возили ночью. Мой родственник Ананий Андреев заговорил как-то со знакомым энкаведистом, обязанностью которого было следить в Гнездове за поездами, привозившими военнопленных. Этот энкаведист, фамилию которого я уже не помню, был из катынской волости и занимал некоторое время должность председателя сельсовета в Сырлиповецке. Потом он перешел в НКВД. Жилось ему прекрасно.

„Что будут делать с этими поляками? – спросил будто невзначай Ананий. – В лагеря их какие-нибудь возите, что ли?“

„В лагеря-а-а... – протянул энкаведист. – А где ты тут видел эти лагеря-то, а?“

„Правда, лагерей тут никаких вроде нет“.

„Так и нечего задавать дурацкие вопросы“. Он хлестнул прутиком по голенищу сапога и ушел.

А я знал одного парня, который давно, еще с 1937 года, был шофером одного из „черных воронов“ в Смоленске. Его звали Аким Разуваев, а в сокращении просто – Ким. От него я узнал, что смоленское НКВД только сопровождает железнодорожные транспорты из Смоленска в Гнездово и дальше – в Косогоры в Катыни. А расстреливают люди из минского НКВД – их специально сюда привезли. Наверное, такое было дано распоряжение, чтобы никакие подробности не стали известны местному населению, которое, конечно, не знало никого из Минска».

Именно Иван Кривоцерцев известил немцев о том, что в Катынском лесу имеются массовые захоронения польских офицеров. Он был среди тех, кто давал показания сначала немцам, затем Международной комиссии экспертов (созданной из судебных экспертов захваченных Германией и нейтральных стран после того, как СССР наложил вето на участие Международного Красного Креста в расследовании).

«Вообще-то каждый из нас прекрасно понимал, что этим мы зарабатываем себе у советской власти смертный

приговор. А у немцев дела на фронте шли неважнецки... (...)

Немцы не оказывали на нас никакого давления, ни при встречах с делегациями, ни на следствии. Если бы немцы кого-то при этом терроризировали или избивали, я бы наверняка знал. Не тот, так другой проболтался бы. Никого они и пальцем не тронули. Да и зачем бы им? Мы говорили правду, вот и все. А правда была им тут на руку. А о Киселеве могу сказать особо: он и до, и после слышал на оба уха, хоть и был старый. Руки у него были в порядке, крепкие. [Киселев, не ушедший с немцами при приближении линии фронта, выступал потом как свидетель перед советской комиссией. Утверждалось, что немцы выбили из него показания, отбив ему слух и переломав руку. – Н. Г.] Последний раз я видел его 24 сентября 1943 года. Он прощался со мной и пожимал мою руку своей правой, а левой держал какую-то веревку с узлом и еще придерживал тачку. Значит, обе руки действовали. А то, что теперь руки у него переломаны и он оглох, – этому я не удивляюсь. Скорей можно удивляться, что он еще живой. Если вообще жив...»

«Сообщение Специальной Комиссии по установлению и расследованию обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками в Катынском лесу военнопленных польских офицеров» приводится в книге Мацкевича полностью. Оно само по себе столь красноречиво, содержит такие вопиющие противоречия, что не только справедливо, но и легко сделать вывод, «что советская версия катынского злодеяния, содержащаяся в сообщении Специальной Комиссии, представляет собой ложь и сознательно сфабрикованную фальсификацию».

Книга Юзефа Мацкевича во многом напоминает вышедший после нее и неоднократно переиздававшийся труд «Катынское преступление в свете документов» – изданный по-польски с предисловием генерала Владислава Андерса, но без имени составителя. Основное отличие «Катынского преступления...» – в том, что оно опирается только на документы и показания очевидцев, что их число больше, чем в книге Мацкевича «Катынь» и что в нем, естественно, нет рассказчика от первого лица. Быть может, пришло уже время восстановить историческую справедливость и указать, что Юзеф Мацкевич был основным составителем книги «Катынское преступление в свете документов».

Н. Горбаневская

Условия подписки на журнал «КОНТИНЕНТ»

На один год – сорок нем. марок; на шесть месяцев –
двадцать нем. марок.

Цена одного номера – двенадцать нем. марок.

Пересылка за счет подписчика.

Подписка может быть оформлена в генеральном
представительстве «Континента» по адресу:

A. Neimanis · Buchvertrieb
8000 München 40 · Bauerstraße 28 · Germany

а также у корреспондентов журнала (адреса на второй
странице обложки) или у представителей «Ассоциа-
ции друзей «Континента»:

США: Вост. побережье – Э. Штейн (E. Sztein),
594 Chestnut Ridge Road
Orange, CT. 06477, USA

Генеральное представительство
«КОНТИНЕНТА»

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB
8000 München 40 · Bauerstr. 28 · Germany

По страницам журналов

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ

Сразу оговорюсь, что за годы так называемой гласности мне не доводилось читать ничего (кроме, может быть, апокалипсических откровений наших экономистов) более серьезного и по-настоящему глубокого, чем статья «Крушение абстракций» Игоря Золотусского в январской книжке «Нового мира» за текущий год.

Пожалуй, впервые за всю историю советской литературы в ней сказаны слова и возрождены точки отсчета, от которых во все века, сколько она существует, отталкивалась подлинная словесность.

«Если социальная критика 60-х годов, – пишет автор, – отвергая неверные «методы», предлагала взамен верные, то и драматургия М. Шатрова, проза А. Рыбакова, Д. Гранина и других предлагает то же самое: вместо Сталина – Ленина (или Кирова), вместо сплошной коллективизации – нэп. Но выход не в замене одного вождя другим и одного способа правления другим способом правления. Этого для литературы мало, ее идеал не может быть идеалом политическим – он договорчив не только отдельно взятого царя, но и целой исторической формации.

У литературы, повторяю, более вечные задачи, и, не оставляя себе свободы для провидения, для прозрения, опережающих распространённые политические прогнозы, она теряет свое назначение.

Литература не может находиться в плену социальных иллюзий и социальных альтернатив, ими может быть увлечен отдельный писатель, но социальные иллюзии никогда еще не создавали великой литературы».

Сегодня, когда лавина антисталинской литературы (а вернее, макулатуры) буквально захлестывает печатный и зрелищный рынок, когда антисталинизм становится для многих (к примеру, для А. Адамовича или М. Шатрова) профессией, когда дымовой завесой «сталинских преступлений» мастера политических фальсификаций (вроде В. Коротича или Е. Яковлева) пытаются скрыть от народа преступную сущность самой советской Системы, целиком построенной на лжи и насилии, критику нужно обладать немалым мужеством, чтобы сказать то, что И. Золотусский не выговорил, а сердцем выкричал в своей статье. И этот его духовный прорыв к истокам нравственных и

духовных ценностей стоит многих и многих нынешних разоблачительных заклинаний.

С чем я никак не могу согласиться в его статье, так это с оценкой роли и значения Ф. Абрамова в современной русской литературе. «...Федор Абрамов, – отмечает он, – как показало время, и не собирався служить власти, обслуживать власть. Еще через некоторое время он вошел в прямой конфликт с нею, опубликовав очерк „Вокруг да около“».

Как показало время, не служили власти и не обслуживали власть в послесталинские времена разве лишь В. Шаламов, Ю. Домбровский, А. Солженицын, В. Гроссман, Н. Глазков и еще два-три имени, не больше. За что и заплатили одни – нищетой и полной безвестностью, другие – изгнанием из страны и всенародными проклятиями. Мне трудно поверить, что писатель, вошедший в конфликт с властью в те самые, недоброй памяти застойные времена, мог регулярно поощряться с ее стороны разнообразными наградами, включая Государственную премию, а к 60-летию и высшую побрякушку государства – орден Ленина, а под его некрологом красовались фамилии чуть ли не половины членов Политбюро, причем, из самых худших. Да и о его активном участии в травле «космополитов» тоже не следовало бы забывать. Тут, видимо, действовал иной механизм взаимоотношений между ним и властью, о котором, возможно, мы когда-нибудь узнаем.

Но и этот единственный мой упрек в адрес прекрасной, если не сказать больше, статьи Игоря Золотусского я готов признать спорным.

Владимир Максимов

Наша анкета

БЕСЕДА С МСТИСЛАВОМ РОСТРОПОВИЧЕМ И ГАЛИНОЙ ВИШНЕВСКОЙ

(К пятидесятилетию эмиграции)

Ведет Галина Келлерман



М. Р.: Сейчас исполняется пятнадцать лет со дня нашего изгнания из Советского Союза. У меня эта дата на два месяца раньше, чем у Гали. Я прибыл на Запад, в Лондон, на самолете, с моей собакой и моей виолончелью, с одним чемоданом, 26-го мая 1974 года. Галя, соответственно, прибыла на два месяца позже. Так вот, теперь мы с ней вместе празднуем пятнадцать лет нашего пребывания на Западе. Именно празднуем, а не плачем и не устраиваем похороны.

Г. В.: Да, мы празднуем, хотя путь мы прошли совсем не легкий. Моральный путь, потому что перенести то потрясение, которое мы испытали, вынужденно покинув нашу страну, было совсем непросто.

М. Р.: Собственно, главное потрясение мы пережили четыре года спустя после нашего отъезда на Запад, когда нас лишили советского гражданства. 15-го марта 1978 года.

Г. В.: Возвращаясь к нашему отъезду, замечу, что выехали мы без копейки денег, ничего не имея за душой. Мы оба выехали в возрасте 47 лет, с двумя детьми, одной было 16, другой 18 лет. Для них это, конечно, тоже была огромная ломка. Так и выехали, у Славы – виолончель, у меня – голос, и за плечами 30-летняя карьера. Но оглядываясь на прожитые на Западе 15 лет, мы можем друг друга только поздравить за то, что мы сделали здесь. И это – не только творческие результаты. Да, можно сказать, что мы счастливы.

М. Р.: При этом мы ни одного дня, ни одного часа не думали о нашем материальном положении, мы думали о том, что мы должны делать в нашем искусстве, а богатство пришло к нам как-то автоматически. И в искусстве мы делали именно то, что считали для себя жизненно важным. В Советском Союзе нас, мягко говоря, лимитировали, и когда нас оттуда выгнали, наше искусство задышало широко. И это широкое наше дыхание было здесь признано. Признано за 15 лет нашей жизни тут не меньше, чем за 30 лет карьеры там.

Г. В.: Да, в Советском Союзе, отдавая жизнь искусству и служа своему народу без остатка, мы получили в результате от советского правительства такой плевки, что забыть это невозможно. Притупляется с годами боль, но оскорбление и унижение остаются в памяти.

М. Р.: Возвращаясь к нашей судьбе, я хочу сказать, что это был не только плевки правительства. Когда нас лишили гражданства, было организовано собрание артистов Большого театра, были и разные другие собрания против нас как предателей. Правда, нужно сказать, к чести многих, и мы с Галей их никогда не забудем, что советскому правительству не удалось организовать письмо с подписями против нас. Как мне известно, Эмиль Гилельс отказался подписать, Рихтер отказался, два или три раза был вызван в Смольный музыкальный руководитель Ленинградского оркестра Темирканов, и он отказался подписать. Так что не удалось собрать подписи, и акция была сорвана.

И вот что я еще хочу сказать. Недавно в «Огоньке» была опубликована замечательная статья Емельянова. Я уже несколько месяцев нахожусь под впечатлением этой статьи. Статья вскрыла настоящий нарыв. Сейчас, в период гласности, мое имя уже было один раз упомянуто в советской прессе в положительном контексте. В «Советской культуре» было

сказано, что было бы хорошо, чтобы Ростропович и Барышников приехали в Союз с гастрольями. И вот я наткнулся на письмо-отклик в той же газете. Одна читательница пишет: «А я бы таких предателей, как Барышников и Ростропович, не пускала к нам на гастроли». Нас часто спрашивают на Западе, хотим ли мы в нынешней обстановке вернуться в Советский Союз. Должен сказать, что на половинчатость, в которой находится сейчас Шаляпин (об этом и статья в «Огоньке»), я не согласен. Я никогда по-настоящему не вернусь (может быть, приеду на гастроли с Вашингтонским симфоническим оркестром, которым дирижирую уже 12 лет), так же, как и Галина, пока к нам будет половинчатое отношение. Емельянов пишет в «Огоньке», что советское правительство тогда Шаляпина уничтожило, лишило его званий, паспорта, подданства, отобрало все имущество.

Г. В.: И, кстати, ему тоже было около 50-ти, когда он покинул родину, и начинать жизнь тоже пришлось с нуля.

М. Р.: А сейчас официально ничего не было сказано. Ведутся дискуссии, вернуть Шаляпину звание народного артиста РСФСР или не вернуть. Это обсуждается в печати, создается музей Шаляпина. Но, в общем-то, на высоком правительственном уровне не признано, что руководство страны вело себя, как банда подонков, что великий артист был обман. Так что пока советское правительство не признает открыто, что мы были оплеваны, нашей ноги там не будет. Нам был нанесен моральный ущерб, мы не подаем на советское правительство в суд на возмещение этого ущерба, утраченного здоровья, укороченной жизни. Материальная сторона нас не интересует: «Международная книга» до сих пор получает проценты за мои и Галины пластинки. И пусть получают. Мы никогда против этого не протестовали. Это все мелочи. Но о моральном ущербе мы помним. И на каком уровне нас обогнали, на таком пусть и извиняются. И с нами не пройдет у властей тот номер, который проходит с эмигрантами, готовыми любой ценой попасть в Союз, всячески вскочить на коня перестройки, на коня гласности и гарцевать. Мы за такими сенсациями не гонимся.

Г. В.: С этой гласностью и перестройкой идет, как мне кажется, какая-то игра. Ведь можно одним махом решить всю двусмысленность: напечатать «Архипелаг ГУЛАГ» и солженицынское письмо «Жить не по лжи», за что он и был изгнан, напечатать Максимова... Ведь все то, чем живет сейчас Совет-

ский Союз, начинали эти люди. Тут живут изгнанные писатели Владимов, Войнович, Аксенов. А вот Галич, Некрасов, Тарковский уже успели умереть. Но тогда-то в России о них во весь голос и заговорили. Значит, ждут, пока мы все здесь станем покойниками, потому что перед мертвыми не надо извиняться?

М. Р.: Как человек умирает, так делают его своим. А с живыми разговаривать не желают. Или уж если разговаривают, то как-то «под столом».

Г. В.: Недавно позвонила мне одна служащая советского посольства. «Ах, Галина Павловна, как было бы чудно, если бы вы пришли к нам сегодня в посольство на прием! Мы устраиваем прием для тех, кто помогал армянам, а поскольку вы и ваш муж тоже помогали, мы вас приглашаем». А я ее спрашиваю: «Да мы же враги народа. Кто же вам разрешил нас приглашать?» На что дама добродушно отвечает: «Ну что вы, раз мы приглашаем, значит, нам разрешили. Ведь ваши имена в советской печати упоминают. И потом мы хотели поблагодарить Мстислава Леопольдовича за концерт в Гранд-Опера в пользу Армении».

— Так что же советское посольство не поблагодарило Ростроповича тут же, в театре?

— Вот мы и хотели бы это сделать сегодня на приеме.

— Нет, на прием мы не пойдем, — сказала я, — а если сочтете нужным, можете поблагодарить письменно.

Конечно, никакой благодарности не последовало и до сих пор. Кстати, сумма, собранная Ростроповичем на нескольких концертах в пользу Армении в Лондоне, Париже, Вашингтоне, Италии и т. д., перевалила за полмиллиона долларов. Надеюсь, что они попали по назначению!

М. Р.: Армянам мы, действительно, помогали много. Но это совсем другое дело.

Г. В.: Это был естественный порыв.

М. Р.: Я презираю тех людей, которые думают, что мои концерты, которые я даю сейчас в изобилии, чтобы помочь армянскому народу в его несчастье, — способ заискивания перед советской властью. Я в этом не нуждаюсь.

Г. В.: Действительно, что это за детские игры идут! Издайте указ Верховного Совета, свалите всю вину на Брежнева, который был маразматиком, хотя 18 лет правил страной. Скажите, что вели себя как последние скоты с людьми искусства и науки, признайте свою вину, принесите извинения, при-

гласите тех, кто желает, вернуться. Вот и все! Ведь умеют же на прошлых вождей вину сваливать. Вот теперь все на Сталина валят. Сосчитать не могут, сколько миллионов он ухлопал, двадцать или сорок. А ведь он во главе партии стоял, не сам же он ходил и стрелял.

М. Р.: Я вам скажу так. Вот написали обо мне в советской энциклопедии. Цитирую: «Ростропович. Виолончелист и дирижер. Участвовал в конкурсах музыкантов-исполнителей. (Даже не сказано, что я первые призы получал!) Лишен советского гражданства за деятельность, наносящую ущерб престижу Советского Союза». Тогда зачем же меня приглашать туда, если мои концерты наносят ущерб престижу? Какого чёрта со мной связываться? А Л. Брежнев, который лишил нас нашего крова, он, великий полководец и писатель, не нанес никакого урона престижу СССР?

Г. В.: Недавно Слава играл в Карнеги Холл, был концерт в пользу Армении. И была статья в «Сов. культуре», где были перечислены участники концерта. Славу там назвали, но участвовал в концерте и бывший советский музыкант А. Торадзе, а его не назвали, участвовал В. Виардо, который и по сей день имеет советский паспорт, но и его не назвали. А почему? Потому что они остались на Западе? Но ведь они тоже помогали армянам! Так что трудно верить всему, что там происходит.

М. Р.: Но все же, читая советскую прессу, я чувствую, какие большие перемены произошли в Советском Союзе. Действительно, больше гласности, больше открытости.

Г. К.: *В любом случае, все, что вы делаете, войдет в золотой фонд русской культуры!*

М. Р.: Если это будет, то независимо от того, где мы находимся.

Г. В.: То же случилось и с Шаляпиным, и с Рахманиновым, и со Стравинским. И сейчас советская власть с удовольствием их себе присвоила. Теперь они считаются гордостью не просто русской культуры, но советской. А ведь советская власть сегодня пришла, завтра ее, может быть, не будет, но эти имена останутся.

М. Р.: А ведь до войны произведения Рахманинова были запрещены, только во время войны их начали исполнять.

Г. В.: Да я в первый послевоенный год еще романсы Рахманинова петь не могла! А как Шаляпина хаяли, анафеме предавали! Стравинский был запрещен...

М. Р.: А сейчас музей Шляпина делают. Поэтому я и говорил об этой статье Емельянова. Анафеме Шляпина предавали открыто, а теперь признание какое-то общественное, но не государственное. И люди не знают, как ко всему этому относиться.

Г. В.: Начинать надо с официальной реабилитации, а не труп из могилы тащить. Кстати, жену в могиле оставили, а Шляпина тело перетащили.

М. Р.: В другом «Огоньке» появились отклики на статью Емельянова. Они меня очень заинтересовали, и единственный, с кем я на 100% согласен, это с актером Ульяновым. Он написал, что не нужно возвращать Шляпину звание народного артиста РСФСР. Он это подробно не обосновывает, но я понимаю его логику. Ведь с тех пор звание народного артиста подверглось такой инфляции, сейчас такие, извиняюсь, нули получают его, что возвращать ему звание народного артиста и даже не СССР, а РСФСР, – это просто издевательство. И там же, среди откликов, есть удивительное письмо, подписанное двумя народными артистами СССР, Е. Образцовой и Е. Нестеренко. Они считают, что звание Шляпину должно быть возвращено немедленно, и даже улица должна быть названа его именем, но ему они считают нужным вернуть звание народного артиста РСФСР, а сами подписываются «народные артисты СССР». И это их не смущает! А ведь какой позор! Ну как им не стыдно! Мне хотелось бы об этом написать в «Огонек», но я удержался. Я писать в советскую прессу не имею права, как враг народа. Я, например, имею звание народного артиста СССР, но Шляпин-то был намного выше меня. Как же можно ему возвращать не имеющее ценности звание народного артиста РСФСР? А эти люди позволяют себе такую наглость по отношению к Шляпину.

Г. К.: Можете ли вы оба подвести итоги 15-ти лет вашего пребывания на Западе?

Г. В.: В искусстве всё ясно. Ростропович играет почти каждый день, играет и дирижирует, ездит по всему свету. Иногда с ним езжу и я, но мне это безумно трудно, признаюсь. Я не знаю, как у него сил хватает, но нормальному человеку этот темп вынести невозможно. Теперь в смысле житейском. Ну, какие у нас серьезные новости? Дочери наши вышли замуж, у одной, у младшей, Елены, – двое сыновей. Одному нашему внуку уже пять лет, зовут его Иван, другому – два с половиной

года, зовут его Сергей. Вот это самое ценное приобретение в нашей жизни здесь, на Западе. Мы очень счастливы и гордимся этим. Внуки говорят по-русски, а старший еще и по-немецки и по-английски. Что еще? Получаем награды, ордена.

М. Р.: Я хочу сказать о чисто творческих успехах. Я сейчас кончаю двенадцатый сезон в качестве музыкального директора Национального Симфонического оркестра Вашингтона. Я горжусь, что из очень посредственного оркестра я превратил его в один из лучших оркестров Америки. Мы каждый год совершаем турне. Скоро будет, например, четвертое турне в Японии. Четыре раза мы ездили в Европу с большим успехом. Ездим по всему миру. Бывали в Южной Америке, на Дальнем Востоке и так далее. Что же касается репертуара, то в будущем году я с моим оркестром подхожу к определенному рубежу: я продирижировал в наших концертах в Вашингтоне более чем сотней больших симфоний, в том числе всеми симфониями Малера, Брамса, Бетховена. Я продолжаю осваивать новый репертуар не только для виолончели (по существу, для виолончели я и создал новый репертуар), но и для симфонического оркестра. Мы заказываем произведения, в том числе симфонии, многим композиторам мирового масштаба. Мы впервые исполнили последнее произведение знаменитого английского композитора Уильяма Уолтона. Не закончил своей Оратории для нас Бенжамин Бриттен. Но мы уже исполняли и в Англии, и в Америке первую часть этой Оратории, работу над которой оборвала смерть великого композитора. Именно Вашингтонский оркестр был первым исполнителем нескольких произведений К. Пендерецкого, В. Лютославского, французского композитора Анри Дютийё. Больше 30-ти произведений были исполнены оркестром впервые в мире. Все эти произведения посвящены моему оркестру и мне. Эта дирижерская деятельность приносит мне огромное удовлетворение. Я горжусь тем, что организовал два мировых фестиваля: огромный фестиваль Прокофьева, который шел почти три месяца во Франции (это была моя инициатива), и только что прошедший в Англии фестиваль Шостаковича. Теперь я готовлюсь отмечать столетие моего великого учителя и друга Прокофьева. Сейчас осталось в живых только два человека, Рихтер и я, которым Прокофьев посвятил свои произведения. Я продолжаю, конечно, помогать молодежи,

виолончелистам, молодым музыкантам. Поэтому для меня является огромной честью, что Франция, город Париж, устраивает в будущем году четвертый международный конкурс моего имени, и в нем, я думаю, впервые будут участвовать советские молодые виолончелисты.

Сейчас в Советской Союзе вышло полное собрание сочинений Д. Д. Шостаковича. В этом собрании сочинений к каждому произведению есть аннотация. По поводу Первого и Второго концерта для виолончели написано так. Это произведение исполнялось впервые такого-то числа, в зале Ленинградской филармонии, оркестр – заслуженный коллектив республики, Оркестр Ленинградской филармонии, дирижер – Мравинский, а солист не указан. Здорово, правда? Концерт для виолончели с оркестром, а кто играл на виолончели – не сказано. Получается, раз не написали, значит, как будто этого и не было. И не играл никто на виолончели, просто один аккомпанемент и был. То же самое и с посвященными Шостаковичем Вишневской двумя вокальными циклами. Детская возня какая-то...

Г. В.: А помнишь, Слава, как ты купил мне в подарок видеокассету с фильмом-оперой, в котором я снималась, «Катерина Измайлова». Сели мы смотреть. Начинаются титры: «Катерина Измайлова», Ленфильм. Роли исполняют: Катерина Измайлова – никого нет, пустое место. А дальше идут все фамилии, кто какую роль поет. Смех, да и только.

Г. К.: *Вы еще поете на сцене?*

Г. В.: Я оставила оперную сцену в 1982 году, завершив свою карьеру исполнением партии Татьяны здесь, в Париже. Это – та партия, с которой я начинала в Большом Театре в 1952 году. А в 1982 году, тридцать лет спустя, я участвовала в цикле из восьми спектаклей, которыми дирижировал Слава в Гранд-Опера. До этого мы поставили «Евгения Онегина» во Флоренции, за что, кстати, получили тогда «Золотую сцену», медаль, что присуждается в Италии лучшей опере года. В 1977 году мне была присуждена премия здесь, во Франции, как лучшей певице мира. И тем не менее, в 1982 году я пришла к выводу, что надо оставить оперную сцену. Это – не трагедия. В конце концов приходит время, когда певица должна с достоинством и своевременно уйти из театра и лучше на несколько дней раньше, чем хотя бы на неделю позже. Видно, Бог меня вразумил, и я так поступила. А публика недоумевала, почему надо было

в такой форме покинуть сцену. Но я сцену вообще не оставила. Я пою оперы в концертном исполнении и продолжаю концертную деятельность, делаю пластинки. Вот в прошлом году я записала «Войну и мир» снова, почти через тридцать лет после того, как я записала ее в 1958 году в Москве, с Мелик-Пашаевым, в Большом театре. А сейчас дирижировал Ростропович. Мы сделали полную запись всего, что написано Прокофьевым, для двух вечеров, тогда как в записи Большого театра была лишь примерно половина музыки. Тогда, в 1958 году, я получила Гран-При за эту запись, и вот сейчас новая наша «Война и мир» также удостоена Гран-При «Золотой Орфей». Конечно, для всех это – большая честь, но, согласитесь, что певица, получившая премию за ту же партию два раза, с разрывом в тридцать лет, имеет право этим гордиться. В прошлом году мы записали «Бориса Годунова», где я пела и Марину Мнишек, и шинкарку. Дирижировал тоже Ростропович. Эта запись будет использована для готовящегося сейчас фильма. Кроме того, я начала заниматься режиссерской работой.

М. Р.: Я хочу кое-что добавить. Конечно, запись «Бориса Годунова» будет иметь огромный резонанс, я в этом не сомневаюсь. Но до этого Вишневская сделала потрясающую, с моей точки зрения, запись оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда». И эту оперу мы сделали в первой редакции. Вообще, если меня спросят, какой самый заметный след я оставил в музыке, включая мою виолончельную деятельность, я назову запись этих двух опер, «Леди Макбет» Д. Шостаковича и «Войны и мира» С. Прокофьева. Ведь это – мои идолы, мои учителя, и это – моя форма преклонения перед ними.

Г. В.: Так вот, я занялась режиссерской работой. В 1986 году я поставила «Царскую невесту», Слава дирижировал. Получился, как все говорили, хороший и красивый спектакль. На следующий год мы повторили этот же спектакль в Вашингтоне с другими артистами, но в том же оформлении, а потом поставили его в Римской опере. В прошлом году я поставила «Иоланту» с молодыми певцами в Англии на фестивале Бриттена, где каждый год даю свой мастер-класс. И в дальнейшем буду делать пластинки и заниматься режиссурой. Одним словом, делать то, чего по-настоящему хочется. Приходит время, когда нужно получать удовольствие от жизни, а не только бесконечно трудиться. Я ведь пою уже 44 года, и теперь хочу

пожить посвободнее, хоть я и не обленилась, и голос звучит... Но иногда так хочется наконец-то съесть мороженое!..

Да, забыла о самом главном – о моей книге «Галина»! Я начала ее писать еще в 1980-м году и закончила в 1984. Тут же она была издана по-английски в Америке и Англии, где стала бестселлером, а затем ее издали во Франции, Германии, Италии, Испании, Швеции, Японии и т. д., в общей сложности уже на 14 языках, включая и русский. В Париже я получила за нее премию критиков и премию Академии Искусств. Интересно, что несколько месяцев тому назад ко мне обратились из редакций советских журналов «Юность» и «Советская музыка» с просьбой разрешить им опубликовать отдельные главы из книги. Я дала согласие, с условием, что без моего разрешения не будет сделано никаких изменений или сокращений в тексте. Посмотрим, удастся ли им...

Г. К.: Ваша слава принесла вам и материальную обеспеченность, не так ли?

М. Р.: Неинтересно заниматься перечислением нашего имущества, сколько у нас квартир, в каких странах. Конечно, нам так удобнее – иметь квартиры или дома там, где мы часто и подолгу бываем, в Париже, в Вашингтоне, в Лондоне. Понятно, что работая так, как мы работаем, и пользуясь таким признанием, денег мы зарабатываем много. Но мы не стараемся их копить, заводить счета, покупать акции. Когда я играю или Галина поет, мы тратим свой труд, свой пот. Я кончаю концерт, я весь мокрый. И я не хочу иметь деньги, которые я кладу в банк. Я хочу обменять свой пот на пот другого человека, который тоже работал. Поэтому, когда я получаю деньги за концерт, я стремлюсь купить нечто, сделанное другим. Благодаря этой философии, мы с Галей окружили себя «русской атмосферой». Каждая наша квартира – это русский остров. Мы любим русское искусство, мы – воспитанники России, мы вращаемся вокруг нашей русской орбиты, и в искусстве, и в жизни. Вот посмотрите на стены. Это – портрет Бестужевой, жены декабриста, работы Боровиковского. Известный в Советском Союзе портрет, за ним очень охотились советские музеи, потому что не то в Русском музее, не то в Эрмитаже есть портрет Бестужева, а парный портрет его жены находится у нас. Вот портрет работы Репина, вот этюд маслом Иванова к его картине «Явление Христа народу». Здесь вы видите этюд Савицкого, вот еще портрет работы

Боровиковского, а вот очень ценная подписная картина Венецианова, «Первые шаги». Мы очень любим русский фарфор. В этой горке у нас собран совершенно уникальный фарфор. Вот, например, фарфоровая группа, которая называется «Демьянова уха». Сделали ее на Императорском заводе Николая I-го, и она числится в большом императорском каталоге этого завода как единственный экземпляр. Короче, собираем все русское. Здесь вы видите, например, всю русскую мебель. В целом, у нас большое количество русских картин, много картин Репина, Левицкого, Айвазовского, Шишкина. Это греет нашу душу. И мы покупаем эти произведения искусства не для того, чтобы поместить деньги, а чтобы до смерти продолжать жить в русской обстановке, из которой нас искусственно вырвали.

Г. К.: Расскажите о кантате Д. Шостаковича, которую вы недавно исполнили в США. Как попало к вам это не известное до сих пор сатирическое произведение Шостаковича?

М. Р.: О, это потрясающая история, но часть ее я должен скрыть. Я не могу рассказать, как попала ко мне эта кантата. При жизни Д. Шостакович, со свойственным ему сарказмом, мне ее напевал. Вернее, напевал куски из нее, мотивчики, весьма известные в Советском Союзе: песня «Сулико», Лезгинка и т. д. Напевал он их на подлинные «бессмертные» тексты речей товарища Жданова и товарища Сталина о музыке, а также использовал речь «примкнувшего к ним Шепилова». Все эти речи он аранжировал на народную музыку. Шепилов, например, подан под Комаринскую. И когда слышишь их под такую музыку, понятнее, какие кретины правили искусством и страной. Увековечил он их! Это, действительно, гениальное произведение, и я был счастлив открыть его слушателям. Я уверен, что не нанес этим ущерба семье, вдове, дочери. Если бы я думал, что могу поставить их под удар, я бы этого не сделал. Но сейчас, в период гласности, в период справедливой травли товарища Сталина, опус Шостаковича, как мне кажется, более чем кстати. Это не только гениальное сочинение, это еще и важнейшее сочинение. Почему? Как известно, Волков написал так называемые мемуары о Шостаковиче, где говорится, какой он был контра. В это же время в Советском Союзе издают пластинки с речами Шостаковича. Альбом так и называется: «Говорит Шостакович». Именно говорит, хотя это – вовсе не его специальность. Он ведь написал достаточно

музыки. В этом альбоме собраны все речи Шостаковича, на пленумах, на заседаниях Союза композиторов, одним словом, публичные выступления. И эти записи, где он воздавал хвалу советскому правительству, были собраны по крохам. И вот возникает вопрос, где правда. В тех речах, которые он был вынужден говорить? С другой стороны, друзья, и мы в том числе, можем констатировать, что он ненавидел всю систему. Чему же верить? И вот это музыкальное произведение дает недвусмысленный ответ, с кем он был и против кого.

Г. В.: В этом сочинении даже не ненависть, а уничтожающее презрение к ничтожествам.

М. Р.: Мировая премьера была в Вашингтоне, по-английски. И мне ужасно хотелось взять запись речи Жданова и отправить ее студентам Ленинградского университета с маленьким письмом такого примерно содержания: «Дорогие студенты! Вот речь человека, имя которого носит ваш университет, положенная на музыку великим гением вашего города Шостаковичем». Но я не успел, потому что постановлением правительства имени Жданова и Брежнева отовсюду сняты. Слава Богу!

Г. К.: *Не хотите ли вы рассказать о благотворительных концертах, которые вы даете?*

М. Р.: Я в среднем даю от 120 до 150 концертов в год. И из них от 30 до 40 концертов – благотворительные. Причем, стоит дать один благотворительный концерт, как тут же получаешь сотни писем с просьбами дать концерты в пользу больных проказой и в пользу штайнеровских школ, да и для тысячи других проектов. Проблема в том, что у меня все дни расписаны на три года вперед, и трудно всем помочь. Кстати, за первые четыре года нашей жизни на Западе я благотворительных концертов дал куда меньше, всего 70, но именно эти концерты и послужили поводом для лишения нас советского гражданства, ибо было сказано, что я дал 70 концертов в фонд антисоветских организаций. Туда входили такие, например, антисоветские организации, как Фонд Клод Помпиду, Фонд сохранения диких животных, Фонд охраны китов, которые тоже попали в антисоветчики. Но я и сейчас продолжаю помогать фондам охраны природы, например, следующий мой благотворительный концерт в Вашингтоне будет посвящен слонам, которые варварски истребляются. Два месяца тому назад я вернулся из Индии, где я провел три недели, давая благоотво-

рительные концерты, прослушивая молодых музыкантов. Я помог собрать деньги для слепых, для глухих, для бездомных. А когда узнал о горе армянского народа, я моментально откликнулся. Мы с Галей дали концерт в Лондоне. Я уже пять концертов сыграл. Следующий концерт в пользу Армении я буду играть в Винченце, в Италии. И, возможно, именно эта деятельность вызывает общественный резонанс, приносит общественное признание. И те награды, которые мы за эти годы получили, включают и признание душевности. У Гали, например, три французских ордена, в том числе орден Почетного Легиона. Таких наград не удостоился ни один советский артист. И опять же, наша бескорыстная помощь горестям людским, зверям, которые целыми породами вымирают, вызывает, наверное, большую симпатию. А кто мы? Мы – русские, и через нас идет симпатия нашему народу. Да, мы любим свой народ и страдаем за него. И мы будем счастливы, если наш народ избавится от своих страданий. Мы будем счастливы, если русский народ, советский народ, будет сыт. Мы до сих пор, живя среди невероятного западного изобилия, не можем к нему привыкнуть. Повсюду рынки, магазины, километры витрин и рядов, заваленных вкусной, разнообразной, дешевой едой. Смотришь на это и думаешь о своих... И спрашиваешь себя: ну почему там-то этого нет? И за пятнадцать лет мы так и не разучились страдать за свой народ.

Г. В.: Столько жертв принесено, жизнью загублено, а за что и для чего?

Г. К.: *Как вы, Слава, отреагировали на восстановление ваше в Союзе композиторов?*

М. Р.: Я об этом узнал от членов моего оркестра. Сразу все вокруг меня загудело. Журналисты просят интервью, со всего мира мне прислали кучу поздравительных телеграмм. Многие, правда, спутали и думали, что мне восстановили гражданство. Так что поздравляли меня с восстановлением справедливости, с обретением вновь Родины. Но я не дал ни одного комментария, и только для «Континента» скажу, почему. Дело в том, что для меня все это явилось полным сюрпризом. Я ведь не знал, что меня исключили из Союза композиторов! И у меня где-то теплилась надежда, что, быть может, мои коллеги меня там сохранили, а оказывается, было постановление об исключении меня из Союза композиторов 27-го марта 1978 года, в день моего рождения. Но я-то об этом ничего не знал.

Это нигде не было напечатано, а было сделано, говоря блатным языком, тихой сапой, И когда мне сообщили о восстановлении, я расстроился, потому что для меня было новостью, что я был оттуда изгнан. Теперь осталось проверить мраморную доску в Московской консерватории. Мне сказали, что меня оттуда не выскребли, но кто знает? Нет, наверно, не выскребли, это ведь очень дорого. Там имена Рахманинова, Скрябина... Для меня было великой честью попасть на эту доску. Но вот еще характерная история. Одна музыкантша приехала в Москву, посетила Московскую консерваторию. И первое, что она сказала – хочу посмотреть класс, где преподавал Ростропович. На что ей тут же ответили: «Знаете, такого класса нету, потому что он очень мало преподавал, все время ездил за границу, у него и класса постоянного не было». Так вот, я хочу напомнить Московской консерватории, что я преподавал в классе № 19 и провел в этом классе сотни часов моей жизни. Я преподавал там более двадцати лет, был профессором. Это – класс, из которого вышла целая плеяда виолончелистов. И пусть теперь при гласности не стесняются об этом говорить.

Г. К.: Но официально вас известили о восстановлении в Союзе композиторов?

М. Р.: Да, была телеграмма, довольно сухая, просто извещение о восстановлении. Я ничего на нее не ответил. Что же, Хренников изгонял, Хренников и восстановил.

Г. К.: Когда вас, Слава, принимали в члены Академии Искусств, постоянный ее секретарь Марсель Ландовский в своей речи подчеркнул три причины этого избрания: во-первых, высочайшая профессиональность; во-вторых, деятельность по популяризации современной французской музыки и, в-третьих, гражданская позиция. Как известно, в Академии Искусств только сорок мест, и это включает все виды искусств, кроме литературы. Так что не зря членов этой Академии называют бессмертными. А на чье место вас избрали?

М. Р.: Меня избрали на место скульптора Генри Мура. Такая там система: нового члена можно избрать только тогда, когда один из старых умирает.

КОНТИНЕНТ

Годовая подписка
(4 номера)

Желаю оформить подписку на 1 год (4 номера),
начиная с №

Имя:

Адрес:

.....

.....

Оплату произвожу:

приложенным чеком ☐ почтовым переводом ☐
через банк ☐

Платеж и заполненный талон просим направлять:

A. NEIMANIS BUCHVERTRIEB

Bauerstr. 28, 8000 München 40, West Germany

Bankkonto: Bayerische Vereinsbank München Nr. 6304630

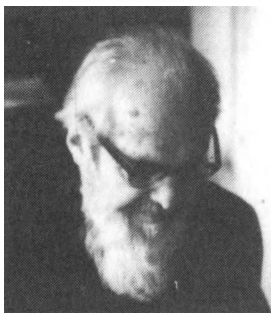
Postscheckkonto: München 147391-804





ПАМЯТИ ПАСТЫРЯ И ПОЭТА

Скончался архиепископ Иоанн Сан-Францисский, вошедший в историю русской поэзии под псевдонимом Странник. Потомок старинного княжеского рода Шаховских, он, после Октябрьского переворота, еще в отрочестве оказался в изгнании. Здесь, на горькой чужбине,



в сложных перипетиях эмигрантского лихолетья складывалась его пастырская и поэтическая судьба. С кем только за прожитые вдали от родины годы его ни сводила жизнь: от генерала Краснова и Керенского до Ивана Бунина и Владимира Набокова! И о каждом из них, вне зависимости от их убеждений, порою принципиально неприемлемых для него (прочтите хотя бы его переписку с Красновым, опубликованную в № 56 «Континента»), он находил впоследствии добрые слова, проникнутые подлинно христианским состраданием. Пожалуй, вот это неизменное сострадание к ближнему и было главной, преобразующей окружающей чертой характера Странника, получившей абсолютно адекватное выражение и в его поэтическом творчестве.

зующей окружающее чертой характера Странника, получившей абсолютно адекватное выражение и в его поэтическом творчестве.

Непостыдная тайна времени
Не по времени велика.

Тайна бремени, тайна семени,
Чудотворной любви река....

Это сказывалось в нем и по отношению к покинутой родине. В отличие от большинства собратьев по классу и эмигрантской среде он никогда не культивировал в себе слепой непримиримости ко всему, что исходило оттуда. Он с самым заинтересованным вниманием следил за происходящими там событиями. Горевал российскими бедами и радовался любому, даже самому малому проблеску надежды в российской культурной и общественной жизни. Охотно встречался с людьми, приезжавшими из Советского Союза, поддерживал их на Западе словом и делом, прозревая в них будущее России.

С той же отзывчивой сердечностью откликнулся он и на явление так называемой третьей эмиграции, одним из первых протянув ей руку солидарности и сотрудничества. Мы всегда гордились и будем гордиться тем, что его имя стояло в списке членов редколлегии нашего журнала с первого дня существования «Континента».

Так пусть же собственные стихи Странника станут его надгробной эпитафией:

Время тает и умирает,
И откуда его нам взять?
Возникает оно и тает,
И приходит к земле опять.

Скоро время совсем устанет
И поэзии красота
Будет время вздыхать устами
В умирающие уста.

Континент

**Независимому общественному комитету «Апрель»
(«Писатели в поддержку перестройки»)**

Дорогие друзья!

Возникновение внутри Московского отделения Союза писателей СССР альтернативной группы «Апрель» мы рассматриваем как важное свидетельство общественных и нравственных перемен в нашей стране. Впервые в истории этой организации, запятнавшей себя активным участием в травле и репрессиях против собственных членов — не будем называть имен, они общеизвестны, — в ней определилась внушительная группа мастеров, призывающих своих собратьев к возрождению основополагающих принципов профессиональной солидарности, гражданской чести и человеческого достоинства. Мы искренне благодарны учредителям независимого общественного комитета «Апрель» за то, что в его первой резолюции ими выдвинуто требование отменить все решения СП СССР о преследованиях писателей по идеологическим мотивам, имевшие место в годы так называемого застоя. Тем не менее, мы считаем своим нравственным долгом отметить тот достойный сожаления факт, что в нынешнем составе «Апреля» числятся и некоторые из тех, кто приложил руку к этим преследованиям. Мы опять-таки не считаем нужным называть фамилии, чтобы наше обращение к вам не носило характера сведения личных счетов. Мы ждем от этих людей морального минимума: публичного раскаяния. И уверяем вас, что после этого мы первые протянем им руку.

Если этого не случится, то, согласитесь, где гарантия, что в иной, противоположной нынешней, ситуации они вновь не примутся за старое? На наш взгляд, призыв к всеобщему покаянию, обращенный сегодня к обществу со стороны многих ведущих деятелей перестройки, не может и не должен ограничиваться благими пожеланиями и общими фразами. Каждый из нас лично обязан взять на себя долю вины за все случившееся с нашей страной. Наше отличие от советских коллег состоит лишь в том, что мы это уже, в меру своих сил, сделали и поэтому вправе ожидать взаимности.

В заключение мы хотели бы заверить вас, что этот наш частный упрек продиктован прежде всего самой доброжелательной заинтересованностью в вашей обновляющей общество деятельности и искренним сочувствием к вашему благородному начинанию. В нашем лице вы всегда будете иметь самых последовательных друзей и союзников.

**Иосиф БРОДСКИЙ, Георгий ВЛАДИМОВ,
Александр ЗИНОВЬЕВ, Владимир МАКСИМОВ**